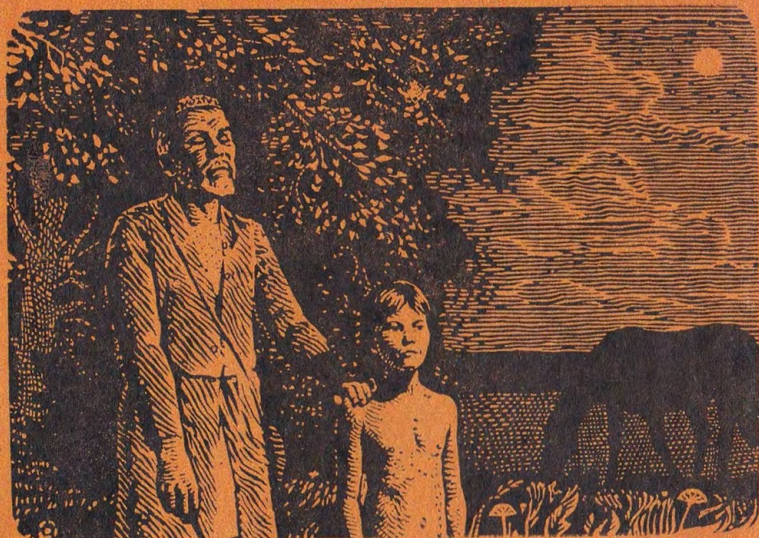


Золотые
родники

Д.Н. МАМИН-
СИБИРЯК

Повесть и рассказы



Scan Kreyder - 09.05.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





Д.Н. МАМИН-
СИБИРЯК

Повесть и рассказы

Редакционная коллегия:

*Биккентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Р.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Хамматов Я. Х.,
Чванов М. А.*

Предисловие, составление
и библиографические примечания **Л. Г. Барага**

Мамин-Сибиряк Д. Н.

М 22

Повесть и рассказы. Уфа, Башкирское книж-
ное издательство, 1978 г.

320 с./серия: Золотые родники/.

Книгу в основном составили произведения Д. Н. Мамина-
Сибиряка, тематически связанные с Башкирией.

М 70301—173 94—78
М121 (03)—78

Р1

© Башкирское книжное издательство, предисловие, со-
ставление, библиографические примечания, оформление,
1978 г.

БАШКИРИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912) родился в горнозаводском поселке Висим близ Нижнего Тагила и лучшие свои произведения посвятил родному Уралу, был его певцом и летописцем. Изображая своеобразный быт многонационального края и раскрывая внутренние противоречия и антинародность драматично укладывавшегося там после отмены крепостного права капиталистического строя, он решал жизненные проблемы, волновавшие всю страну. Под впечатлением созданных Маминым картин народной жизни и образов душевно красивых людей из народа М. Горький писал ему: «Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ»¹.

Вместе с тем книги этого писателя-демократа способствовали пробуждению у широкого круга читателей живого интереса к судьбам национальных окраин, возбуждали общественное негодование против национального гнета и колониального грабежа, порожденных самодержавием и буржуазным путем развития страны.

Во Всесоюзной государственной библиотеке имени В. И. Ленина хранится неопубликованная рукопись Мамина «Наши инородцы». Во вступлении намечен план создания целой серии произведений о малых народах России и излагаются причины, побудившие писателя обратиться к познанию их духовной жизни: «Везде одинаково будем отыскивать человека, нашего брата... Лучшие человеческие чувства иногда находят свой приют здесь... Но вместе с хорошим мы найдем здесь немало дурного — начало многих наших дурных обычаев...» Это программное вступление перечеркнуто рукой самого Мамина. Может быть,

¹ М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, том. 29. М., 1954. стр. 272.

потому что он не был уверен в осуществлении столь широкого своего замысла. Основная часть рукописи «Наши инородцы» ограничивается лишь одним очерком — о лопарях (саамах). Драматичной судьбы родственных лопарям вогулов (манси), почти полностью вытесненных в период заводской колонизации с Урала в Сибирь, Мамин коснулся в одном из самых известных своих рассказов — «Старый шайтан» (1903). Здесь запечатлен волнующий образ несчастного старика-вогула, обитающего в глухом уральском лесу. Определенный интерес проявлял Мамин и к судьбе, быту другого малого финно-угорского народа Урала — коми-пермяков, которым отчасти посвящен 3-й очерк цикла «Старая Пермь» (1889).

Живая рабочая сила уральских золотых приисков и платиновых промыслов привлекала писателя, «как своего рода этнографическая россыпь, в которой можно проследить все исторические наслоения вплоть до коренного месторождения их в отдельности». Об этом говорит он сам в очерке «Платина» (1891).

Во время многократных своих путешествий по Уралу и Зауралью писатель собрал значительный материал по этнографии и фольклору башкир и казахов. Зарисовка быта и национальных типов обоих этих народов имеются в очерке «На кумысе» (1888), в романе «Приваловские миллионы» (1883) и в исторической повести «Охонины брови» (1892). На казахские темы и по мотивам устных казахских легенд Мамин написал проникнутые духом народной мудрости рассказы «Баймаган» (написан в 1886 г., опубликован в 1891 г.), «Слезы царицы» (1889), «Лебедь Хантыгая» (1891), «Майя» (1892), «Исповедь» (1894) и «Ак-Бозат» (1895)¹. Творчески использовал он наряду с башкирским, казахским и живой татарский фольклорный материал, например, в «Сказании о татарском хане Кучуме» (1891).

Глубокое внимание, неизменное на протяжении почти всего творческого пути, проявлял Мамин к современной жизни и прошлому, к традициям и чаяниям башкирского народа. Каждое лето приходилось ему в 80-е годы бывать в башкирских селениях и стойбищах. Ездил к башкирам и зимой. Так, в феврале 1888-го года предпринял поездку к зауральским башкирам, описанную им в газетном очерке «Орда». Собирая в 90-е годы материалы для романа «Хлеб», писатель «извездил все Зауралье» и останавливался во многих башкирских деревнях.

¹ Анализ названных рассказов дан в статье К. Ш. Киреевой-Канафиевой «Картина народной жизни казахов в произведениях Мамина-Сибиряка» — «Филологический сборник» Казахского ун-та, вып. 12. Алма-Ата, 1973, стр. 62—71. См. также Ш. Сагдиев. Свидетельство высокого уважения. О произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка на казахские темы. — «Советский Казахстан», 1959, № 9, стр. 120—123.

Активное участие принимал он тогда в организации помощи голодающим башкирам. Мамин никогда не был сторонним наблюдателем народного быта и близко общался с башкирами, познавая особенности этого народа. Ездивший вместе с писателем по южноуральским приискам И. В. Попов в своих «Воспоминаниях» рассказывает: «Приезжаем к башкирам. Они обедают. В котле вареная баранина. — Садись, барин, — приглашают башкиры Мамина, — отведай нашей еды. И Дмитрий Наркисович ничтоже сумняшеся садится и, по примеру башкир-хозяев, начинает ашать из котла, доставая мясо руками, сидя перед котлом по-восточному без стула. Башкиры полюбили Мамина...» Об особом доверии башкир к Мамину говорит и его биограф П. Быков.

Башкирские мотивы и образы в многочисленных произведениях Мамина всех жанров неотделимы от главной темы его творчества — судеб Урала в период бурного роста капитализма, когда происходила ломка патриархально-крепостнических отношений, мрачные пережитки которых оказались особенно живучими в местных условиях, и ломка вековых устоев полукочевого быта башкир, нелегко переходивших к ведению оседлого земледельческого хозяйства, стремительно втянутых в русло буржуазного развития. Острота общественной ломки, происходившей в башкирской среде, и органичная связь этого исторического процесса с не менее резкой ломкой русского деревенского и горнозаводского уральского быта получили в творчестве автора «Приваловских миллионов» убедительное художественное воплощение. Беды, которые нес народам капитализм, сказывались отчасти одинаково, а отчасти по-разному в русских и башкирских национальных условиях последней трети минувшего столетия. Мамин показал это как талантливый реалист¹.

Благословенной, благодатной и цветущей называл Мамин Башкирию. «Небо точно делается выше, горизонт раздвигается и начинаешь чувствовать близость благословенной Башкирии» — говорит он, вспоминая о поездке на Южный Урал («На большой дороге», 1895). В романе «Приваловские миллионы» яркое описание ночной степи заканчивается словами, полными восхищения: «Благодатная Башкирия дышала здесь своими красотоми». А в очерке «Юммя» (1889) так подчеркивается неповторимая красота башкирского Зауралья: «Послеобеденное солнце глядело во все глаза, как оно глядит в благословенной Башкирии... Небольшая степная речка, прятая в осоке, отде-

¹ Все написанное Маминым о Башкирии и башкирах не может быть охвачено одним сборником, но целый ряд рассказов и очерков, собранных в данной книге, не вошел в многотомные собрания сочинений писателя. Сам он отметил, что его сочинений «наберется до 100 томов, а издано до 36».

ляла ее от громадного покоса, какие встречаются только в цветущей Башкирии». Писатель полагал, что славная кумысом башкирская и казахская степь могла бы стать всероссийской здравницей: «...степь подарила нам целебнейший напиток, которому равного нет и не будет» («Клад Кучума»).

Вдохновенно и лирично рисуя башкирские пейзажи, Мамин противопоставляет их красоту бедствиям народным, чудовищному разграблению богатейшего края заводчиками и чиновниками. Историю хищений земель уфимских башкир в послереформенный период он назвал «слишком известной страницей уральской летописи» и вспомнил по данному поводу слова Расплюева: «И-да, могу сказать, — была игра» (очерки «От Урала до Москвы», 1881 — 1882). Мамин разоблачал эту «игру» вслед за М. Е. Щедриным, Л. Н. Толстым и уфимскими публицистами П. И. Добротворским и Н. В. Ремезовым.

Гибельность влияния капиталистического господства и на природу Урала, и на издавна населявшие его народы впечатляюще рисуется во многих произведениях Мамина. В них, особенно часто и даже настойчиво повторяясь, варьируется мотив уничтожения величественных лесов:

«Аборигены Шерамы башкиры должны были откочевать на летние тебеневки далеко в ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров; — все выжгли уральские заводчики» («В худых душах», 1882). «Кругом ни кустика, ни былинки. Только старые громадные пни по скату горы свидетельствовали, что здесь когда-то стоял громадный сосновый бор. Башкиры его берегли не одну сотню лет». («Дорогие гости», 1898). «Картину портило полное отсутствие леса... Остатки вековых башкирских боров были окончательно истреблены самым безжалостным образом частными золотопромышленниками» («В последний раз», 1903). В романе «Три конца» (1891) повествуется о переселении разоренного населения среднеуральского Ключевского завода на юг — в Башкирию. Однако переселенцы не находят лучшей доли на расхищенных колупаевыми лишенных леса башкирских землях и терпят бедствия.

С «обидной наглядностью» показал он в романе «Золото» (1890—1891) и очерке «Платина», как плохо использовались в царской России природные сокровища. Эту тему писатель нередко развивал с публицистической остротой в произведениях о Башкирии и башкирах. Страстно возмущала его гибель несметных рыбных богатств весьма многочисленных уральских озер, принадлежавших прежде башкирам. «Самый лучший на Урале заводской округ Кыштымский переживает тяжелый кризис, а его владельцы пользуются его богатствами хуже башкир», — с горечью отмечал он в очерке «Орда» (1888). К определенному выводу о том, что неразумное использование благ природы

связано с порочностью социальных порядков ведет очерк «Мертвое озеро» (1892). Примечательно, что, не ограничиваясь осуждением существующего положения вещей, автор очерка выступает с конкретными позитивными предложениями, но в то время это был глас, вопиющий в пустыне. «При усовершенствованных способах искусственного разведения рыбы и правильного рыбного хозяйства, — утверждал он, — можно было бы увеличить уловы в десять раз. Кроме того, можно было бы разводить в этих же озерах новые породы рыб...»

Такие забытые художественно-публицистические произведения Мамина-Сибиряка, как «Мертвое озеро», «Орда» представляют не только исторический интерес. Они созвучны нашему времени своим благородным пафосом борьбы за бережное, хозяйское отношение к дарам природы, к красе Родины. Как защитник лесов, озер, рек, всей самобытности флоры и фауны Урала на благо народу, Мамин является достойным предшественником М. М. Пришвина, Л. М. Леонова, К. Г. Паустовского, Ч. Айтматова и других писателей советской эпохи.

Наиболее резким контрастом великолепию местной природы являлась, по Мамину, участь его коренного населения — башкир. В очерке «На большой дороге» он говорит о Башкирии, как о «поистине текущей млеком и медом стране, по беспощадной исторической русской логике схоронившей в себе вопиющую башкирскую нищету». Он не находил «ничего печальней вида башкирской деревни» (роман «Без названия») и с грустной иронией замечал, что «башкирский скот хуже тех тощих коров, каких видел во сне египетский фараон» («На кумысе»). В очерках «Бойцы» (1883), «Золотуха» (1883) и других он выделил в «этнографической россыпи», составляющей массу рабочих уральских присков и весеннего сплава, «кровных степняков цветущей Башкирии», а также коми-пермяков, вогулов, коми-зырян и татар, утверждая, что «русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей» («Бойцы»). Понимая под «башкирской бедностью» крайнюю степень разорения, Мамин в рассказе «Подснежник» (1889) говорит о «чисто башкирской бедности», которая встречается иногда в русских казачьих станицах на реке Урал. Анализ особенной «башкирской бедности» дан в очерке «Байгуш».

Призрак вымирающей башкирской деревни является вопиющим диссонансом гармонии природы в целом ряде произведений Мамина, например, в очерках «Горная ночь» (1898), «Байгуш», «Орда» и в рассказах «В последний раз», «Кара-ханым». В первом из названных произведений на фоне сказочно чудесного горного пейзажа верховьев реки Белой рисуется «безымянная башкирская деревушка», которая постепенно «вымирала голодной смертью». Рисуя картины голода

1892-го года, постигшего Урал, Зауралье, а также Поволжье и центральные губернии, Мамин в романе «Хлеб» (1895) отмечает: «Бедуют везде, а башкир мрет целыми деревнями...». Неизгладимое впечатление оставляют те эпизоды романа, в которых старик Колобов встречает на дороге воюющих от голода башкир со страшно искаженными лицами, дикими глазами и посещает в голодающей башкирской деревне общественный магазин, наполненный окоченевшими трупами.

Бедствия, которые несет народным массам капитализм, символизирует трагичный образ вымирающей башкирской деревни Бухтармы в романе «Приваловские миллионы»: земли этой деревни были заможованы в дачу Шатровских заводов, и население Бухтармы «давно превратилось в толпу голодных и жалких нищих». Эпизод встречи Привалова с делегацией ограбленных безземельных башкир явно перекликается с эпизодом встречи заводовладельца Лаптева (его прототипом послужил миллионер П. П. Демидов), героя другого романа — «Горное гнездо» (1884), с русскими ходоками, мужиками-мастеровыми, которые в отчаянье жалуются на бессовестную «прижимку», на то, что мужиков «обезживотили». В обоих романах с беспощадной правдивостью показана тщетность надежд на барскую справедливость, с какой бы стороны они ни исходили.

Мамин показывал, например, в рассказе «Подснежник», что наряду с башкирами попадали в кабалу к золотопромышленникам и русские казаки: «...сдадут в аренду свои земли за бесценок, а потом сами же идут наниматься к арендатору на работу». Но вместе с тем из произведений Мамина видно, что «система закабаления башкир доведена до совершенства: тут и задатки чуть ли не за сто лет вперед, и спаивание водкой, и грошечные подарки разной башкирской старшине, и пачки-фунтики муки во время голодовок» («Орда»).

Чуждый народнических иллюзий, Мамин еще в 80-е годы прошлого столетия обратил внимание на исторически закономерное проникновение капиталистических отношений в русскую, а также и в башкирскую деревню. Башкирские националисты даже в XX веке, закрывая глаза на внутренние классовые противоречия, тщетно пытались утверждать неизбежность патриархальных устоев башкирской жизни. Мамин же был первым писателем, показавшим, что «последнее зло, которое добывает башкир у себя дома, это свои же башкирские кулаки, высасывающие из населения последнюю живую силу. Если башкиры еще могут работать, то только на своих кулаков... Как ни прижмист русский Колупаев, но он далеко уступает башкирским именитым людям» («Юммя»). В очерке «Юммя» рисуются новые типы башкирской деревни: кулак-кровосос, созвавший к себе «на помощь» зависимых от него крестьян; бывалый обрусевший башкир-рабочий — «третья прирская косточка» — и другие. Образ башкирского кулака-

бая, закабалившего и держащего в цепких лапах несколько деревень, рисуется также в очерке «Орда». Запоминающийся образ старого беспомощного башкирского батрака Ахмета, нещадно эксплуатируемого жажиточными сородичами, создал писатель в очерке «На кумысе». «Башкирские именитые люди» в романе «Без названия» по своему произволу распоряжаются общинными угодьями. Они обогащаются, сдавая вотчинные земли русским дельцам.

Живописуя национальный быт, писатель избегал внешнего этнографизма и давал читателям ощутить за чертами этнического своеобразия социально-характерное, классово обусловленное. Например, в том же очерке «Юммя» подчеркивается различие в одежде богатых и «простых» башкирок. О жене кулака Бузыкая, похожей на захолустную матушку-попадью, писатель говорит: «Как все богатые башкирки, она была в бобровой шапке и в шелковом бешмете». Но в «гурьбе простых башкирок», что «толклись на месте, как стадо овец», он не выделяет отдельных колоритных фигур в красивой праздничной национальной одежде. А в рассказе «Кара-ханым» бедность башкирских крестьян характеризуется «страшной пустотой» в избах и тем, что «одеты были кое-как только большие башкиры, а башкирята до двенадцати лет бегали голыми». В очерке «Орда» рассказчик входит в плетенную, похожую на ласточкино гнездо, низенькую и темную, «абсолютно пустую» избу голодающего безлошадного башкирского крестьянина и застаёт там старуху-башкирку «в невозможных лохмотьях» и «двое полуголых башкирят». Затем рассказчик посещает «самого богатого башкира», который «жил в центре деревни, в пятистенной новой избе, поставленной русскими плотниками. На дворе попались... два мальчика в бархатных тубетейках».

Таким образом, контрастные описания облика, одежды и жилищ богатых и бедных башкир получают весьма острую идейно-художественную направленность, в частности против эстетского любования восточной экзотикой. В последнем отношении особенно примечательно горькое ироническое размышление автора в очерке «Орда»: «Голая девочка в окне, голый ребенок... на руках у полуголой девочки; маленький Гафиз (какое поэтическое имя восточного веселого поэта!)...»

Наблюдая башкирский быт, Мамин пришел к убеждению, что «башкиры самый общественный народ» («Орда»), но находил в этом быту, как и в русском, также немало темных сторон, тормозивших культурное развитие. Решительно осуждал он унижение и эксплуатацию, которым подвергалась женщина-мусульманка. В защиту башкирской женщины написаны самые задушевные строки в очерках «Байгуш», «Орда», «Юммя». В первом из них сказано: «Забитость башкирки баснословна. Вся работа лежит на женщине: она одна ведет весь дом, и она же единственная работница в поле». Резко критически освеща-

ются им такие трудно искоренимые бытовые явления, как конокрадство (в очерках «Орда», «На большой дороге» и др.). С горечью говорит Мамин о примитивности и отсталости, запущенности сельского и промыслового хозяйства на Урале. Сопоставление отсталого состояния земледелия в станицах русских оренбургских казаков и у соседних башкир приводит его к заключению: «Башкиры, по крайней мере, имели за себя некоторое объяснение, как степняки, которым всякое правильное ведение хозяйства и вообще земледельческий труд не по душе, а казаки в свое оправдание не могли привести даже и этого».

Изображая русский и нерусский быт Урала в тесном их соприкосновении друг с другом, Мамин обычно делает центром своего писательского зрения общие демократические интересы и стремления разных народов, но не сглаживает при этом, а исследует сложности исторического процесса их взаимного влияния и сближения, не умаляет жестокости старинных нравов. Характерна в этом отношении повесть «Охонины брови» (1892), в которой раскрывается социальная обусловленность совместной героической борьбы русского, башкирского и других народов в период Крестьянской войны 1773—1775 годов. Начинается эта повесть сценой в тюремном подземелье, где сидят прикованные на один железный прут башкир-переметчик Аблай, казак Белоус, слепец Брехун и дьячок Арефа, арестованные за участие в восстании русских крестьян вотчины Долматова монастыря — в так называемой дубинщине 1762—1764 годов. Дубинщину наряду с башкирскими бунтами 1632—1755 годов Мамин считал важнейшим явлением, характеризующим историю возникновения на Урале вслед за возникновением частной казенной горной промышленности¹. Примечательно в этой связи, что Аблай участвовал и в предшествующих дубинщине башкирских бунтах, а затем становится участником пугачевского восстания. Находясь в тюремном застенке вместе с русскими бунтарями, он «по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая» — предводителей первых восстаний башкир. Еще до начала пугачевского восстания заводчика Гарусова, одного из персонажей исторической повести, страшит возможность того, что против властей «казачишки поднимутся да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки да слобожане с заводскими». Дьячок Арефа, сбежавший с Баламутских заводов Гарусова, попадает в стан пугачевцев. «Тут были и

¹ Об этом он говорит в одной из своих черновых записей. — «Введение к горному гнезду», опубликованной в примечаниях А. И. Груздева к 3-му тому собр. соч. Д. Н. Мамина-Сибиряка, изд-ва «Правда», М., 1958, стр. 438.

киргизы (т. е. казахи. — Л. Б.), и башкиры, и разные воровские люди, укрывшиеся в «орде» и по казачьим станицам».

Мрачное величие массового стихийного восстания Мамин передает со всеми сопутствующими ему кровавыми жестокостями. В повести описано, как «орда» грабила и жгла русские деревни, беспощадно расправлялась с пленными. Писатель находит этому объяснение в чудовищных жестокостях, с которыми царский генерал Саймонов расправился раньше с пленными башкирами-повстанцами. О вождях ранних башкирских восстаний повествуется с глубоким сочувствием в фольклорном героико-романтическом стиле: «...все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косою зеленая степная трава».

Следует, однако, иметь в виду, что Мамину не были известны материалы по истории Крестьянской войны в Башкирии, которыми ныне располагает наука, что сказалось на некоторой односторонности изображения им отношения восставших в 1773 году башкир к крестьянскому русскому населению. Он не учитывал, что в отличие от таких восстаний, как, например, башкирское восстание 1662 года, которое носило отчасти реакционный характер и проходило под знаменем ислама, сопровождалось опустошительными набегами на русские деревни, крестьянская война 1773—1775 годов весьма способствовала развитию и укреплению русско-башкирской народной дружбы. Вождь восставших башкир Салават Юлаев, упоминаемый в повести «Охонин брови», писал: «Против русских в сердцах и у нас нет злобы. Нам, башкирам и русским, не следует вести споры и разорять друг друга».

В некоторых произведениях Мамина, например, в рассказе «Озорник» (1896), правдиво отразились отголоски застарелых споров, связанных с путанными узлами аграрных отношений, иногда омрачавшие добрососедские отношения между русской и башкирской деревнями еще в конце минувшего столетия. Но основной сюжетный конфликт в таких произведениях развивается в соответствии с типичными обстоятельствами современности по линии столкновения грядущих башкирских крестьян с капиталистами-заводчиками, кулаками, чиновниками — расхитителями их земель.

Социальные противоречия пореформенной уральской деревни в условиях подъема русского и вместе с тем башкирского крестьянского движения ярко раскрываются в рассказе «Все мы хлеб едим» (1882). Здесь от лица положительного героя разночинца Сарафанова, смело вставшего на сторону ограбленных заводчиками башкир, повествуется о замечательном упорстве, с каким башкиры деревни Кулумбаевка отстаивали свои права на земли, отмежеванные владельцами Локтевских горных заводов. В очерке «Говорок» (1889) подобное героическое сопротивление помещику и властям оказывают, отстаивая свои земельные права, русские зауральские мужики.

Передовой русский интеллигент, активно стремящийся помочь бедствующим башкирам, не является случайной фигурой в творчестве Мамина. Среди его произведений для детей есть рассказ «Кара-ханым» — о самоотверженной работе в голодающей башкирской деревне Юсбашевой русской учительницы В труднейших условиях она организует школу для девочек-башкирок и во время зимней голодовки кормит и одевает своих учениц. Она также учит взрослых башкир культуре земледельческого труда, огородничества и «делает чудеса», находя полное удовлетворение на своем благородном поприще. Жизненная убедительность этого рассказа несколько снижается налетом просветительского утопизма. Но, несмотря на это, рассказ трогает своей задушевностью и подлинным пафосом дружбы народов. Подобно таким положительным персонажам своих произведений, как Сарафанов и учительница Кара-ханым, сам Мамин-Сибиряк с глубоким уважением относился к «поэтическому и воинственному башкирскому племени» («Летные») и не скрывал своего восхищения героической борьбой башкир за свободу. В разоренных и нищих башкирах его особенно привлекали «настоящее степное джентльменство и своеобразная грация», которые они сумели сохранить с давних времен («Горная ночь»). С явными симпатиями изображены в «Приваловских миллионах» башкирские старики-аксакалы Кошкильды и Урукай, верховодившие своими односельчанами. «Старики держали себя просто и свободно с грацией настоящих степняков». Возвышенной поэтичностью отличаются образы башкирских сэсэнов-сказителей и певцов Арслана («Байгуш»), Надира («Горная ночь») и бабушки Туктай («Кара-ханым»). Они так же, как и созданные Маминым самобытные образы величественно-благородного легендарного казахского певца Бай-Сугды («Лебедь Хантыгая») и русских певцов — коробейника Ильюшки (повесть «Верный раб», 1891), бурлаков Потана и Савоськи («Бойцы»), являются характерными выразителями народного самосознания и вольнолюбия¹.

Обычно в произведениях Мамина образы башкирских сэсэнов-вдохновителей органично входят в массовые сцены, связаны с выразительными эпизодами коллективного исполнения и коллективного взволнованного восприятия героического песенного эпоса. «Башкиры сидели склонив бритые головы. Плачущий речитатив невольно захватил всех. Что-то было особенное во всей картине, точно в самом воздухе реяли незримые тени посаженных на кол башкирских старшин, повешенных и изувеченных. Народная песня, как любящая мать, вспоминала своих детей, а байгуш Надыр долго лежал, припав головой к земле» («Гор-

¹ См. специальное исследование: М. Г. К и т а й н и к. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество. Свердловск, 1955.

ная ночь»). Пластично и с драматической выразительностью воспроизводится также выступление народного певца Арслана в очерке «Байгуш». «Меня просто поразило это пение, — так оно не похоже на наши русские песни. В нем сказывалось такое отчаянье, такая тоска, такое великое горе, которое может разрешиться только рыданиями... У меня пошли мурашки по спине... Кажется, кругом все плакало, и было о чем плакать».

В картинах, приведенных выше, и в подобных эпизодах очерков «Орда», «Бойцы», рассказа «Кара-ханым» и романа «Приваловские миллионы», проникновение писателя в чувства певцов-сказителей, их слушателей, а вместе с тем в дух башкирской народной поэзии столь глубоко, что образы поющих и слушающих башкир перерастают в образ песни. В эпической песне оживает кровотокающая история народа, и песня же как бы творит народный суд над прошлым во имя настоящего.

Через народное творчество, особенно песни и легенды, писатель постигал особенности духовного склада разных народов и поэтому нередко развивал фольклорные мотивы и образы. В этом отношении показательны такие колоритные крупные характеры, как неугомонный, одержимый роковой страстью казак-пугачевец Белоус и неотвратимо зачаровавшая его необычной восточной красотой своевольная, отчаявшаяся Охоня, которую он губит. Легендарная фольклорная основа сюжета и некоторых главных образов повести «Охонины брови», утверждающей историческую неизбежность Пугачевского восстания и право народа на борьбу за свободу, сложно преломляется в своеобразном героико-романтическом стиле этого произведения. Ему сродни героическое звучание овеянной духом фольклора исторической повести Гоголя «Тарас Бульба», традиции которой наряду с традициями пушкинской «Капитанской дочки» продолжал Мамин в противовес мугному потоку современных ему реакционных исторических произведений типа романа графа Е. Салиаса «Пугачевцы» (1874) и романа о пугачевщине «Черный год» Г. Данилевского (1887).

К характерным для Мамина, особенно для циклов его уральских и сибирских рассказов, образам относятся деревенские озорники, бродяги. Рассказы о таких беспутных, потерянных, выбитых из житейской колеи незаурядных людях из народа, богатырских натурах, имеют обличительную направленность против господствующего строя¹. В рассказе «Подснежник» наряду с отчаянным казаком-богатырем

¹ См. исследование: Э. Г. Гайнцева. Рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка о «бывших людях» о бродягах. — «Доклады на V конференции по изучению творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка». Свердловск, 1960, стр. 45—81.

Васькой действует подходящий ему под стать и промышляющий вместе с ним хищничеством на золотых приисках его приятель бессшибашный молодой башкир Уразай: «Это был высокий и рыжий детина с удивительно плоской рожой, на которой два узких черных глаза точно заблудились. Одетый в национальные лохмотья, он казался еще могучее самого Васьки». В другом рассказе — «Озорник» — действует удалой бобыль-забудыга Спирька, проявляющий высокую отвагу и благородство.

Особой национальной разновидностью типа озорника является ловкий и смелый конокрад Джанк из рассказа «Кара-ханым». Испытав благотворное влияние русской культуры, Джанк постепенно общается к трудовой жизни.

Мамин-Сибиряк писал довольно много о детях и не только для взрослых, но и для самих детей. С трогательной теплотой рисовал он детские характеры. Это следует сказать, в частности, о самобытных образах башкирских детей — Ахметки в рассказе «Кара-ханым» и «башкиренка-малайки» в «Горной ночи».

Основательно изучая историю Урала, чтобы познать его современные судьбы, писатель в разные периоды своей жизни уделял очень большое внимание башкирским восстаниям XVII—XVIII веков. Он написал о них специальную статью и намеревался в 1885 году опубликовать ее под псевдонимом «Башкурт» («Башкир») в газете «Новости», где неоднократно печатался под этим псевдонимом. Рукопись оставшейся неопубликованной статьи не разыскана. Еще в самом начале 80-х годов данная историческая тема была затронута в очерках «От Урала до Москвы». Кратким изложением истории башкирских восстаний заканчивается очерк «Орда». В рассказе «Летные», касаясь предания о Татарском острове на реке Исети, получившем свое название «в темные времена башкирских бунтов», Мамин характеризует эти времена как потрясающую трагизмом эпоху уральской истории: «...цветущий бассейн реки Исети в течение целого столетия, начиная с первого башкирского бунта, вспыхнувшего в 1662 году под предводительством башкирского старшины Сеита, и кончая пугачевщиной, служил кровавой ареной, и весь этот благословенный простор залит реками башкирской крови». Сердечно, взволнованно говорит Мамин о страшной участи, постигшей участников башкирских восстаний в романе «Приваловские миллионы», Примечательно, что автор «Приваловских миллионов» впервые рассматривал башкирские восстания не как изолированное от русской уральской жизни явление, а в связи с волнениями приписанных к заводам крепостных крестьян. В журнальном варианте «Приваловских миллионов»¹ развернута по-

¹ Ж. «Дело», СПб, 1883, кн. 1—5, 7—11

дробная картина башкирских восстаний, охватывающая несколько веков истории горнозаводского Урала. Но в канонический текст романа вошли лишь некоторые эпизоды восстаний раннего периода.

Специально занимался Мамин историей Пугачевского восстания, о чем свидетельствует повесть «Охонины брови», в которой использованы разысканные им в Шадринском уезде документальные и фольклорные материалы. Эту повесть он писал в 1891—1892 годах. Но еще в 1875 году в письме к отцу от 26 июня студент Мамин просил собрать и прислать ему в Петербург рассказы о Пугачеве, а в начале 80-х годов он стал изучать историю восстания Пугачева в связи с неосуществленным тогда замыслом исторического произведения «Железный закон».

Широкий круг исторических интересов Мамина охватывал также проблемы будущего. Утверждая, что капитализм угрожает многострадальному башкирскому народу полным уничтожением, он делал иногда неверный вывод, ужасавший безнадежностью, например: «Начиная с Кучумовичей и кончая последним батыром Салаватом, поднявшим восстание во время пугачевщины, в течение целых двухсот лет происходил неулягавшийся башкирский бунт. Это была геройская защита своей родины, и народ изжил в ней свои силы» («Байгуш»).

К трагическому заключению о будущем башкирского народа одновременно с Маминым пришел и Г. И. Успенский в своих очерках «От Оренбурга до Уфы» (1889). Однако Мамин уступал Успенскому в глубине раскрытия социально-исторических причин вымирания башкир в царской России. Правдиво показывая, что капитализм несет гибель целым народам, он был склонен считать, что эти народы, став жертвами господствующего строя, фатально уже обречены «более сильной цивилизацией».

Такое дарвинистское толкование общественного прогресса находилось, однако, в противоречии с реализмом Мамина. Примирение со злом, как с чем-то неизбежным, предопределенным, было противно его энергичной натуре, не согласовалось с его гражданскими позициями гуманиста и демократа. Его мысль «никак не могла примириться с контрастом: зачем умирать именно здесь, в этой благословенной и цветущей Башкирии, когда именно здесь-то, кажется, и следовало жить?» («Байгуш»). Особенно сильно выразил Мамин свое неприятие фаталистической философии «железного закона сильнейшей цивилизации» в следующем публицистическом отступлении очерка «Орда»: «И земля, и несметные рыбные богатства — и все это пропадает. Является в виде объяснения жалкое учение о железном законе, по которому слабейшие цивилизации должны вымирать под напором сильнейших. Но ведь такие объяснения легко делать на бумаге, а живое чувство совсем не желает мириться с неизбежной смертью целого

племени. Ведь есть среди башкир такие славные умные лица, есть достаточный запас энергии, есть многие достоинства, которые говорят за вымирающих башкир, — есть, наконец, светлая наука и люди великой любви — неужели же нет никакого выхода, нет спасения?» Так писал он в 1888 году. В произведениях 90-х годов Мамин, поддавшись гнетущим настроениям «эпохи безвременья», признал, что не видит никакого выхода из общественных противоречий, не знает «где те пути-дороженьки... по которым ездили могучие богатыри» («Черты из жизни Пепко», 1894). Между тем в годы, когда он делал такое скорбное признание, выход намечался подъемом революционного рабочего движения, от которого писатель оказался в стороне.

Однако примечательно, что в том же романе «Черты из жизни Пепко» Мамин не примирялся с мрачной действительностью и настойчиво искал выхода в светлое будущее: «Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить и дышать, думать...»

Как ни драматичны картины жизни, нарисованные Маминым-Сибиряком, они не вызывают ни разочарования в цивилизации, ни чувства безотрадности. И это потому, что они одухотворены деятельной любовью к страдающим, но не покоряющимся злу и несправедливости. Читателям невольно передается уважение, с которым писатель относится «к поэтическому и воинственному башкирскому племени», и увлеченность его яркими народными характерами башкир, вера в творческие силы угнетенного народа. Глубокий жизнеутверждающий смысл имеют в произведениях Мамина поэтические картины природы Башкирии.

Великая Октябрьская революция, преобразовавшая Башкирию в передовую Автономную Советскую Социалистическую республику, вывела башкирский народ на светлый путь творчества новой жизни. Произведения Мамина-Сибиряка помогают осмыслить и ощутить величие этого пути.

Лев Баран

ГОРНАЯ НОЧЬ

(Эскиз)

I

Солнце уже спускалось над горным хребтом Аваляк. Река Белая подернулась туманом. Из березового леса, на опушке которого раскинута была наша расшитая бухарская палатка, потянуло сыростью. Мы ночевали уже вторую ночь в горах, и я, сидя на ковре, долго любовался чудной картиной горного заката, когда по горам бродят фиолетовые тени, а в ущельях наливается волокнистый туман. Ближайшее жильё, безыменная башкирская деревушка, была заслонена от нас светлым, как транспарант, березняком. Сейчас видно было только как поднимаются из-за зеленых куп тонкие струйки синеватого дыма. Это топились башкирские чувалы (камин из битой глины) для каких-то фантастических хозяйственных соображений. Деревушка вымирала голодной смертью, и топить чувалы было не для чего.

Мы путешествовали по Южному Уралу с полным комфортом, какой может быть только привольная жизнь на золотых промыслах. Мой спутник, Александр Васильич, любил удобства вообще и в данном случае хотел сохранить престиж главного управляющего целой золотоносной системы. В этих видах впереди нас шла тройка с палаткой и кухней, а назади — другая тройка с прислугой. К этому еще нужно прибавить проводников и почетную стражу из любопытных башкир. Вообще вся обстановка путешествия носила импонирующий характер и на языке промысловой арифметики стоила сущий грош, потому что лошади все равно стояли по конюшням даром и требовали проминки,

а промысловая челядь, ютившаяся около главной конторы, все равно получала бы и свое жалованье и свои харчи. Был в нашей свите даже свой придворный льстец, который по своей охоте провожал нас целых шестьдесят верст верхом с единственной целью выслужиться перед Александром Васильичем.

— Ты-то зачем, Бураков, трясешься за нами? — спрашивал его Александр Васильич. — Тебя ведь никто не звал.

— А я так... Очень уж приятно на настоящих господ поглядеть, — оправдывался жиденьким, «пшеничным» тенорком Бураков, вихлястый и нескладный мужик с необыкновенно длинной шеей и соответствующе длинным носом и узенькими мышинными глазками. — Мне это первое дело, чтобы угодить настоящим господам. Я ведь достаточно привесился ко всякой господской повадке и могу вполне подражать в характер.

Бураков принадлежит к числу промысловых темных людей, имя которым легион. От настоящей мужицкой работы он давно отбился, а жил так, чем придется, как живут только на Руси. То он брал какие-то делянки, то продавал лошадей и везде получал убытки, все-таки ухитрялся существовать. Последней счастливой мыслью Буракова была торговля. Денег у него, конечно, не было, и на этом основании он просиживал целые дни у крылечка главной приисковой конторы, выжидая появления Александра Васильича, причем вскакивая, как ужаленный, срывал торопливо шапку с головы и отвешивал поклон.

— Ну, что, Бураков? — спрашивал Александр Васильич.

— А ничего... Слава богу, живем. Вот торговлишку хочу завести.

— Для торговли нужны деньги...

— Вот-вот, в самый раз. Значит, я и пришел посоветоваться с вами... Как уж вы, значит, определите...

— При чем же тут я? Вот тебе раз...

— Значит, вобще...

— Ничего не выйдет, и ты напрасно здесь сидишь.

Бураков провожал нас на охоту, привозил кумыс, добывал откуда-то рыбу и т. д. Ему, видимо, больше всего нравилась хоть в этой форме близость к настоящим господам. Молва говорила, что он перепродает краденых лошадей, приторговывает краденым золотом и вообще занимается

художествами, но по промысловой логике: не пойман — не вор, и Бураков мог смело смотреть в глаза настоящим господам.

Когда мы ехали в горы и Бураков тресся около нашего экипажа на горбоносой киргизской лошади, Александр Васильич заметил:

— Посмотрите на него: ведь он будет непременно купцом. Я в этом убежден... Удивительная настойчивость хотя по отношению ко мне. У меня не раз являлось преступное желание отвязаться от него, т. е. дать сто рублей на разживу. Я убежден, что он мне возвратит меньше чем через год с процентами в виде фунта гнилого изюма. Вообще это человек будущего...

Бураков обладал целой массой тех маленьких талантов, которые скрашивают жизнь. Он и бухарскую палатку умел поставить, и находил кумыс в реке, и привез с собой лимон, о котором забыл состоявший при Александре Васильиче «человек», и баранину умел поджарить прямо на тглях, — одним словом, — молодец на все руки. Челядинцы только разводили завистливо руками, изумляясь неистощимой изобретательности «человека будущего».

— Его шилом выкормили, — объяснял суровый кучер Андрон, разглаживая окладистую рыжую бороду. — Вот он и тормозится.

Нужно сказать, что наши конвойные были молодец к молодцу — рослые, широкоплечие, бородатые. Это были потомки далеких переселенцев из средней России, когда на Южном Урале вершилось блаженной памяти казенное горное дело. Великорусский тип сохранился вполне и даже улучшился на южноуральском приволье.

II

Итак, спускался чудный летний вечер. Завтра оанним утром мы выступали в поход уже верхом, а наш обоз оставался на месте. Вызваны были специалисты — троводники башкиры, которые сейчас сидели на корточках около огонька и оживленно беседовали, вероятно, обсуждая завтрашнее событие. Башкиры — типичный народ-нищий, вымирающий под напором российской цивилизации с фаталистической покорностью. Но в этих нищих еще сохранились следы настоящего степного джентльменства и своеобразной грации, — иначе я не умею назвать их детскую наивность

и доверчивость. Заботы о будущем не шли дальше сегодняшнего дня, и вот они сидят около чужого огня, счастливые, позабывшие вечную домашнюю нужду, точно растворившиеся в настоящей блаженной минуте. И в лицах у них — что-то такое по-детски добродушное. Вот по части одежды очень плохо, — большинство щеголяло в самых отчаянных лохмотьях, причем маленькая особенность — ни одного босого. Я долго наблюдал этих детей горной уральской глуши, и как-то было жутко думать, что они уже осуждены на уничтожение. История вынесла свой вердикт, а жизнь приводила его в исполнение. Беспомощность башкир особенно рельефно выделялась по сравнению с богатырями-конвойцами.

— Ишь, ждут, когда барана будут резать, — сердито объяснял кучер Андрон, закуривая от головешки свернутую из газетной бумаги сигарку. — Только помани их барашком — за сто верст набегут.

Действительно, сегодня вечером готовилось великое торжество. Бураков еще ранним утром успел съездить куда-то верст за двадцать и привез поперек седла большого курдючного барана, который теперь в блаженном неведении пасся на зеленой мураве за палаткой. Затея устроить пир принадлежала, конечно, Буракову, причем он вперед выговаривал себе баранью шкуру за хлопоты. Между прочим он пообещал показать башкирский хоровод, в чем все сомневались, потому что башкирки не показываются на глаза чужих мужчин, а при случайных встречах, по правилам строгой башкирской вежливости, поворачиваются к встречным мужчинам спиной.

— Зря захвалился наш Бураков, — говорили наши конвойцы. — Где ему привести башкырок... Ни в жисть!.. Ему башкыры-то и башку оторвут за его художество.

Эти сомнения высказывались вслух, но «человек будущего» не унывал и перед самым вечером, когда Александр Васильич отправился стрелять уток на Белую, он таинственно исчез.

Когда солнце село за горный кряж, Александр Васильич вернулся. Охота была неудачная, и он был не в духе.

— Где Бураков? Ничего не будет... Нужно резать барана, а его нечего ждать.

— Вот Мурача зарежет, — заметил кучер Андрон, указывая на седого башкира с бронзовым от загара лицом. — Он это в лучшем виде оборудует...

— Ну, пусть Мурача... Мне все равно.

Башкиры гурьбой отправились за нашу палатку, а кучер Андрон начал разводить костры принесенными заранее дровами. Над костром болтался на шестике большой чугунный котел, в котором должна была вариться баранина. Андрону, с каким-то ожесточением помогали другие мужики, ругая по пути Буракова на чем свет стоит.

— Где ему, долговязому. На словах-то он, как гусь на воде.

— Хвастун долгоносый...

— В болоте где-нибудь завяз, как журавль.

— Сбесился он окончательно.

Баран был освежеван с замечательной быстротой. Это была настоящая артистическая работа. Наступила уже быстрая горная ночь, казавшаяся темнее от яркого костра. Весть о готовившемся пиршестве, очевидно, успела облететь все избенки скрытой за лесом башкирской деревушки, и начала понемногу подбираться публика. Башкиры подходили по одному и по двое, держались некоторое время в темноте, а потом уже вступали в освещенный огнем круг, точно подкрадывались, как делают бездомные собаки. С большими появились подростки и совсем маленькие малышки (малайка — мальчик). Не видно было только ни одного женского лица.

— Прогулял наш Бураков своего барана, — глумились теперь уже все. — Разве какая косточка обглоданная достается.

— Ладно ему и так, хвастуну.

Действительно, вареная и жареная баранина скоро поспела, а Буракова все не было.

— Ну, пора есть, — решил Александр Васильич, начинавший тоже сердиться на «человека будущего». — И для чего он придумал этот дурацкий хоровод... Удивительная фантазия! А впрочем, черт его знает. Надо и ему оставить кусочек баранины.

Пир вышел на славу. Дележка мяса предоставлена была Мураче, который и выполнил свою задачу с математической точностью, причем баранья печенка и почки были предоставлены господам. Наши конвойцы проявили при этом замечательную деликатность, уступая лучшие куски башкирам.

— Пусть их поедят... Им в диковинку баранина-то.

Самым лакомым куском оказался курдючный жир, который был поделен между башкирами. Каждый из башкир, получив свою порцию в сложенные вместе ладони, выходил из освещенного круга, поворачивался к огню спиной и, усевшись на корточки, принимался за еду.

— Точно зайцы сидят в траве, — смеялся Александр Васильич. — Это они из вежливости.

В самый разгар нашего пира раздался голос кучера Андрона:

— Бураков едет!..

Все повскакали, ожидая чего-то необыкновенного. Действительно ехал Бураков, а за седлом у него мотался какой-то человек. Впереди бежал башкиреноч-малайка и размахивал трехструнной киргизской балалайкой. Это был замечательно красивый мальчик с смелым личиком и большими, темными, быстрыми глазами.

— Это у тебя что за ворона? — галдели мужики, обступая кругом лошадь Буракова.

— Какая-то баба, братцы!.. Выкрал где-то старуху...

Когда Бураков спешился, старуха оказалась старым, беззубым стариком, да еще слепым. Все шутки и смех сразу смолкли.

— Вот так хоровод! — ахнула вся толпа.

— Не хоровод, а стоит, может, побольше хоровода, — спокойно заявил Бураков. — Ляксандра Васильич, вот как будете довольны...

Башкиры были как-то смущены и в их толпе послышался шепот: «Байгуш, Надыр! О, совсем слепой байгуш»¹...

— Он, Ляксандра Васильич, не совсем того... — объяснил Бураков. — Значит, мешанный... Значит, не совсем в уме. А только поет очень занятно...

Башкирского барда накормили бараниной и напоили кумысом. Это был совсем тщедушный старичок с козлиной бородкой. Голова у него немного тряслась. Около него образовался круг. Байгуш Надыр посадил рядом с собой своего мальчика, настроил балалайку и заиграл какую-то монотонную грустную мелодию, а потом запел дрожавшим старческим голосом. Во время пения он раскачивался из стороны в сторону и в патетических местах припадал головой к земле. Бураков прекрасно говорил по-башкирски и переводил нам дословно все.

¹ Б а й г у ш — нищий; нищий музыкант.

«О, проклятый, проклятый генерал Соймонов, — пел старик. — Ты построил город Оренбург... Проклятый генерал Соймонов, ты поставил на горе двенадцать каменных столбов, на каменных столбах поставил двенадцать железных шестов, а на шесты посадил двенадцать башкирских старшин, лучших башкирских старшин, проклятый генерал Соймонов. Тут же на горе ты собрал три тысячи лучших башкир и отрезал им уши, другим отрубил руки, а четверста человек повесил, кого за шею, кого за ребро. Вот какой ты, проклятый генерал Соймонов... А башкирские старшины сделали всего только одну ошибку — поверили тебе. Ах, если бы все башкиры думали как один человек, они никогда бы не поверили проклятому генералу Соймонову!..»

Башкиры сидели, склонив бритые головы. Плачущий речитатив невольно захватил всех. Что-то было особенное во всей картине, точно в самом воздухе реяли незримые тени посаженных на кол башкирских старшин, повешенных и изувеченных. Народная песня, как любящая мать, вспоминала погибших своих детей, а байгуш Надыр долго лежал, припав головой к земле. Песня передавала историческое событие, перемешав имена. Дело происходило в 1710 году, когда по поводу основания Оренбурга возмутился «башкирский хан» Карасакал. Бунт был подавлен вызвал кровавую расправу, учиненную князем Урусовым. Экзекуция имела такой вид: пять сообщников Карасакала были посажены на кол, 11 человек повешены за ребра, 85 человек повешены, так сказать, нормальным образом, 21-му человеку отрублены головы; а затем где-то «на одной горе» под Сакмарск-городком было отрублено еще 120 башкирских голов, 50 человек повешены, 300 башкир наказаны кнутом и, по урезании носов и ушей, отпущены на волю. Генерал Соймонов тоже где-то свирепствовал и тоже чинил «знатное замирение». Кажется, это было позже.

Потом байгуш Надыр пел о Кучюмовичах, о старом Сеите, об Алдарбае и Салавате. Он сам увлекался пением и входил в экстаз.

Закончилось это пение о каком-то молодом хане Кучюмовиче, который скрывается в степи, но со временем соберет всех башкир в одно царство.

«О, молодой хан отомстит за всех... Много прольется крови, а жирные русские бабы будут бежать за ханским конем и ловить его стремя. Молодой хан будет справедлив и убьет только одних мужчин, а женщин отдаст в неволю.

Тогда будет счастье на земле... Все башкиры будут счастливы и будут сыты каждый день. Много терпели башкиры, а молодой Кучюмович отдаст им все — и горы, и степи, и реки. Пойте молодого Кучюмовича и плачьте от радости...»

Начало уже светать, когда наш праздник кончился. Все были утомлены, но спать не хотелось.

— Да, — задумчиво повторял Александр Васильич, когда мы сидели у потухавшего костра. — Ведь если разобрать, так и мы..., а впрочем, попробуемте заснуть.

ОЗОРНИК

(Рассказ)

I

Спирька сидел у окна своей избушки, смотрел в сторону башкирской деревни Кульмяковой и думал вслух:

— И отчего бы это дыму идти у башкир, а?.. Вот так штука... Не иначе, што где-нибудь барана скрали, а то и цельную лошадь. Верно!.. Ах, неумытые рыла!

Он заслонил рукой глаза от весеннего горячего солнца и еще раз убедился, что действительно над Кульмяковой, засевший под горкой на берегу озера Карагай-Куль, тоненькою струйкой поднимается синий дымок. В следующий момент Спирька выругался, — выругался вообще, в пространство. Ему почему-то показалось обидным, что башкиры могут есть, а он должен смотреть, как у них дым идет.

— Ах, черти немаканые¹, удумали какую штуку!

По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное настроение. Им овладевала смутная тоска и неопределенное желание выкинуть какую-нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно. «А ты чувствуй, ежели на то пошло... да. Понимай своей башкой, каков есть человек Спирька... да». Мысли Спирьки перекатывались в его голове, как тяжелые камни, когда заиграет по косогорам вешняя поля вода. Озлобленное настроение объяснялось, может быть, тем, что Спирька после смерти жены жил бобылем. Он давно разорил все хозяйство, — какое же хозяйство без бабы? — и не принимал весной никакого участия в трудовой и радостной суете своей деревни Расстани. Другие пахали

¹ Н е м а к а н ы е --- некрещенные.

и сеяли, бабы готовили свои огороды, старики налаживали всякую снасть к страде; а Спирька сидел в своей избушке и ничего не хотел знать. Из всей скотины у него была одна гнедая лошадь, происхождение которой терялось во мраке неизвестности,— другими словами, все были уверены, что она краденая. Лошадь была бы совсем хорошая, если б ее кормить, но Спирька к последнему относился совершенно оавнодушно. Вон башкиры тоже не кормят лошадей, а живут... В свое оправдание, впрочем, он мог сказать то, что решительно не знал, чем бывал сыт сам. Будет день — будет хлеб. А без лошади какой же мужик? Это было последнее воспоминание о хозяйственном существовании, как когда-то жил Спирька женатым и когда у него все было. Не хуже других-прочих жил, а с женой ушло и все крестьянское хозяйство, и Спирька попал в разряд лишних деревенских людей, которых на Руси достаточно. Вот и скучно делалось непутевому человеку, когда занималась весна.

— Беспременно башкиры собираются есть, — повторял Спирька с нараставшим озлоблением. — Ну и нарродец!

Окончательно Спирька был выведен из себя, когда в конце грязной, еще не просохшей улицы показалась Дунька. Он ее узнал сразу еще издали. Некому быть, кроме Дуньки... Вон как выступает, точно корова холмогорская.

— Куда бы ей идти утром? — соображал вслух Спирька. — Гладкая баба, нечего сказать.

Спирька еще раз выругался, теперь уже по адресу Дуньки.

— Ну куда ее черт несет? Ишь как по грязи-то вышлепывает.

А Дунька себе шла и, кажется, не желала ничего знать. По костюму в ней сразу можно было узнать расейскую бабу-переселенку. Белая рубаха с широко вырезанным воротом, домашней работы черная юбка, на плечи накинута белая свитка из домашнего сукна, платок на голове намотан тоже по-расейски — одним словом, все по-своему. Красивое женское лицо было полно какого-то подкупающего спокойствия. Ни одного суетливого движения, ни одного лишнего взгляда.

— Куда это тебя понесло, Дунька? — окликнул ее Спирька.

Дунька вздрогнула и остановилась. На Спирьку посмотрели чудные серые большие глаза.

- А иду... — ответила она спокойно.
- Да куда идешь-то, глупая?
- А телушку искать.
- Ужо вот тебя волки задерут в лесу-то.
- Пушай дерут.

Дунька говорила певучим расейским говором, растягивая слова.

— А ты все отдыхаешь, Спирька? — проговорила она, подбирая юбку, чтобы перешагнуть через лужу. — Замалялся, лежавши на печи...

— А тебе какая печаль?

— Пожалела тебя... Другие мужики на пашне, а ты дома маешься. Пожалел бы хоть подоконник-то, лежебок.

Спирька обругал Дуньку и даже погрозил ей кулаком. Она спокойно пошла дальше, и Спирька долго следил за ее белыми босыми ногами, месившими грязь.

— Тьфу, окаянная душа!.. — ругался Спирька. — Бить вас некому, бабенок... За телушкой пошла?! Тьфу! Я бы тебе показал телушку... Я бы тебя разуважил, гладкую!.. Тоже разговаривает... Лежебок! Ну и буду лежать... Не укажешь. Кто может Спирьке препятствовать? Ни в жисть...

В результате этого монолога Спирька схватил подвернувшийся под руку топор и швырнул его в угол.

А дым над башкирской деревней продолжал подниматься тоненькою синею струйкой, точно кто курил трубку. Спирька опять занялся вопросом, что это могло значить. Во всяком случае нужно было идти и обследовать все дело на месте. Спирьке даже начинало казаться, что как будто запахло вкусною маханиной. Потихоньку от своих Спирька любил поестъ кобылятины с башкирами. Что же, такие же люди, хоть и живут по своему закону. Другой башкир лучше будет русского, даром что кобылятник.

— Нечего делать, надо будет идти... — решил, наконец, Спирька.

Он накинул на одно плечо рваный татарский бешмет и вышел. До Кульмяковой было битых версты три, но расстояние для Спирьки не служило препятствием. Впрочем, выходя, он посмотрел на пустой двор, напрасно отыскивая своего «живота», — способнее бы верхом в Кульмякову-то прокатить — но умудренный голодом конь «воспитывался» где-то на весенних зеленях. Обругав лукавого «живота», Спирька побрел пешком. Ему пришлось идти по той же

дороге, по которой только что прошла Дунька, и это казалось Спирьке обидным. Чего уж хорошего, когда баба дороге перешла.

— Ах, ты... — ругался Спирька. — Не стало ей время.

Он шагал по грязи, закинув бешмет на спину. Небольшого роста, плечистый и жилистый, Спирька был в самой поре. Кудластая голова глядела суровыми темными глазами. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явными признаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо как будто сплюснутое. И ходил он не порасейски на своих выгнутых ногах, как настоящий кавалерист. На Южном Урале попадаются часто такие типы, как результат далекого умыкания первыми русскими насельниками татарских «женок» из недалекой степи. Народ собрался сюда со всех сторон, и недостаток в своей бабе чувствовался долго.

Весеннее солнце так и пригревало, несмотря на раннее утро. «Зелени» взялись необыкновенно дружно, и только березы стояли еще голыми. По низинам пушилась верба. Открытые места, где шли пашни и покосы, тянулись по долине реки Чигодой, делавшей расширение у озера Карагай-Куль. Горизонт замыкала разорванная линия перепутавшихся между собой отрогов Южного Урала. Башкирская деревушка Кульмяково засела на берегу озера, прикрытая со стороны Расстани березовым лесом. Русская стройка была плотная, и ряды изб стояли, как новые зубы. За Расстанью, в полуверсте, раскинулась Ольховка, где лет пять тому назад устроились переселенцы, выходцы из Рязанской и Тамбовской губерний. Тут наполовину новые избы стояли еще без крыш, надворные постройки были еще в зародыше, а кое-где сохранялись еще переселенческие землянки, напоминавшие кротовые норы. Дунька была из Ольховки.

Дорога из Расстани в Кульмякову огибала березовый лес, и Спирька не пошел по ней, не желая вязнуть в грязи. Он не торопясь брел по меже прямо к лесу, — так было прямее. Тут ему вышла неприятность: попались два расстанских мужика, ехавших с сохами.

— Бог на помощь, Спирька! — крикнул один. — Куда наклался спозаранку?.. Смотри, вывихаешь ноги-то.

Односельчане относились к Спирьке свысока, как к заматавшемуся, непутевому мужику, и это его злило.

— Челдоны желторылые... — ворчал он.

II

Главная неприятность ожидала Спирьку именно в лесу. Не успел он сделать несколько шагов, как увидел Дуньку. Она шла прямо на него, помахая длинной хворостиной. Спирька остановился, посмотрел на нее и плюнул.

— Тьфу, окаянная!..

Дунька тоже остановилась. Эта неожиданная встреча тоже поразила ее не особенно приятно. Беспутный Спирька и без того не давал ей проходу и при каждой встрече считал своим долгом обругать. А тут, в лесу, с глазу на глаз — кто знает, что у него на уме, у шалого. Еще как раз наозорничает... Ей хотелось убежать, но было как-то совестно. Он тоже совестился свернуть в сторону. Какой же мужик, который бабы испугался. После Дунька же и осмеет при всем народе. Баба бойкая и за словом в карман не полезет.

— Ну чего же ты стоишь, как березовый пенек? — сурово проговорил Спирька.

— А тебе какое дело?.. Иди своей дорогой...

— И пойду. Тоже не укажешь...

Он сделал несколько шагов. Дунька продолжала стоять. Спирька опять остановился.

— Послушай, Дунька, кабы я был твой муж, я бы взял орясину да орясиной тебя. Разе теперь по лесу телок ищут? Ах, ты... Скотина вся на зеленях воспитывается.

— А ежели я была на зеленях! Умен тоже...

— Все-таки ты круглая дура, Дунька. Зачем по лесу шляешься?

— Ближе лесом-то... Да што ты пристал ко мне, смола? Сказано: иди своей дорогой.

— И пойду... Думаешь, испугался? Тоже не укажешь, чертова кукла... У! взял бы да так взвеселил...

Он прошел в двух шагах от нее, а потом опять остановился. Дунька шла своей дорогой не оглядываясь.

— Дунька... постой... — крикнул он изменившимся голосом, точно кто сдавил ему горло. — Словечко надо тебе одно сказать...

Дунька, не оглядываясь, вдруг бросилась бежать. Это выражение бабьего страха окончательно вышибло Спирьку из ума. Он догнал ее в несколько прыжков и схватил за руку.

— Не замай... Спирька, да ты в уме ли?

— Пстой, говорят... Што ты дурум-то бросилась бе-
жать? Не разбойник ведь...

— Отпусти, говорят!..

— А не пушу...

Он тяжело дышал. Она смотрела на него испуганными глазами и сделалась еще красивее.

— Дунька... Дуня... Зачем ты постоянно сердисься на меня?

— А зачем ты постоянно меня ругаешь? Проходу от тебя нет, от непутевого...

— Я ругаю? — удивился Спирька, выпуская ее руку. — Вот опять ты и вышла круглая дура... Как есть ничего не понимаешь!.. Да я... ах, боже мой!.. Да я, кажется... Што я, зверь я, што ли, лесной? Изверг?

— Известно, каков человек... Недалеко ушел от разбойника-то, коли чужих баб в лесу останавливаешь.

— А ты была у меня на уме, кикимора? А, была?..

Спирька опять озлился, а потом прибавил сдавленным голосом:

— Всех вас взять, новожилов, так вы пальца... Спирьки не стоите... Поняла? Вот каков есть Спирька...

— Уж очень ты дорожишься... Прощай.

Она хотела уйти, но он опять удержал ее.

— Спирька, не замай!.. Вот ужо скажу мужу...

— Мужу? Ха-ха... Испугала до смерти. Да я из твоег мужа и крупы и муки намелю. Слышала? А к тебе с добром, Дуня...

Она опять со страхом посмотрела на него.

— Ну?

— Ты вот говоришь, што я тебя все ругаю, ну... А што у меня на уме... сердце горит... Кажется, взял бы да пополам и разорвал тебя. На, не доставайся никому... И себя порешить... Ничего, значит, не надо...

Эти несвязные слова окончательно перепугали Дуньку, и она вся затряслась.

— Спирька, шалый, кому ты выговариваешь такие-то слова? Забыл, што я мужняя жена?.. Вот я свекру ужо пожалюсь, так ен тебя выучит...

— Свекру?

У Спирьки помутилось в голове, точно у быка, которог... ударили обухом. Он посмотрел на Дуньку воспаленными дикими глазами и схватил в охапку.

-- Свекру, а?.. Мужу, а?.. — шептал он задыхавшимся голосом. — Я же тебе покажу...

Она как-то жалко пискнула в железных объятиях Спирьки и начала отчаянно защищаться. Борьба происходила с молчаливым ожесточением. У Дуньки свалился платок с головы и рассыпались косы из-под сблизшегося повойника. Это ничтожное обстоятельство привело в себя Спирьку. Дунька воспользовалась мгновением, вырвалась и заорала благим матом. Спирька бросился было за ней, но увидел издали ехавших по пашне деревенских мужиков.

— Дунька!.. — крикнул он вслед, грозя кулаком. — Ведь ты душу из меня вынула, змея подколодная!

Дунька остановилась на опушке, чтобы привести в порядок свой костюм, а главное — волосы. Спирька только сейчас сообразил, как все вышло безобразно. Ехавшие по пашне мужики слышали женский крик, а тут выскочила, как полоумная, Дунька. Нехорошо, главное, было то, что она была простоволосая, что для мужней бабы величайший позор. Но Спирька ошибся. Дунька вовремя сообразила все и трытала за деревьями, так что мужики не могли ее

ть.

от тебе и фунт, — проговорил Спирька, окончательно падая духом: на земле валялся в качестве вещественного доказательства Дунькин платок. — Эй, Дунька, воротись! Возьми платок-то, дура...

Она обернулась и только покачала головой. Дело вышло совсем плохо. Простоволосить мужних жен не полагается по строгому деревенскому обычаю.

Спирька долго стоял на одном месте, провожая глазами уходившую Дуньку. Вот она делается все меньше и меньше, вот совсем маленькая, вот и совсем разобрать ничего нельзя, а только белеет одна свитка. Наконец, все пропало. Спирька чувствовал, как тяжело бьется его сердце, слышал, как ласково шумят над его головой еще голые березы, точно что выговаривают, видел, как солнце бродит по сырой земле золотыми пятнами, точно что отыскивает... И опять на его душе закипела обида, и ему хотелось плакать. Да, теперь уж все кончено. Придет Дунька домой без платка и все обскажет мужу, — нет хуже, нажалуется свекру. Муж-то еще стерпит и не захочет срамить жену, а свекор хватится обеими руками. Старичонко бедовый, ему только нужно. Спирька чувствовал, что вперед краснеет от будущего срама.

— А ежели Дунька не скажет никому? — думал он вслух. — И никто бы ничего не узнал.

Но эта мысль обрывается в самом начале, и Спирька окончательно погружается в бездну отчаяния.

— Дура она круглая... Одним словом, баба.

У Спирьки выступают на глазах слезы, и он сжимает кулаки. Надо было задушить ее, Дуньку. Все одно, семь бед — один ответ. Разве он хотел обижать? Да он для нее не знаю что готов сделать... Ах, Дунька, Дунька, ежели бы ты не была дура! Ежели бы она хоть чуточку понимала, что у Спирьки делалось на душе. И опять ему хочется ее убить, чтобы хоть этим путем снять с души каменную гору.

Спирька поднял валявшийся на земле Дунькин платок и спрятал его за пазуху. Вот через этот платок он и погибнет напрасно. Спирька побрел своей дорогой в Кульмякову, но не успел сделать несколько шагов, как его осенила одна мысль. Теперь ему сделалось ясно все, так ясно, что он даже захохотал.

— Ведьма она, эта самая Дунька, — вот и конец делу. Конечно, ведьма вполне... Убить ее мало.

Припомнив разные подробности своего знакомства с Дунькой, Спирька убедился окончательно в своем предположении. Ведь с первого разу она оказала себя ведьмой, еще тогда, как он встретил ее на дороге. Она и подвела всех.

— Ведьма... Вот как обошла. Конечно, платок у меня, а она все-таки заправская ведьма... Так и скажу: «Было дело, действительно, а Дунька — ведьма». Ее надо осиновым колом пришибить, а не то что разговоры разговаривать.

III

Дунька пришла в себя только у околицы. Она решила, что никому и ничего не скажет. Но беда была в том, что ее платок остался у Спирьки. Вернуться домой без платка было невозможно. Первая свекровь заметит и подымет дым коромыслом. В этих расчетах она не пошла Расстанью, где ее видели в платке, а обошла деревню задями и в свою избу прошла огородами. На счастье ее встретила одна младшая сноха Лукерья, глуповатая и несообразительная

бабенка. Свекровь убиралась в избе и ничего не видела. Все вышло хорошо.

«Господь пронес... — думала про себя Дунька. — Этакой озорник этот Спирька. Вот как бы надо его поучить, чтобы не охальничал с мужними женами. Не стало своих девок в Расстани, или вон две солдатки живут».

Вечером ни с того ни с сего накинута на нее свекор.

— Где телушка? — приставал старик. — Куда она ушла?

— Не знаю, батюшка.

Несмотря на покорство, Дуньке все-таки досталось. Старик побил ее для «прилику», а Дунька для «прилику» голосила, точно ее резали. Все это входило в распорядки строгой расейской семьи. Даже когда потерявшаяся телушка вечером пришла сама домой, старик сердито кинул снохе:

— Вот скотина, а поумнее тебя будет. Свой дом знает.

День прошел, одним словом, как сотни и тысячи других деревенских дней. Все знали отлично, что так нужно. Переселенцы только «строились» на новых местах, и требовалась сугубая строгость. Батюшка-свекор постоянно указывал на Расстань, как пример ненастоящего житья зазнавшихся сибиряков. Разве это правильная деревня? Разве это правильные мужики, а тем больше — бабы? На последних старик особенно нападал, потому что бабой дом держится, а сибирская баба не имеет настоящей остратки.

Муж Дуньки вернулся с пашни только вечером и сейчас же завалился после ужина спать. Намаялся человек за день, ну и отдохнуть надо. Дунька убралась и в избе с ребятами и на дворе со скотиной и улеглась спать последней как и следует снохе-большухе. Она сильно притомилась за день, но заснуть никак не могла. Ее взяло особенное ночное раздумье. Главное, Дуньку начала мучить совесть. Зачем она скрыла от всех давешнее? Ведь она ни в чем не виновата и все-таки скрыла. Раздумавшись, она припомнила, что ее платок остался в руках у Спирьки. А вдруг он где-нибудь напьется и вздумает похвастать. «Вот он, Дунькин-то платок!» Ведь тогда все мужики на нее остребенятся и как дохлую кошку разорвут, потому как это первый случай с расейской бабой, которая не умела себя соблюсти.

Чем больше думала Дунька, тем ей делалось хуже. Ей казалось, что кто-то уж крадется к ихней избе. Вот-вот подойдет и стукнет в окно пьяная рука. «Эй, Дунька, выходи... Вот он, твой-то платок!» Бедная баба тряслась в лихорадке

и про себя творила молитву. Наконец, она не вытерпела и разбудила мужа.

— Степан... а Степані

Спросонья Степан плохо понял, что говорила жена. Буркнул что-то в ответ и снова захрапел, как зарезанный. Так и промаялась Дунька вплоть до белого утра. Батюшка-свекор поднимался чуть свет и бродил по двору, как домовый. Дунька смело подошла к нему и с бабьими причетами кинулась прямо в ноги.

— Батюшка, Антон Максимович, согрешила... Не вели казнить — прикажи слово вымолвить. Обманула я тебя вечер, раба последняя.

— Ну... говори!

Старик был спокоен и только пнул Дуньку ногой, чтобы не валялась.

— Ну, ну.

С причетами и рыданиями Дунька рассказала все, как вышло дело, и даже прибавила на свою голову. Еще заканчивая эту исповедь, Дунька как-то всем телом почувствовала, какую она сделала глупость, но было уже поздно. Свекор взял ее за руку, поставил к столбу и велел ждать. Через минуту он вынес новенький сыромятный чересседельник, скрутил его жгутом и принялся им бить Дуньку по плечам и по спине. На ее крик выбежала старуха свекровь.

— Ты это что, отец, делаешь-то? — кинулась она на мужа.

— Я-то? А мы разговоры разговариваем.

На шум и крик во дворе скоро собралась вся семья. Степан пробовал было заступиться за жену, но в ответ получил от родителя удар кулаком по лицу. Старуха свекровь тоже впала в неистовство, когда услышала про исчезнувший платок. Она несколько раз подскакивала к Дуньке с кулаками и шипела беззубым ртом:

— Подавай платок... Где платок? Гадина, давай платок... Степка, ты чего смотришь? Учи жену.

Степану было жаль жены, но он в угоду матери ударил ее по лицу несколько раз. Дунька стояла на одном месте и смотрела на всех округлившимися от страха глазами. Она никак не ждала такого исхода своей исповеди.

— По какой такой причине Спирька к тебе приставал? — наступал на нее свекор. — Мало ли баб в Расстани и в Ольховке, — других он не трогает небойсь. Сама виновата, подлая... может, сама подманивала его.

Дунька молчала. Это еще больше злило старика, и он снова принимался ее бить чересседельником, так что на рубашке показалась кровь.

— Бей ее! — приказывал старик сыну, передавая Степану чересседельник. — Муж должен учить жену.

Подогретый науськиваниями матери, Степан поусердствовал. Он остервенился до того, что принялся таскать Дуньку за волосы и топтать ее ногами.

— Так... так... — тоном специалиста одобрял свекор, с невозмутимым спокойствием наблюдавший эту сцену. — Пусть чувствует, какой такой муж бывает.

От дальнейших побоев Дуньку спасло только беспмятство, хотя свекровь и уверяла, что «ена» притворяется порченой. Избитая Дунька очнулась только благодаря снохе Лукерье, которая sprysнула ее холодной водой. Старики ушли, и Лукерья шепотом причитала:

— Ох, смертынька, Дунюшка. Ведь этак-та живого человека убить можно до смерти.

— Молчи уже лучше, а то и тебе достанется... — посоветовала Дунька, вытирая окровавленное лицо. — Дурымы, вот што.

— Степан-то как расстервенился. А матушка-свекровушка еще его же науськивает.

Дунька молчала. У нее болело все тело, каждая косточка. В избу она не пошла, а попросила Лукерью принести к ней полугодового ребенка. Это был здоровенький мальчик Тишка, родившийся уже на Урале. Его в семье называли «новиком».

— Этот уж не наш расейский... — с грустью говорил дедушка. — И не знает, какая такая Расея есть. Желторотым сибиряком будет расти.

Над маленьким Тишкой избитая Дунька и выплакала все свои дешевые бабьи слезы.

Обиднее всего для Дуньки было то, что при всем желании она не могла пожаловаться на свою семью, хотя и выходила замуж круглой сиротой. Семья была настоящая, строгая, мужики работающие, а свекор пользовался особым почетом в Ольховке, потому что он вывел всех на Урал, на большую башкирскую землю. Около него сплывались все остальные мужики, и старик стоял всегда в голове новожилов. Проявленное над Дунькой семейное зверство в сущности ничего особенного не представляло, как самое заурядное проявление родительской и мужниной

власти. Вот вырастет Тишка большой, женится и тоже будет учить жену. Это было для Дуньки чем-то вроде утешения. Ведь в свое время и она будет лютой свекровью-матушкой.

В следующие дни в семье наступило тяжелое затишье. Степану, очевидно, было совестно, и он молча ухаживал за женой, скрывая последнее от грозного батюшки. Впрочем, старик, кажется, забыл о Дуньке. Он замыслил что-то новое. Дунька со страхом следила за ним. Очевидно, старик подбирался к Спирьке и подбивал других новожилов действовать заодно.

— Растерзают они его... — со страхом говорила Дунька снохе Лукерье.

— Так и надо озорнику! Не балуй... Ты-то што его жалеешь?

— А сама не знаю... Просто дура. Спирька недаром меня дурой-то навеличивает.

IV

Спирька пропадал в Кульмяковой дня два, а потом появился в окне своей избушки. Он по целым часам лежал на подоконнике и смотрел на улицу. По некоторым признакам он имел полное основание догадываться, что дело неладно. Во-первых, мимо его избушки без всякой цели прошли три бабы и рассчитанно громким голосом говорили:

— Ох, бабоньки, и били же ее, сердечную... Сперва свекор утюжил, а потом муж по тому же месту. В чем душа осталась... Сказывают, пластом лежит.

— Чуть до смерти не заколотили бабенку. А какая такая в ней вина? Все он, змей...

Затем Спирька заметил, что около ворот собираются мужики и о чем-то толкуют между собой. Ему казалось, что несколько раз прямо указывали на его избушку. Наконец, он видел, что приходили ольховские мужики и о чем-то долго толковали с расстанскими. До него долетали только отдельные слова: «ен», «ена», «озорник» и т. д. Вообще заваривалась каша, и Спирька только крутил головой. На всякий случай приготовился дать с первого раза сильный отпор.

— А ежели она ведьма, ваша Дунька?.. Ну-ка поговорите теперь со мной... Прямо ведьма. Она и на вас на всех сухоту напустит...

Не раз случалось Спирьке выдерживать напор всего деревенского мира, и он собственно был спокоен. Ведьма — и все тут. Уж ежели кому отвечать, так им же, новожилам, за чем «ведьмов» разводят.

— Ну, ну, идите сюда! — кричал Спирька в окно. — Я вам покажу... Я вас произведу!..

Правда, эта храбрость Спирьки сильно уменьшилась, когда он раз заметил в толпе мужиков старика Антона. Этот не испугается. Самый вредный старичонко, ежели разобрать, цеплястый, как клещ вопьется.

Дело вышло ранним утром, когда Спирька еще спал. Под окном его избушки показался волостной.

— Эй ты, лежебок, дай отдохнуть печке-то...

Спирька выглянул в окно. Перед избой толпилась целая кучка переминавшихся мужиков.

— Вам чего, галманы? — дерзко спросил Спирька.

— А надо с тобой поговорить, хороший ты человек. Выходи ужо на улицу...

— А думаешь, не выйду? И выйду... Сделай милость. Тоже, подумаешь, испугали...

— И выходи, приятный ты человек...

— Да платок-то Дунькинхвати, — прибавил голос из толпы.

— В дружках не был, штобы чужие платки брать...

В ответ из окна полетел скомканный Дунькин платок. Спирька накинул свой армяк и храбро вышел за ворота, где его сейчас же и подхватил под руку волостной.

— Вот так, Спирька... Честь завсегда лучше бесчестья, приятный ты человек. Чего тут бояться добрых людей... Просто, значит, волостные старички хотят с тобой разговор поговорить.

— Дураки ваши волостные старички, — огрызнулся Спирька.

Спирька понял, что его ожидает, и всю дорогу ругался самым отчаянным образом. Около волости его поджидала уже целая толпа, состоявшая из сторожилов и новожилов. Спирька струсил, когда увидел в толпе худенькое лицо старичка Антона.

— Он самый... озорник... — перешептывались в толпе, когда Спирьку вводили на крыльцо волостного правления.

В волости уже дожидались волостные старички, в руках которых сейчас была судьба Спирьки. Однако он не

потерялся (слава богу, не впервой было судиться у старичков!) и довольно развязно проговорил:

— Старичкам поштение...

Старички сидели хмурые, как следует быть ареопагу¹, и ничего не ответили. Волостной предъявил им Дунькин платок в качестве вещественного доказательства. Изба скоро набилась народом. Слышно было тяжелое дыхание и угнетенные вздохи.

— Спирька, а што ты скажешь насчет Дунькина платка? — предложил вопрос старшина, не прибегая к предисловиям.

— Платок? — замялся Спирька и прибавил уже бойко: — И очень просто, господа старички... Эта самая Дунька просто ведьма. Да... Присушку мне сделала, не иначе.

Старички переглянулись, и старшина ответил за всех:

— Так, так, приятный человек... А мы, значит, эту самую Дунькину присушку тебе отмочим, штобы вперед не повадно было охальничать. Так я говорю, старички? Ну, Спирька, показывай все на совесть.

— Нечего мне и показывать... Дело известное. Ежели бы я был женатый, так оно тово... поиграл малость с бабенкой, а она себя и оказала ведьмой. Мне бы раньше об этом самом догадаться... А што касается платка, так это самое дело прямо наплевать.

— Прыток ты на словах, приятный человек... Только напрасно путляешь, говори настоящее.

При всем желании сказать что-нибудь настоящее Спирька только развел руками. Старички переглянулись и сделали знак каморнику. Толпа молча расступилась, и пред стариками очутилась Дунька, бледная, испуганная, со свежими синяками на лице. Она комом повалилась в ноги судьям и заголосила:

— Ничего я не знаю, господа старички... Не взыщите на дуре-бабе. Как есть ничего...

— Врет ена... — послышался спокойный голос свекра. — Дунька, показывай все...

— Твой платок, Дунька?

— Конешно, мой... ен самый и есть.

— Ты телушку пошла искать?

Благодаря этим наводящим вопросам Дунька расска-

¹ Ареопаг (книж. ирон.) — судилище, собрание (первоначальное название верховного суда в древних Афинах).

зала по порядку все происшествие. Новожилы были довольны этим показанием, а старожилы были смущены Спирькиным озорством. Тоже не полагается простоволосить мужчин-то жен... Спирька слушал, переминаясь с ноги на ногу, и только проворчал, когда Дунька сказала, что он чуть ее не задушил:

— И надо было задавить... Вас, ведьмов, нечего жалеть, ежели вы присушку делаете.

Обстоятельства дела были ясны для всех. Обвиняемый в свое оправдание решительно ничего не мог сказать и только твердил, что Дунька — ведьма.

— А хоша бы и ведьма, — заметил резонно один старичок, — и с ведьмов платки-то не полагается рвать. А ты вот того, озорник не понимаешь, што всю деревню осрамил... Што теперь новожилы-то про нас будут говорить?

Выдвинулся самый больной вопрос о розни между Расстанью и Ольховкой. Новожилы являлись потерпевшей стороной, и требовалось возмездие, чтобы восстановить честь и доброе имя старожилков. Спирька являлся своего рода козлом отпущения. Старожилы на нем как будто делали невольную уступку и косвенно признавали права новожилов. Спирькой замирялись вперед поводы к взаимным недоразумениям, и волостные старички как опытные политики отлично это понимали, как понимал и Спирька, которого выдавали головой. Мир от него отступался.

— Ну, приятный человек, што мы теперь с тобой будем делать? — заговорил старшина. — Своим-то озорством ты вот до чего всех довел...

— Поучить его надо, змея, господ старички, — вступился свекор Дуньки.

— А ты помолчи, дедко... — остановили его судьи, сохраняя собственное достоинство. — Мы дело ведем на совесть... Ну, Спирька, так што мы с тобой должны делать теперь?

В судьях было еще некоторое колебание, но Спирька сам себя предал — вместо ответа взял и плюнул. Он до конца остался озорником, и участь его была решена по безмолвному соглашению. Для видимости старички пошептались между собой, а потом старшина проговорил:

— Нечего делать, приятный человек... Довел ты нас донельзя... Дядя Петра и ты, Ларивон...

Когда Спирька возвращался домой, ребятишки показывали ему язык и кричали:

— Дранный-сеченый!..

Спирька только встряхивал волосами, но не смущался. Как это господа старички поддались этой самой ведьме, — даже удивительно. Вот до чего их довела Дунька... Дерут живого человека и думают, что сами это придумали. А ножи-то чему обрадовались?

V

Только вернувшись в свою избушку, Спирька в первый раз почувствовал приступ жгучего стыда. Вот в этих самых стенах жил он исправным мужиком, пока не померла жена, а теперь... Спирька забрался в темный угол на полатах и пролежал там до ночи, снедаемый немым отчаянием. Он тысячу раз повторял про себя все случившееся и приходил к одному и тому же заключению, что во всем виновата Дунька, и она одна. Как ведь ловко она с первого разу обошла его — никто и не заметил.

Припомнился Спирьке жаркий летний день. Он ехал откуда-то с помочи, пьяный свалился с лошади и тут же заснул в зеленой душистой траве. Лошадь паслась около него. Потом Спирьке показалось, что кто-то тащит у него из-за пояса ременный чумбур¹, на котором привязана была лошадь.

— Стой!.. Врешь... убью! — заорал Спирька, напрасно стараясь подняться на ноги. Эй, не подходи!..

— Ну, слава богу, живой, — проговорил над ним участливый женский голос. — А мы думали, што ты расшибся али убитой.

Это и была Дунька. Она шла с свекром впереди переселенческого обоза. Старик Антон спутал какую-то повертку и обратился к Спирьке:

— Мил-друг, как нам проехать на Томск?

— На Томск? Ха-ха... Да ведь до Томска-то тыщи две верстов будет. Ах ты, старый черт... Может, тыщи дорог на Томск идут: любую-лучшую выбирай. Да вы кто такие будете? Переселенцы?

— Около этого, мил-человек... Рязанские, значит, Рязанской губернии вообще, значит, выходит, расейские.

— Та-ак... — соображал Спирька. — А я думал — конокрады.

¹ Чумбур — поводок уздечки.

Пока шел этот разговор, Дунька стояла и с жалостью смотрела на Спирьку. Этаким здоровый мужик, а морда в грязи, рубаха испластана, — она не стерпела и проговорила:

— А ты бы рожу-то себе вымыл, да и рубаху надо починить... Видно, нету жены-то?..

Ах, как она хорошо все это сказала... Спирька и теперь точно слышит этот ласковый бабий голос и видит жалостливые бабьи глаза. Ведь вот поди ты, сразу угадала все... И хорошо Спирьке сделалось и стыдно, а Дунька смотрит на него так прямо и так просто.

Старик еще что-то расспрашивал, а потом подошел переселенческий обоз. Уж только и народ... Притомились все за дорогу-то, обносились, затошала — смотреть жаль. А видно, что народ все хороший, правильный народ, не чета сибирскому. Этакому-то народу дай-ка вольную сибирскую землю, так работа огнем загорит. И бабы все хорошие, хотя и в лаптях.

Когда обоз уже прошел, Спирька заметил, что Дунька оглянулась на него. Эти большие серые глаза точно позвали его. Спирька сел на лошадь, догнал обоз и обратился к старику:

— Ты, видно, дедко, ходокком будешь?

— Ен самый.

— Словечко я тебе одно скажу, дедко... Эх, дорогое словечко, а вся цена — полуштоф водки.

Обоз остановился. Около Спирьки собрались мужики.

— Куды в Томскую губернию тащитесь? — заговорил Спирька, мотаясь в седле. — Этакую даль тащиться, да это помереть.

— Нужда, мил-человек, гонит... Не сами идем. Нужда устигла...

— Эх, вы...

Спирька обругался, а потом прибавил:

— Вот што я вам скажу, расейские мужички... Сделаем дельце так: вы мне выставите, напримерно, полуштоф водки, а я, напримерно, отведу вам тыщу десятин вольной земли. На, пользуйся да поминай Спирьку... Все будете благодарить, а у которых ежели есть дети, так и дети будут чувствовать, каков есть человек Спирька.

Переселенцы выслушали и сначала не поверили Спирьке: пьяный человек зря болтает. Да и вид у него совсем шалый. Погалдели расейские лапотники, посмеялись над

Спирькой и хотели идти дальше, но остановила всех Дунька:

— Полуштоф с миру пустое, а может, ен и в сам деле может определить...

Началась жестокая ряда. Спирька стоял на своем.

— Да ты скажи наперед, а потом мы тебе бочку этого проклятого вина укувим.

— Не могу, — артачился Спирька. — Самому дороже стоит, и притом у меня свой характер... Не хотите своей пользы понимать...

Старик Антон подумал-подумал и решил в свою голову:

— Вот што, мил-человек, так и быть: сделаю тебе уважение. Понимаешь: распоследнее отдаю.

Только теперь Спирька догадался, что такое решение старика Антона было внушено Дунькой. Дело ясно, как день... Она видела всех насквозь.

Водки в обозе, конечно, не оказалось, и пришлось ехать до первой деревни, где был кабак. Измученный жестоким похмельем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабацкой водки чуть не залпом, прямо из горлышка. Потом Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и заявил:

— Ну, дедко, твое счастье... Купил ты меня.

Они отошли в сторону, и Спирька действительно об-сказал все на совесть.

— Вы, дедко, вот как сделайте... Тут есть Кульмяцкая башкирская волость, земли видимо-невидимо — понял? У них такое правило: башкиру-вотчиннику¹ полагается тридцать десятин на душу, а башкиру-припущеннику² всего пятнадцать...

Голова старика Антона закачалась от удивления: всего пятнадцать десятин?..

— А дело не в этом, дедко, — объяснял дальше Спирька. — Башкирскую-то землю пьяный черт мерял после дождичка в четверг... Сколько этой земли — никто не знает. И еще есть причина: мрут эти башкиры, как мухи, а земля-то остается тоже. Понял?

— А ты не оманываешь?

— Ну, вот тоже скажет человек... Што мне тебя обма-нывать, когда у нас своя деревня стоит на башкирской

¹ Вотчинник — коренной владеец земли.

² Припущенник — переселенец, получивший земельный на-дел.

земле. Пришли и осели... Пятьдесят лет теперь судимся с башкирами, и никакое начальство ничего разобрать не может. По-моему, этой самой земли и вам хватит, да еще от вас останется... Понял? Значит, башкирская деревня Кульмякова — понял? А мы уж к ней приспособились, ну, а вы к нашей деревне приспособляйтесь.

— Как же это на чужую землю возможно?

— Ах ты, ежовая голова: сказано — земля ничья, божья, значит. Ничего неизвестно, кому и што следует... Я тебя и научу, дедко, как наших расстанских мужиков обойти, только за это ты мне второй полуштоф потомставишь. Ты приезжай завтра к нам в волость и сторгуй три десятины травы у волостных старичков, будто лошадей выправить... У нас трава по двугривенному с десятины... Ну, а как вас пустят, вы уж не зевайте: сейчас налаживайте и балаганы и землянки. Понял? А потом с кульмяцкими башкирами сговоритесь, будто вы у них эту самую землю покупаете... Да тут конца края не будет, и никто ничего не разберет.

— Ну и сказал ты словечко, мил-человек...

— А то как же? У нас, брат, в Сибири добром ничего не возьмешь... Божья земля-то. Понял? Так оно и пойдет год за годом, а там, глядишь, башкиры все вымрут, — ну, тогда с Расстанью и разделите землю пополам. Вот каков есть человек Спирька!

— Так, так...

— Да уж верно сказано.

Переселенцы так и сделали, как научил Спирька, и все вышло как по-писаному. Ходок Антон оказался большим мужицким дипломатом. Дело в том, что русская деревня Расстань не имела никакого права на существование и осела на чужой башкирской земле захватом. Башкиры судились с этими незваными насельниками много лет, но из этого ничего не выходило, потому что собственные права башкир тонули во мраке далекого прошлого. Когда-то, очень давно, они тоже пришли сюда и захватили чужую землю. Оставались права давности, вернее — права первого захвата. Появление новых насельников было на руку башкирам, сдавшим в долгосрочную аренду землю, принадлежавшую Расстани. Отсюда пошли нескончаемые споры и раздоры между двумя русскими деревнями, сопровождаемые настоящими драками и рукопашной. Переселенцы удерживались

только дипломатическим талантом ходока Антона, умевшего заговаривать зубы и рассчитывавшего на время.

Все это припомнил теперь Спирька и мог только удивляться черной неблагодарности переселенцев. Для него было ясно как день только одно, что не встретить он тогда переселенческого обоза, не был бы он драным. Вот до чего довела Дунька своим колдовством и его и других с тою разницею, что он отлично понимал, в чем дело, а все другие точно ослепли.

«Благодетелем для них был, — размышлял Спирька в огорчении. — А они же своего благодетеля и отлупцевали... Нет ты погоди, не таковский Спирька, чтобы живому мышши голову отъели».

VI

История Спирькиной любви была очень грустная, начиная с того, что он не знал даже самого слова — любовь. По его понятиям, это была присушка. Взяла хитрая баба и заколдовала. Дело тянулось целых пять лет. Спирька часто бывал в Ольховке у переселенцев, но встречал Дуньку очень редко и то мельком. Их разговоры ограничивались взаимной перебранкой.

— Што ты на меня воззрился, как свинья на мертвого воробья? — спросит иногда Дунька.

— У, гладкая!.. — ответит Спирька и обругает.

Дунька жаловалась на озорника мужу, но Степан был смиренный мужик и не обращал внимания. Известно, сибиряки отчаянные, удержу в них нет.

А у Спирьки с каждым годом сердце все больше и больше разгоралось. Он не мог дать себе отчета, что с ним делается, а только Дунька не выходила у него из головы. Разве можно было ее применить к другим бабам? Глянет, так точно огнем обожжет. На Спирьку нападала жестокая тоска, и он топил свое горе по кабакам. Пьяный, он часто плакал и жаловался кабацким друзьям, что его испортила одна женщина. Прямо он не называл Дуньки, а только намекал, что она из переселенок.

— Как змея проползла... Вот какое дело? И сплю и вижу ее...

Кабацкие приятели от души сочувствовали Спирькину горю, от искреннего сердца ругали и советовали бить ведьму, которая такими делами занимается.

Но раньше Спирька еще сомневался, что Дунька была ведьма, и только теперь это сделалось ему ясным как день. И какая ведьма — издали приворожила. Другие ведьмы или накормят чем, или опоят человека, а эта одним глазом только поглядела, и Спирька готов. Даже сейчас, после расправы в волости, он не мог рассердиться на нее по-настоящему. Были мысли довольно жестокого характера, но они падали, как осенний сухой лист с дерева. По возвращении из волости Спирька решил про себя, что спалит двор у старика Антона, и эта мысль ему очень нравилась. Темная ветреная ночь... все спят... и вдруг над Ольховкой зарево, а через два часа хоть шаром покати. Для отвода глаз Спирька хотел притвориться больным и вылежать в избе с неделю. На, потом разбирай да ищи ветра в поле... Кто поджег — руки-ноги не оставил. Нехорошо было то, что расейская стройка дружная, изба к избе, и вся деревня могла сгореть, как хороший костер. Не стоило из-за Дуньки по миру пускать столько народу. Другой способ — изводить Дуньку самому. Приехал к избе верхом, да и давай золотить ведьму всякими словами. Переселенские мужики смиренные, все стерпят. Опять нехорошо...

Целых три дня думал Спирька, и ничего не выходило. Виноваты и свои расстанские, зачем выдали головой новоселам. Хорошо бы им красного петуха запустить, чтоб чувствовали вполне.

— Надо вас, варнаков, учить... Простоваты вы, чтобы драть человека незнамо за што. Какой же это порядок? Сегодня одного отодрали, а завтра другого будете драть... А еще господа старички называются. От всего общества честь... Одной водки сколько вытрескают на сходах за мирской счет.

Но ни одному из этих жестоких планов Спирьки не суждено было осуществиться.

Раз на самом брезгу Спирька был разбужен стуком в окно.

— Эй ты, приятный человек...

— Кого там черт принес? — откликнулся Спирька с печи.

— А ты выглянь в окошко.

Спирька слез с печи и выглянул. Перед его избой стояла кучка ольховских новоселов с ходоком во главе.

— Чего вас носит, полуношников? — обругал Спирька.

— А ты выдь из избы-то. Разговор маленький есть.

— Знаю я ваши разговоры... Опять, что ли, драть?

— Зачем драть, приятный человек, а так, для разговору слов. Ежели добрым не выдешь, так сами в избу придем... Тебе же хуже будет, приятный человек.

Спирька некоторое время соображал, хотя выбирать было не из чего. Потом на него напало озлобление, и он смело пошел из избы. Но его схватили десятки дюжих рук, едва он переступил порог сеней.

— Получай, братцы... — обрадованно загалдели мужики. — Ен самый и есть озорник. Держи его крепче!..

В один момент Спирька был связан.

— А вот увидишь, приятный человек... Ребята, волоките озорника.

— Братцы...

Спирьку потащили посредине улицы, довольно невежливо подталкивая под бока. Он только кряхтел и по обыкновению ругался. Стояло самое раннее утро, так что не топилась еще ни одна изба. Окрестные горы были подернуты туманною дымкой. На топот десятков ног и глухой говор сопровождавшей Спирьку толпы кое-где в окнах показывались головы...

— Братцы, убивают! — кричал Спирька, когда замечал мужицкую голову. — Ох, убивают...

За эти возгласы ему действительно доставались дюжие тумаки, а потом чья-то корявая рука зажала Спирьке рот.

— Молчи, конокрад!

Последнее восклицание сделало все ясным. Спирька понял, зачем его волокут в Ольховку, и ему вперед представилась ужасная картина мужицкого самосуда. Он сам видал, как насмерть бьют конокрадов, и сам даже участвовал в жестоких расправах. Да, все было ясно, как день, и даже Спирька ужаснулся, когда толпа свернула в переулок налево. Очевидно, новоселы не желали вести Спирьку через Расстань, чтобы не поднимать на ноги расстанских мужиков, которые могут заступиться за односельчанина. А у себя в Ольховке сделают, что хотят.

Спирьку потащили полем. Толчки делались сильнее. Кто-то ударил Спирьку по щеке. Дюжие мужицкие руки держали его, как в клещах. У Спирьки начала кружиться голова от страшной боли в левом плече, — очень уж поусердствовали скрутить ему руки за спиной.

Ольховка была вся на ногах, когда привели Спирьку. Его встретили озлобленные лица. Кто-то ругался, какая-то

женщина причитала. Старуха, жена ходока Антона, так и вцепилась в Спирьку.

— Ен... ен самый!.. А я ему глаза повиытыкаю, озорнику.

Обезумевшую от ярости старуху едва оттащили.

— Ох, разорил ен нас всех!.. — причитала она. — Всю семью по миру пустил... Куды мы без лошадок? Страда наступит скоро, а мы как без рук... Снял с нас голову, озорник!..

— Это ен со злости, что тогда поучили за Дуньку в волости, — объяснял голос в толпе. — И лукав пес...

Спирьку затащили на двор к Антону и положили срязанного на землю. Тащившие его мужики запыхались. На всех лицах была написана твердая решимость разделаться с конокрадом по-свойски, чтобы другим-прочим подобным озорникам вперед не было повадно. Спирька был осужден заранее, осужден целым крестьянским миром, и теперь оставались только маленькие формальности. Когда к нему подошел Степан, ткнул тяжелым мужицким сапогом прямо в лицо, так что брызнула кровь, его остановили.

— Не трожь, Степан... Теперь ен никуда не уйдет из наших рук.

Составился полевой суд. Вся задача заключалась в том, чтобы выпытать от Спирьки, куда он угнал лошадей. Степан, задыхаясь от волнения, в сотый раз рассказал, как они втроем караулили лошадей на зеленях и как их украли прямо у них из-под носу. В темноте воров не могли разглядеть.

— Ну, теперь твоя речь, — обратился старик Антон к Спирьке. — Доказывай, куды дел лошадей?

У Спирьки быстро мелькнула тень надежды на спасение. Он ответил с дерзостью:

— Не меня надо бить, а ваших пастухов... Чего они-то глядели? Воров трое — и их трое.

Толпа немного смутилась. Каждое мгновение было дорого, и Спирька решил дорого продать свою грешную душу. Он обругал всех и смело заявил:

— Уж ежели на то пошло, так я один вам выворочу украденных коней... Дураки вы все!.. Где вас надо, так там вас и нет...

Эта смелая ругань произвела известное впечатление. Кругом виноватые люди не будут ругаться, особенно когда смерть на носу.

— Я вам всем покажу, как надо на свете жить! — уже смело заговорил Спирька. — Спросите соседей, никуда я из избы с вечера не выходил... По насердкам¹ вы меня взяли. Говорю: один выворочу всех коней. Мне же в ноги потом будете кланяться, лапотники... Разе такие мужики бывают? Эх, вы... А Степке я сам обе скулы сворочу. Его надо бить-то, шалого.

VII

Неистовое поведение Спирьки сбило новоселов с толку. Ругавшиеся мужики замолчали, озлобление сменилось недоумением. Дунька, спрятавшаяся со страху в задней избе, думала, что уже все кончено. Она все время повторяла про себя:

— Ох, смертынька... Они его убьют!..

А тут вдруг галденье прекратилось. Она выбежала в сени и из-за косяка увидела удивительную картину. Батюшка-свекор своими руками развязал руки Спирьке и даже помог ему подняться на ноги. Вид у Спирьки был ужасный: рубаха разорвана в клочья, лицо в крови, на спине и плечах сине-багровые подтеки от ударов. Спирька постоял, точно оглушенный, повел плечами, точно пробо-вал, целы ли кости, а потом проговорил хриплым голосом:

— Дайте стаканчик водки...

В данный момент больше всего его смущала разорванная рубаха. В толпе были и бабы и девки, а он совсем голый. Спирька несколько раз тряхнул головой. Да, много раз его бивали и раньше, только рубаху не так рвали.

— На, непутевая голова, — говорил старик Антон, подавая Спирьке стакан водки. — Так лошадушек-то добудешь?

— Сказано: выворочу. Экие собаки, право, как рубаху-то истерзали... Места живого не осталось.

— Ну, рубаху мы тебе другую дадим... Дунька, сыщи-ка ему какую ни есть! — приказал Антон. — Так лошадок-то, Спирька, вызволишь? Ведь разор всему нашему дому...

Дунька разыскала старенькую мужнину рубаху и вынесла ее на двор. Спирька сурово повернулся к ней спиной. Дунька опять убежала в заднюю избу, чтобы никто не видел ее слез, — ведь из-за нее, дуры, чуть не убили Спирьку. И посмотреть-то теперь на него страшно: в крови весь, как

¹ По насердкам — по злобе, в сердцах.

баран, все тело пестрое от синяков, один глаз начал затекать. Поведение Спирьки еще больше убедило ее в собственной виновности, и Дунька не могла удержать слез. А тут еще матушка-свекровушка может увидеть, как она его жалеет, озорника, и может поедом съесть.

К себе в Расстань Спирька не пошел, а послал за своей гнедой лошадей. По пути велел захватить пастуший рог и ременный аркан. Дунька видела, как он, обряженный в чужую рубаху, ястребом сел на свою лошадь, поднялся в седле и попросил стаканчик водки.

— Не поминайте лихом Спирьку! — крикнул он, пуская лошадь с места полной рысью.

Оставшиеся у ворот мужики несколько времени сумрачно молчали, а потом какой-то голос проговорил в толпе:

— Омманет Спирька-то... Ище его же и водкой напоили. Теперь ступай, лови его.

Старик Антон ничего не ответил на вызов. Два стакана водки не расчет, когда человек обещает коней воротить. Окромя его, некому и сделать так. Спирька по лошадиной части все знает и с завязанными глазами всю округу обыщет.

Спирька пропал целых три дня. Время тянулось ужасно медленно. «Двор» старика Антона переживал самый критический момент. Какой «двор» без лошадиной силы, а новых лошадей заводить не на что. Получилось самое безвыходное положение, тем более, что дело шло к страде. Мужики угрюмо молчали, а бабы ходили с заплаканными глазами. Теперь все благосостояние семьи зависело единственно от смелости отчаянного человека Спирьки. Но больше всех убивалась Дунька, убивалась молча, одна, затаив в себе целый рой чисто бабьих мыслей. О, она теперь выучилась молчать. С одной стороны, она, припоминая недавние побои, даже не желала, чтобы Спирька вернул назад украденных лошадей, — пусть зорится нелюбимая семья, а с другой — она так боялась за Спирьку. А вдруг он вернется с пустыми руками? Если его и не убьют, так сам навек себя осрамит. Дуньке до слез сделалось жаль вот этого отчаянного Спирьку, когда она припоминала его поведение. Как он обругал Степана да и всех других новоселов, — лежит связанный и ругает. Они-то навалились на одного человека всей деревней и убили бы, ежели бы не отчаянность Спирьки. Эта смелость произвела на Дуньку неотразимое впечатление. Ведь это совсем не то, что бить беззащитную бабу,

как ее били батюшка-свекор с мужем Степаном. Что-то такое новое зарождалось в душе Дуньки, что ее и пугало, и радовало, заставляло плакать. Потихоньку она молилась за успех Спирькиной экспедиции.

В Ольховке сильно сомневались относительно Спирьки и потихоньку судачили относительно старика Антона. Правильный старичок, а вот как дал маху... Обошел кругом озорной человек. Но этим пересудам был положен конец, когда на четвертый день ночью объявился Спирька. Он привел на своем аркане всех трех лошадей. Сонная семья выскочила вся на улицу и не верила собственным глазам.

— Да ты ли это, Спирька? — спрашивал Антон.

— Около того...

Когда Спирьке пришлось слезать с лошади, он только тяжело застонал. Правая рука у него висела плетью плетью.

— Ты, Спиря, того, — бормотал старик Антон, помогая ему вылезть из седла. — Эх, брат, того... Што это у тебя рука-то как чужая?

— А так, значит...

Бабы ухватились за лошадей и с причитаньями повели их во двор. Оставалась одна Дунька. Она спряталась за вереву и наблюдала, как батюшка-свекор снимал с лошади озорника Спирьку. Дунькино сердце билось, как подстреленная птица, и она чувствовала, как задыхается. По всем признакам Спирька был едва жив и доехал до Ольховки только по инерции. Когда его сняли с седла, Спирька весь распустился, как ребенок, и едва мог пролепетать косневшим языком.

— Водочки... стаканчик...

— Били тебя, Спиря?

— Ох, как били... И я бил... и меня били...

От Спирьки трудно было добиться какого-нибудь толку, да и не любил он расспросов.

— Где был — ничего не осталось, — сурово отвечал он. — Мало ли хороших местов.

— Так гришь, шибко били? — повторял Антон.

— Очень даже превосходно.

По перепавшим лошадям мужики видели, что Спирька был не близко, а глядя на него — что дело было у него с конокрадами жаркое.

Он оставался гостем у Антона дня три, пока поправился и немного отдохнул. За ним теперь все ухаживали, и пряталась только одна Дунька. Она боялась поднять глаза,

когда входила в избу, где сидел с мужиками Спирька. Он тоже отворачивался от нее и только раз, когда они столкнулись на дворе, спросил:

— Дунь... а Дунь? Ты не серчаешь на меня?

У Дуньки точно что оборвалось внутри от этого виноватого голоса, каким заговорил с ней Спирька. Сердце так и захолонуло, как будто она полетела откуда-то с высоты.

— Так не серчаешь, Дунь?

— Што это и придумаешь, Спиридон Савельич... Посмеяться надо мной хочешь...

— Я?! Эх, Дунюшка...

Он подошел к ней совсем близко и шепнул:

— Для тебя только и коней выворотил, желанная... На, получай, и чувствуй, каков есть человек Спирька. Эх, Дуня... Слов вот у меня нет никаких, штобы, значит, обсказать все... Только и умею, што ругаться.

— Ты меня ведьмой считаешь...

Голос Дуньки оборвался, и она закрыла лицо рукавом. Душившие ее слезы все эти дни так и хлынули. Спирька растерялся и не знал, что ему сказать. Да и что скажешь бабе, которая дура дурой ревет? Правда, жаль бабенки... Спирька повернулся к плакавшей Дуньке спиной, постоял с минуту, напрасно отыскивая в своем репертуаре хоть одно ласковое слово, но только потрянул головой и ушел в избу. Он немного струсил и струсил самого себя: жалость так вот всего и охватила.

Спирька ушел от Антона через какой-нибудь час.

— Ты куда это скоро больно поплелся? — уговаривал его старик Антон. — Поживи, пока рука-то поправится.

— Нет, уж я домой, — угрюмо отвечал Спирька.

Дунька видела потом, как батюшка-свекор совал Спирьке рублевую бумажку, а Спирька ругался:

— Отстань, старый черт! Стал бы я себя увечить из-за твоего рубля... Дураки вы все и ничего не понимаете. А Степану я скулу сворочу, как вот только рука выправится.

Обругал всех и пошел домой, придерживая бессильно мотавшуюся правую руку.

VIII

Вернувшись домой, Спирька сразу лег, точно подломился. Сначала у него болела ушибленная рука. Она была точно чужая и висела плеть плетью. Удар пришелся по плечу,

и Спирька чувствовал по ночам страшную боль. Задремлет и видит во сне, как нагоняет конокрадов. Они сидели вокруг огонька, не ожидая опасности. Стреноженные лошади паслись в десяти шагах. Спирька налетел на воров орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и двоих уложил сразу, а третий оказался «жиловатым» и долго дрался со Спирькой. Когда Спирька уложил и этого третьего и «пал» на свою лошадь, он догнал его и ударил бастрыгом¹ по плечу. Хорошо, что Спирька усидел на лошади, а то бы ему несдобровать. Сейчас он повторял про себя тысячу раз эту сцену, и ему казалось, что его все еще бьют. Он просыпался в холодном поту и кричал:

— Эй, всех убью!.. Не подходи.

Спирька думал отлежаться, как бывало раньше. Но чем дальше, тем делалось ему хуже. Спирька послал за старухой Митревной, которая лечила всю Расстань. Митревна пришла, осмотрела Спирьку и только покачала головой.

— Эх, тебя угораздило, Спирька.

— А што?

— Места ведь на тебе живого нет... Точно цепами тебя молотили.

— Около того, баушка... Весь не могу. И поясницу ломит, и крыльца болят, и ноги отнимаются.

— Вот, вот... Больно ты лют драться-то, Спирька.

— Дело такое подошло, баушка.

— Да, дело хорошее... Как еще тебе башку не оторвали напрочь.

Баушка Митревна еще раз осмотрела Спирьку, покачала головой и проговорила:

— Умрешь ты, Спирька.

— Раньше смерти не помру.

— Главная причина, что у тебя повреждена станова жила и все болони нарушены.

Мысль о смерти Спирьку не испугала. Что же, умирать так умирать... Обидным для него было только одно — оставалось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и ольховские мужики и конокрады, — ступай, разбирай, которые били сильнее. Сначала Спирька решил, что его окончательно изувечили конокрады, а потом на него напало сомнение. Хорошо тузили и ольховские новоселы.

¹ Б а с т р ы г — шест, жердь.

Спирька лежал в своей избушке совершенно один. В Расстани и в Ольховке, и в Кульмяковой было уже известно, что он не жилец на белом свете. Приходили проводить разные мужики и все жалели Спирьку.

— Беспременно ты помрешь, Спирька... Уж баушка Митревна знает. Она, брат, скажет, как ножом отрежет. Достаточно перехоронила на своем веку всяких народов.

— Знаю без вас, што умру... От ольховских новоселов в землю уйду. Я их землей наградил, и они меня тоже землей отблагодарили. Мой грех.

— А ты бы, Спирька, штец горяченьких похлебал. Может, и полегчает... По жилам горяченькое-то разойдется.

— Не позывает меня на пищу, братцы.

Особенно тяжело бывало Спирьке по вечерам, когда он лежал в темноте. Тихо кругом, а в Спирькиной голове мысли так и шевелятся. Припомнил он всю свою жизнь и ничего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему баушка Митревна предложила прожить жизнь во второй раз, он едва ли бы согласился. Тошно и вспоминать, не то что снова все проделывать. Так, одно безобразие... Другие, конечно, жили и по-хорошему, а он мыкался.

Раз лежал Спирька вечером и особенно мучился. Ему приходилось плохо. Явилось какое-то смутное ожидание чего-то. Вот бы встать теперь, выйти на улицу... Кругом все давно уже зазеленело. И горы стоят зеленые, и поля, и луга. Хорошо везде, кроме его избушки. Спирька, кажется, задремал, когда его разбудил осторожный шорох в сених. Потом раскрылась дверь и кто-то вошел в избу.

— Ты жив, Спиридон Савельич? — спросил женский голос.

— Это ты, Дуня?

— Я... Урвалась из дому, штобы с тобой проститься.

Голос у Дуньки оборвался. Спирька слышал ее тяжелое дыхание. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну? — сурово спросил Спирька.

— Больше ничего.

Она присела на лавку, и Спирька только теперь рассмотрел, что Дунька пришла с ребенком.

— Ты это зачем ребенка-то приволокла?

— А так... Сказывали мужики, што ты помираешь, — вот я и пришла.

— Помираю, Дуня...

Голос Спирьки сделался ласковее.

— Наши-то мужики тебя вот как жалеют, потому как понапрасну тогда обидели тебя.

— Ну их совсем! Пусть твой Степан благодарит бога, что я кончусь скоро, а то бы... Не стоит говорить, Дуня.

Дунька тяжело вздохнула.

— А што касася того, что я тебя ведьмой повеличил, так это совсем особь статья, Дуня. Эх, не так все вышло. Ну, да што об этом говорить... Не стоит. Все одно околевать.

Послышались легкие всхлипывания. Плакала Дунька. Она не вытирала своих слез.

— Тяжко, Спиридон Савельич... Места нигде не найду.

— Ну?

— Вот как тяжко...

— Обижают?

— А мне все одно... Приду домой и скажу, что была у тебя. Пусть бьют... И матушка-свекровушка проходу не дает. Все тобой попрекает... Пусть... Испортил ты меня, Спиридон Савельич. Все думаю, все думаю... С ума ты у меня не идешь... И мужа не люблю. Да и раньше никогда не любила...

— Ну, это уж ты тово... закон принимала, значит, тово... терпи.

— А ежели моего терпенья не стало? Ох, тошно... Вконец вся извелась, Спиридон Савельич. Вот сынка родила, рошу, а сама все думаю: неужто и он в наших мужиков издастся? Какие это мужики? Всего боятся.

— Это ты правильно, Дуня.

— Себя ушитить не умеют... Духу в них нет... Тошно глядеть. Хуже бабы, а еще мужики... Конями-то ты их застыдил.

— Плевое дело.

Дунька продолжала плакать. Ребенок проснулся и тоже заплакал. Спирьке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, утешить, приласкать, но у него кружилась голова, и никаких слов не было.

— Ну, мне пора домой, Спиридон Савельич.

Она подошла к нему совсем близко, поднесла ребенка и проговорила:

— Ты, Спиридон Савельич, перекрести младенчика, чтобы он тоже не боялся.

Через несколько дней озорника не стало. Он успокоился на деревенском кладбище.

БАЙГУШ

(Из путешествий по Южному Уралу)

I

Чудное летнее утро. Башкирская степь еще дымилась радужным туманом, уходя из глаз широкими волнами. Мы остановились на одном из предгорий и невольно залюбовались развернувшейся под нашими ногами широкой картиной. Однообразный общий тон нарушался только светлыми окнами степных озер, — они еще были покрыты белой пеленой утреннего тумана. Глаз невольно искал на этом благодатном просторе человеческого жилья — богатых сел, деревень, улусов, стойбищ — и ничего не находил. В трех-четырёх местах по течению какой-то степной речонки роковыми заплатами выделялись присковые площади, и только.

— Где же тут живут? — спросил я своего спутника. Павла Степаныча, с которым мы ехали на охоту.

— Да как вам сказать, — немного смутился он. — Одним словом, благословенная Башкирия, — значит пустыня. Вон там у озера есть небольшая деревушка. Дворов пятнадцать осталось...

— Выгорела вся деревня?

— Не, зачем выгореть, сохрани бог! Так, просто вымирают... Вот и у того озера тоже деревушка стояла!

По указанному направлению я мог рассмотреть только несколько бурых пятен, а сохранившаяся башкирская деревня походила издали на неправильный ряд кучек навоза. Картина незавидная...

— Отчего же они вымерли, вот эти деревушки?

— Да так... От лени. Работать не хотят башкиры, ну, и вымирают. Больше от голода, конечно. Есть нечего... Можно сказать, просто как мухи мрут.

Павел Степаныч говорил спокойным тоном, точно кладбищенский сторож. Сказывался привычный человек, достаточно насмотревшийся на это башкирское вымирание и потерявший уже способность даже просто возмущаться этим обстоятельством. Что же тут такого особенного? Ну, вымирают в одиночку и целыми деревнями, — кто же это не знает?

Мне показалось, что Павел Степаныч точно был обижен моим вопросом, как иногда обижаются нелепыми детскими вопросами. Для него, прискового человека, прожившего всю жизнь в степи, все было так ясно, просто и убедительно, точно башкиры для того только и существовали, чтобы вымирать. Да, под этим благодатным простором незримо витало что-то роковое, и мысль никак не могла примириться с контрастом: зачем умирать именно здесь, в этой благословенной и цветущей Башкирии, когда именно здесь-то, кажется, и следовало жить?

— Да вот сами увидите, — проговорил Павел Степаныч, точно отвечая на мой немой вопрос.

— Вот тут недалеко в стороне есть башкирская деревушка. Увидите... А вон и наш Балбук, — смотрите влево.

Мы ехали из Балбука, — так назывались золотые промыслы, — по маленькой башкирской деревушке. Официальное название этих промыслов — Каратабыно-Баратабынские, Оренбургской губернии, Троицкого уезда, Тунгатаровской волости¹.

В собственном смысле Балбука, т. е. башкирской деревушки, я совсем не видел, хотя и жил на промыслах уже недели две. Все как-то так не случалось завернуть; деревушка торчала боком, всегда ее можно было видеть, а я откладывал день за днем, как откладываешь чтение собственной книги, которая никуда не уйдет.

Из Балбука мы выехали ранним утром, чтобы поохотиться в предгорьях Южного Урала, разорванная цепь которого громоздилась вправо от нашей дороги.

Известно, что восточный склон Урала идет крутым обрывом, точно обвалившаяся стена какой-то гигантской по-

¹ По современному административному делению — Учалинский район Башкирии.

стройки. Может быть, этой геологической особенностью объясняется его необыкновенная рудоносность, а затем то обстоятельство, что между отрогами этого склона и прилегающей степной полосой рассыпаны тысячи озер всевозможной величины, придавая всему ландшафту удивительную красоту. В разрывах горных масс обнажались механическим путем рудные месторождения, а из них, благодаря работе воды и атмосферических деятелей, образовались вторичные рудные месторождения, как золотые россыпи, залежи железных руд и т. д.

Собственно, на Южном Урале основная ось горного кряжа разветвляется, и точкой этого горного узла является самая высокая гора на всем Урале, Ирмель. Мы именно и ехали по направлению к ней, поднимаясь на одно из тех горных плато, которые образовали между отрогами отдельные террасы. Позади оставался другой горный узел гора Уйташ, которая послужила водораздельным пунктом — именно у ее подножий берут свои начала три больших реки — Белая (Белая Воложка, по книге «Большой Чертеж»), текущая на запад, знаменитая казачья река Яик, по-нынешнему Урал, текущая на юг, и р. Уй, уходящая на восток в степь. Мы скоро «вывершили» р. Урал, т. е. переправились через нее к вершине, где она шириной в несколько сажен. Скоро собственно степь была заслонена отдельным горным кряжем Ирындык.

Что неприятно поражало глаз, это — полное отсутствие леса. Особенно тяжелое впечатление производили совсем голые горы, — голые в полном смысле, как колено.

— А ведь какие боры тут стояли, — с сожалением говорил Павел Степаныч, указывая на торчавшие отдельные пни. — Все башкиришки вырубил... И горы-то теперь точно бритые башкирские башки. Весь лес стащили в степь, главным образом — на промыслы...

— Но ведь рубить лес и вывозить его из гор — работа нелегкая, — значит, башкиры могут работать?

Мой вопрос заставил Павла Степаныча только развести руками. Какая же это работа? Просто растащили лес самым хищным образом.

— Этак и конокрадство тоже работа будет, — объяснил он свою мысль. — А уж лучше башкир на это дело нет мастеров... У одного священника через крышу вытащили лошадь. Все было на замке — и ворота, и конюшни, так

они разобрали крышу, связали лошадь, да связанную-то и вытащили через крышу. Одним словом, народец...

Скоро мы увидели небольшую башкирскую деревушку, раскидавшую свои бревенчатые избенки у подножья безыменной горки. Чем ближе мы подвигались, тем унылее был вид на эту башкирскую селитьбу. Всех избушек было не больше двадцати, и половина их стояла пустая. Все эти постройки ужасно напоминали гнилые зубы, и это сходство увеличивалось еще благодаря пустырям, отделявшим большинство изб, точно часть гнилых зубов вывалилась.

Ничего унылее такой башкирской деревни нельзя себе представить... Отдельные избы выглядели какими-то уродцами: бревна сложены кое-как: окно одно, крыши были только на двух избушках, да и какие крыши, — из каких-то гнилых драниц. Всего эффектнее были трубы, слепленные из глины. Две трубы были устроены из досок, связанных между собой, т. е. веревкой из лыка. В самой хорошей избе, впрочем, труба была выведена из настоящих кирпичей, но только без цемента.

— Вероятно, откочевали в горы? — спрашивал я, оглядывая пустовавшие избы.

— Какие там горы: откочевали на тот свет... — иронически объяснил Павел Степаныч. — Вот остается еще десяток жилых избенок, да и те вымрут. Посмотрите на них, вон какими боярами лежат...

Слово «лежат» было как нельзя более уместно, потому что в двух окнах выставлялись башкирские головы, — растянулся на нарах, положил голову на подоконник и лежит целый день. Мертвые дома, мертвые улицы, мертвая лень... Около изб буквально ни кола, ни двора, точно после какого-нибудь неприятельского нашествия. Не видно ни кур, ни какой другой домашней живности и, только бродят одни башкирские собаки, которые вымирали от голода вместе с хозяевами.

— Кумысу можно будет достать? — спросил я.

— Едва ли... У них и лошади есть только в двух домах. Вон у Асана есть... Спросим...

Мы подъехали к самой богатой избе, где в окне мелькнуло испуганное лицо молоденькой башкирки. Павел Степаныч подошел к окну и заговорил по-башкирски. Ответ был не в нашу пользу. Богач Асан откочевал в горы и там пил свой кумыс...

— Ну и богачи...— протянул укоризненно Павел Степаныч, отгоняя лаявших собак.

Казавшаяся пустой, деревня была совсем не пуста, и мы нашли целый «круг» башкир, сидевших на корточках. Они устроились в тени пустой избы и громко о чем-то спорили. Наше появление только на время прервало это заседание. Круг состоял исключительно из одних мужчин.

— Эх, господа! Шли бы вы лучше работать, чем зря время терять, — посоветовал Павел Степаныч. — Ведь страда стоит... Вот так целые дни и сидят, талалакают и никак не могут переговорить своих дел.

II

Меня поразило в этой башкирской деревушке полное отсутствие женщин и детей. Кроме башкирки в доме Асана, мы никого не видали. Это обстоятельство скоро разъяснилось; именно, отъехав от деревни с полверсты, мы встретили целую гурьбу совершенно голых детей. — этот маленький башкирский народ, по-видимому, возвращался с купанья в ближайшей речонке. Единственный костюм «малаек» (малый-малаек) состоял из засаленной тюбетейки, а девочки и этого не имели. Будущие жены и матери несли на руках своих маленьких «баранчуков» (грудных детей), и это придавало очень трогательный характер живой картины.

— Вы думаете, что это они с купанья идут? — спросил меня Павел Степаныч, улыбаясь. — Ничуть не бывало... Дети до четырнадцати лет ходят голыми. Летом-то еще ничего, а вот зимой вы посмотрели бы на них... Мужчины и женщины еще кое-как прикрыты лохмотьями, а ребятишки так и мерзнут всю зиму. Смотреть-то на них тошнехонько...

Одна из причин необычайно быстрого вымирания башкирского племени была налицо. После систематической голодовки отсутствие платья играет немаловажную роль. Большой бедности трудно себе представить, и русская нищета и голь никогда не доходят до пределов. Наконец, у русской бедности все-таки есть хоть какая-нибудь надежда поправиться, а тут и этого нет, — впереди одна голодная и холодная смерть.

Мне было жутко, когда мы опять выехали на широкий простор башкирского поля. Какая здесь трава: человек

идет по ней, так виднеется одна голова! Полное горное приволье на каждом шагу, только нужны рабочие руки, чтобы оно реализовалось в осязательной форме хлебных полей, покосов и тучных пастбищ. Стояла самая горячая страдная пора, и глаз невольно искал эту живучую рабочую силу, — искал и не находил. Кругом развевалась зеленая нетронутая пустыня, а здоровенные башкириши сидели в тени проваленной избенки и талалакали. Русского человека не может не возмущать эта степная мертвая лень, и у меня в душе шевельнулось нехорошее чувство по отношению к оставшемуся позади башкирскому кругу.

— А вот посмотрите, какая работа идет... — проговорил Павел Степаныч, указывая в сторону, где в высокой траве что-то двигалось. — Ах, мошенники!..

Мы свернули в сторону и остановились перед целой живой картиной. На скошенной траве ничком спал башкир, поджав руки, точно его только сейчас раздавили. Кругом него был выкошен небольшой круг. Работала низкорослая худая башкирка. Она из вежливости, когда мы подошли, отвернулась. Так делают все башкирки до самой старости, и только старухи имеют право не отворачиваться при встрече с женщиной. Забитость башкирок баснословна. Красивых лиц совсем нет, да и как может сохраняться здесь женская красота, когда выдают замуж двенадцатилетних девочек, и в тринадцать они уже делаются матерями. Затем, вся работа лежит на женщине; она одна ведет весь дом и она же — единственная работница в поле: она и дрова рубит, и траву косит, и пашет. Правда, что такая работа дает немного, но и она истощает вконец без того истощенный голодовками организм.

— Ну-ка, покажи нам свою косу, — сказал Павел Степаныч по-башкирски. — В музей нужно отправить такое оружие... Курам насмех...

Когда башкирка подавала косу, закрывая широким рукавом ситцевого платья нижнюю часть лица, я мог рассмотреть только его верхнюю половину: совсем еще молодое лицо, но глаза уже обложены старческой синевой и глубокими морщинами. Здесь среднего возраста не может быть, а из детства прямой переход к дряхлой старости.

Башкирская коса оказалась жалкой пародией настоящей косы, начиная с того, что была насажена на короткое ратовище, да и насажена как-то не по-людски, — в пятке она

хлябала, как живая. «Жало» было отпущено тоже по-башкирски — волнистой линией, с зазубринами.

— Лучину щепать этой косой, а не траву косить, — заметил Павел Степаныч, возвращая удивительный инструмент. — Эй, ты, идол, будет тебе отдыхать!..

Идол поднял заплывшее и лоснившееся лицо, посмотрел на нас узкими, опухшими глазами и сейчас же опять заснул.

Мы поехали дальше.

— Вот таким манером и скотину всю выморили, — объяснил Павел Степаныч. — Вон, видите, в траве сухие дудки, — это ведь некошенные места. Так из году в год остаются.

— Чем же они лошадей кормят?

— А ничем... Что сама добудет из-под снега, тем и сыта. Вы обратили внимание, что ни у одной избы нет огорода: башкиры совсем не знают овощей. Какое уж тут сено!.. Много ли вон она наскребет своим косарем? Так, одно название, что работа.

Помолчав немного, Павел Степаныч прибавил:

— А знаете, что у нас называется башкирским сеном?

— Нет...

— Это, видите ли, когда выпадают очень уж глубокие снега или ударит гололедица, ну, лошади уж совсем ничего не могут себе добыть, и башкиры рубят хворост и этим хворостом кормят скотину. Молодые березки, верба, ольшаник, все идет... Одним словом, публика!..

Наша охота была средней удачи: несколько уток, несколько молодых тетеревов, две куропатки. Как-то не вышло настоящего охотничьего азарта, хотя все время над головой с жалобным писком носились опорные степные кроншнепы. Для настоящего охотника здесь было настоящее раздолье, но мы оказались не на высоте призвания. Все-таки день прошел незаметно, и к вечеру мы порядочно устали, так что даже ехать домой не хотелось.

— Переночуем в башкирской деревушке? — предложил я.

— Ну, уж нет... У них в избах такая грязь и вонь, что не передохнешь. Лучше уж мы здесь, в поле, устроимся, благо, ночь будет отличная, теплая... Вот увидите...

Мы выбрали место на берегу безыменной горной речонки и раскинули стан, что не доставило особенных хлопот. Лошадь была отпряжена, стреножена и пущена на траву.

Скоро весело закурился «огонечек малешенок», как это бывает только в степи, где не найдешь подходящего материала для настоящего костра. Да и в большом огне не было особенной надобности, только бы дымом отгонялся овод, — достаточно. Бывший с нами сеттер-гордон, готовившийся к пробной третьей осени, являлся главным сторожем, потому что лошадь могли украсть в лучшем виде.

— Придется спать на чумбуре, — говорил Павел Степаныч. — Привяжу чумбур себе за ногу и буду там спать, а то, грешным делом, живо слимонят лошадь... На это они мастера.

Чумбуром называется волосяной аркан, который по степному делу всегда имеется с собой. Им и лошадь треножат, и к коновязи привязывают, и торока торочат.

Я сидел у огонька и ждал, когда закипит походный медный чайник. Хорошо так сидеть и чувствовать, что кругом вас необъятный зеленый простор, та вольная волюшка, о которой вечно плачется всякая русская душа. Где-то в осоках перекликаются кулички-песочники, в траве давно уже назойливо скрипит коростель, заставляющий настораживаться и вздрагивать нашу собаку. Температура падает; нагревшаяся за день земля дает пар, и воздух густеет, как уверяет Павел Степаныч. Быстро воцаряется та торжественная тишина, которая приходит вместе с ночью.

Нет, положительно хорошо! — Такие ночи не забываются! В душе встают какие-то смутные образы, проносятся знакомые лица, сцены. Хорошо думается около такого огонька, а главное, — хорошо то, что чувствуешь себя вольной птицей, до которой никому нет дела. Те тысячи нитей, которыми каждый из нас привязан к известному городу, к своей улице, к своей квартире, к своему кружку близких людей и просто знакомых, — все эти нити, опутывающие нас с ног до головы настоящей паутиной, сейчас не существуют.

Мне кажется каждый раз в минуты такого хорошего степного раздумья, что я и сам номад¹ и что точно никогда не жывал в городе, и что лучше этого номадного существования ничего нет на свете... Да и что нужно, когда кругом шелковым ковром стелется степь, над головой синий купол неба, воздух напоен чудным ароматом степных трав и цветов...

¹ Номады — кочевники, кочевой народ.

Может быть, сказывалась далекая степная кровь, которую из роду-племени не выкинешь...

И так легко на душе и, главное, спокойно, потому что нет щемящего ощущения городской жизни. Лежал бы так на траве без конца, смотрел на голубое небо и чувствовал себя просто вольным человеком. Нет, положительно можно дойти, пожалуй, до заматерелой башкирской лени... Слишком уж хорошо кругом!

Да, совсем хорошо, если бы не признак вымирающей башкирской деревни, которая являлась таким ужасным диссонансом в окружающей гармонии.

III

То же настроение, по-видимому, овладело и Павлом Степанычем. Он сидел перед огнем и молчал. Я со стороны полюбовался этой могучей фигурой русского степняка; а потом у него было такое хорошее русское лицо, с добродушными серыми глазами, окладистой русой бородой и мягким носом. В таких лицах сказывается какая-то дремлющая стихийная сила.

Наше молчание было неожиданно нарушено легким ворчанием собаки. Павел Степаныч сразу встрепенулся.

— Это лошадь башкиришки скрадывают... — шепотом объяснил он, хватаясь за ружье. — Вот я задам им, канальям!..

Он посмотрел из-за нашего дорожного короба в ту сторону, куда ворчала собака. Уже начинало смеркаться, и трудно было рассмотреть что-нибудь сразу. Ворчанье повторилось с перебоями легкого лая, каким собака предупреждает о приближающейся опасности.

— Есть... — шепотом объяснил Павел Степаныч, прячась за коробок. — Сюда идут... Ах, мошенники!.. Вот я им задам!..

Можно было уже расслышать топот голых ног. Я успокоился, — во всяком случае, конокрады не пойдут так. Собака уже разразилась громким лаем, когда из травы показалась чья-то голова.

— Тьфу! Как ведь напугал... — ругался Павел Степаныч, пряча ружье в коробок. — Просто байгуш (нищий) да еще слепой. Ведь вот принесло!..

Из травы скоро выделился силуэт сгорбленного старика. Его вела девочка лет десяти, — она была без всякого

костюма. Очутившись в поле нашего зрения, она из вежливости спряталась за старика, — это было все, что она могла сделать в интересах своей стыдливости и приличий.

— Селям-маликам... — прошамкал слепой.

— Маликам-селям.

У старика в левой руке оказалось что-то вроде нашей балалайки. Девочка-поводырь подтолкнула его к самому огню и шепнула:

— Утыр (садись)...

Он сел, по-татарски скрестив ноги. Меня и Павла Степаныча смущала эта девочка, глядевшая на нас из-за спины старика такими горячими, темными глазами.

— Ах, ты птица!.. — бормотал Павел Степаныч, безнадежно оглядываясь кругом. — Чем бы это тебя прикрыть, глупую?

Результатом этого смущения было то, что маленькая башкирка очутилась в каламянковой летней куртке Павла Степаныча, а он остался в одном жилете. Девочка, видимо, была очень довольна этим маскарадом и улыбалась, показывая чудные зубы. Старик не шевелился, точно застыл. Ему было за семьдесят лет. Изборожденное глубокими морщинами лицо точно было отлито из меди, а слепые глаза придавали ему застывший вид настоящей статуи. Седая борода росла какими-то клочьями, точно жесткая болотная трава. Весь костюм его состоял из самых живописных лохмотьев, из-под которых сквозило старческой худобой бронзовое тело. Одним словом, настоящий байгуш.

— Хочешь ашать (есть)? — спрашивал Павел Степаныч, увлекаясь собственным милосердием.

— Конечно, хочет, Павел Степаныч. Что у нас там есть?

— Найдем...

На сцену появилась телятина, белый хлеб и сахар, — больше у нас ничего не было. Дети степей накинулись на еду с жадностью сильно и долго голодавших людей. И ели они оригинально, совсем не по-нашему. Старик сложил обе ладони вместе и ел из них куски телятины, припадая всем лицом. Девочка сделала то же из своих маленьких ручонки и, чтобы выдержать окончательно хороший тон настоящей башкирки, отошла в сторону, повернулась к нам спиной и присела на корточки, — получилось что-то вроде большого зайца. Мы молча наблюдали этот импровизированный ужин.

— Не нужно им давать много сразу, — заметил Павел Степаныч. — Еще дурно будет с непривычки... Вот чаем напоить, — это другое дело. Они могут выпить ужасающее количество. Чай для них — величайшее лакомство...

Прежде, когда правительство хотело приучить башкир к оседлости, были заведены так называемые кантонные начальники. Они выбирались из своих башкир и обязаны были следить, чтобы все башкиры занимались земледелием, а башкирки устранивали огороды. Конечно, ничего из этого не вышло, кроме кровопролития: кантонные начальники забивали насмерть, вышибая башкирскую лень. В результате осталась только одна башкирская поговорка: хлеб кунчал, чай кунчал, — государева работа не мог кунчать.

Кончив ужин, старик облизал руки и пробормотал какую-то стереотипную благодарность. Чайник вскипел, и Павел Степаныч предложил ему первый стакан.

— А знаете, как они дома едят? — рассказывал он. — Это бывает редко, но все-таки бывает. Например, заколют лошадь, которая сломала ногу. Соберется вся деревня и ест до отвала, т. е. едят одни мужчины, а женщины и дети только смотрят. Обеды поступают женщинам, и только обеды этих обедков достаются уже детям. Нужно видеть, как набрасываются башкирята на обрезки мяса и обглоданные кости, — настоящие голодные собачонки! Жалости тут нет никакой, потому что так ведется испокон веку. Вообще, настоящие дикари!

Выпив с жадностью два стакана, старик еще раз поблагодарил и взялся за свой инструмент. Настроив три металлических струны, он взял какой-то жалобный аккорд, покрутил головой и закрыл слепые глаза, точно старался что-то припомнить. Потом раздалось и самое пение. Старческий дрожащий голос выводил речитативом какую-то унылую мелодию, отбивая своеобразные цезуры. Мотив был оригинален и походил на рыдание, а цезуры — на всхлипывание много плакавшего человека. Меня просто поразило это пение, — так оно не походило на наши русские песни. В нем сказывалось такое отчаяние, такая безысходная тоска, такое великое горе, которое может разрешиться только рыданиями.

— О чем он поет? — спрашивал я Павла Степаныча, служившего мне переводчиком.

— А о своих башкирских богатырях... Это вроде наших былин. Сейчас он поет о Кучумовичах и первом башкирском бунте... Эй, старик, как тебя звать?

— Араслан...

— Это по-башкирски — лев... Так вот что, Араслан, спой нам про Сеита, или про Аксакала¹, или про Салавата...

— Куроша, бачка²...

Башкирский бандурист опять закрыл глаза, точно вызывая дорогие тени родных богатырей.

Опять полился рыдающий мотив, немного разнившийся от первого. У меня пошли мурашки по спине... Ничего подобного я никогда не слышал. Кажется, кругом все плакало, и было о чем плакать.

Для меня теперь сделалось все ясным: народ умер, и эта песня была последним блуждающим огоньком, вспыхивавшим на его могиле. Жизненная энергия иссякла, и будущего не было...

Мне сделалось ясным, почему башкир не может работать: он весь в прошлом. И какое прошлое!.. Начиная с Кучумовичей и кончая последним батыром Салаватом, поднявшим восстание во время пугачевщины, в течение целых двухсот лет происходил неулегавшийся башкирский бунт. Это была геройская защита своей родины, и народ изжил в ней все свои силы.

Певший байгуш являлся олицетворением этого несчастного башкирского племени...

¹ Тут имеется в виду Карасакал.

² Б а ч к а — искаженное «батюшка».

ОРДА¹

I

Снежная буря, которая обошла в конце февраля нынешнего года почти всю Россию, застала меня в Башкирии. Когда мы выезжали из Екатеринбурга, погода стояла прекрасная и падал такой хороший, мягкий снежок. Но по мере того, как наш возок удалялся на юг, холод все крепчал и крепчал, снег сыпался уже сухой, и легкий ветерок перешел в судорожные порывы настоящего степного бурана. В несколько часов дорогу перемело так, что тройка лошадей едва тащилась шаг за шагом, точно мы ехали по толченому стеклу, и экипаж приходилось отдира́ть от захряснувшего снега. Вместо воздуха кружилось какое-то мутное, белесоватое пятно. Лошади останавливались. Являлось неприятное чувство, когда измученная тройка напрасно дергала засе́вший в снегу экипаж, точно неумелый дантист вырывал здоровый зуб. Ямщик охрип от крика и поминутно соскакивал с козел, чтобы погреться.

— Эй вы, котятки, помешивай!.. Э-э-уух...

Завывавший ветер помогал ему. Что-то стонало кругом, точно сама земля задыхалась в отчаянной лихорадке. По временам ямщик подходил к окну возка и, пока лошади отдыхали, заводил политичный разговор:

— Вечор в степе-то пошта заночевала... Старики сказывают, экой страсти не упомнят.

¹ Ордой крестьяне называют вообще степь, отсюда — «пахать на орде», «рендовать орду», ордой также называют и всех степняков вообще — башкир, киргизов, калмыков. (Прим. автора).

— А доедем мы к вечеру на станцию?

— А кто его знает... Как поди не доедем. Только бы вот буран мало-мало приутих.

Цель моей поездки в орду была та, чтобы объехать несколько башкирских деревень в момент весенней голодовки. Летом Башкирия — цветущая, благодатная сторона и оставляет в путешественнике самое подкупающее впечатление: тут и степной чернозем, и ковыльные травы по пояс, и цепь красивых озер, и пестрый ковер ярких степных цветов: едешь и любишься. А теперь все это потонуло в снегу, и без конца расстилалась голодная равнина, по которой с надрывавшим душу воем гулял буран.

Челябинский тракт идет прямо на юг. Миновав казенные и частные дачи, мы медленно двигались по помещичьей земле. На Урале таких земель очень немного, и в Башкирии они врезались клином: Никольское, Тюбук, Куяш, Метлино и еще несколько отдельных островков. Происхождение этих помещичьих земель теряется в давнопрошедших временах башкирских бунтов, когда здесь насаждалось поместное владение казенных завоевателей. Собственно Башкирия, — я говорю о Зауралье, — сосредоточивается сейчас в углу, который образуется течением рек Синары и Течи. Это последний оплот «орды», обойденной со всех сторон русским населением. Отдельные башкирские деревни встречаются и в других уездах, но здесь засела сплошная «орда». От Куяша мы ехали по башкирской территории.

— Ничего, веселенький пейзажик, — говорит мой спутник, сосредоточенно покуривая сигару. — Это какой-то скандал творится в природе.

А буран все стонал, сметая сухой снег с высоких мест в овраги и широкие луга. Наш возок тащился то по голой земле, то попадал в сугроб. Такой способ путешествия ямщик характерно назвал ездой «с плечи на плешь». Но в одном месте мы попали уже «в цело», т. е. возок окончательно застрял в сугробе, несмотря на отчаянные усилия лошадей и еще более отчаянные вопли ямщика. Здоровенный коренник буквально утонул в снегу — на поверхности оставалась одна дымившаяся лошадиная спина и тяжело мотающаяся голова. Пристяжные тоже засели в снегу, — они действительно сидели, как зайцы, увязнув задом. Положение получалось критическое, тем более, что впереди засели еще три воза с кладью и, чтобы очистить путь, нуж-

но было сначала вытащить их. Ямщик пошел к окну возка и безнадежно посмотрел на нас.

— Ну, что будем делать?..

— Башкыр едет... — коротко ответил он, мотнув головой назад. — Пусть, собака, торит дорогу, а мы за им... Уж только и орда эта немшоная!.. Одно слово, пошта замерзла.

Мы вылезли из экипажа. Башкир действительно догнал нас, стоя на дровнях, точно он плыл на лодке.

— Мало-мало кунчали... — забормотал он, соскакивая с дровней.

— Знаком, айда воза вытаскивать, — пригласил ямщик.

— Карапчим мало-мало...

Плотный и коренастый башкир принялся за дело с таким веселым лицом, точно он попал на праздник. Засевшие в снегу воза нужно было отоптать, потом выпречь лошадей, заложить их гусем и при дружном усилии трех мужиков тащить по сплошному снегу. Крику, гаму, суетни было достаточно, и башкир просто выбился из сил. Эта операция потребовала «битый час», прежде чем приступили к нашему возку.

— Айда!.. Ташши!.. э... э... у-ух!..

Три лошади, запряженные гусем, едва вытащили из сугроба пустой возок. Башкир торжествовал, вероятно потому, что лично для себя он никогда так не работывал.

— Ступай передом, знаком, — советовал ямщик.

— Моя кунчал... деревня мало-мало...

Мы двинулись вперед. Башкир по-прежнему, стоя на ногах, торил дорогу. Мы плелись за ним гуськом. Лошади опять вязли и останавливались. Когда башкир заявил, что ему пора домой, — выпала поворотка в деревню, мы посоветовали ямщику нанять его торить дорогу до станции. Начались переговоры, и башкир за семь оставшихся верст запросил рубль.

— Да ты сдурел?! — ругался ямщик. — Цалковый... Да вы всей-то вашей деревней таких денег не видывали.

Несмотря на наше согласие заплатить башкиру целковый, ямщик уперся, как пень, и поднял жестокою брань с ордой. Кончилось дело тем, что башкир уехал в сторону.

— Собака, одно слово собака!.. — ругался ямщик. — Цалковый... Орда неумытая, право!.. Тоже и выговорить...

а? Во всей-то деревне в двух дворах хлеб, а он: цалковый... Все равно порожнем уехал, собака!..

Русская логика никак не укладывалась с башкирской, и обе стороны по-своему были правы. Меня неприятно поразила только черная неблагодарность ямщика: башкир хлопотал около нас часа два и в благодарность получил крупную мужицкую ругань.

— Зачем ты его обругал, ямщик?.. Ведь он помогал...

— Сказано: орда!..

Этот дорожный эпизод наглядно рисует отношение русского населения к башкирам, да и в поле «один бог — Никола».

Благодаря самым отчаянным усилиям, мы кое-как добрались наконец до станции Сары — первая башкирская деревня на Челябинском тракту, прославившаяся на всю округу, как гнездо отчаянных конокрадов. Место открытое, но полтораста дворов живописно раскинулись на берегу большого озера. Другое озеро легло назади деревни, верстах в двух. Засыпанные снегом, одноглазые избушки представляли довольно жалкий вид. В окнах на лай собак показались любопытные лица. В одной избе во все окно стояла совсем голая девочка лет шести и жадными глазами провожала наш возок. Это была картина уже из башкирских нравов.

II

Когда наш возок торжественно въехал в растворенные ворота новенького пятистенного дома, на крылечке показался сам хозяин земской станции — высокий и коренастый старик с седой красивой головой. Он несмотря на «клящий» мороз, выскочил в одной ситцевой рубашке, подхваченной гарусным пояском под самые мышки, как подпоясывают ребятишек.

— Милости просим... пожалуйста... — заговорил свежим тенорком старик, как-то торопливо роняя слова и улыбаясь без всякой видимой причины. — И пурга... Свету было не видно... Прикажете самоварчик поставить, а может — ушки?.. И погодка... В степи-то поди, снег стеной ходит.

Услужливый старик торопливо юркнул в одну дверь избы и выскочил в другую, чтобы провести нас прямо в горницу. Эта подвижность и торопливо сыпавшаяся речь уж совсем не гармонировала с солидностью всей фигуры

и с почтенными сединами, да и станционные зрители или просто содержатели всегда отличаются известной угрюмостью.

Станционная «горница» имела довольно приличный вид и выходила окнами прямо на озеро. На одной стене ряд станционных олеографий: «Избиение младенцев», «Князь Баттенбергский», «Дама с кошечкой» и т. д. После дорожного холода мы были рады погреться, хотя тепло скоро оказалось даже не под силу: прошиб пот, а нужно было отправляться опять на холод.

Пока мы таким образом пили чай, обливаясь потом, старик-хозяин успел рассказать свое *curriculum vitae*¹. Родом он из Сысертского завода, работал когда-то на фабрике, а потом выбился в подрядчики; семья теперь вся пристроена — сыновья переженились, дочери замужем, а сидеть сложа руки не хочется, и бойкий старик придумал поселиться на тракту, в башкирской деревне, чтобы земской гоньбой добывать свой стариковский «пропитал».

— Подряды-то уж не под силу, а на станции-то еще гоношим мало-мало... Вот домишко поставил, хозяйством обзавелся: там курочки, там ярочка, там уточка... хе-хе! Ничего, слава богу, не жалуюсь. Только вот одно: муторно на этих собачек глядеть. Я башкир собачками зову... Ей-богу, собачки: сегодня голоден, а завтра есть нечего. Во всей деревне ни одной бани нет — это уж какой порядок?.. Хлеб в трех избах, ребятишки голешеньки, недоимки — тьфу!.. Одно слово — собачки.

— А земля?

— Земля? Земли у них, у собачек, невпроворот: десятин по 30 на душу, да рук у земли у ихней нет. Всю в аренду сдают кыштымским да каслинским мастерам... Вот тоже два озера за тыщу цалковых сдают в аренд, а какая польза? За землю возьмет цалковых пятнадцать и все тут. Не велика корысть, а озерные деньги на подати да недоимки. Вот и голодуют...

— Однако, нужно же что-нибудь есть?

— А так по миру ходят... Придут к арендателям, на сайму², те дадут фунтика по два муки — вот и вся разстава.

— Зачем же арендаторы дают им муки?

¹ Curriculum vitae. — жизнеописание.

² Сайма — промысловая изба, где хранятся снасти и живут сторожа.

— Да так, из жалост... Как же, вотчинники, ну и пожалееет. Одним словом, собачки...

Пришел волостной писарь, хмурый и волосатый господин с несомненными признаками духовного родоисхождения, потом широкоплечий мужчина в охотничьих сапогах, в полушубке и с охотничьим ножом на кожаном поясе, настоящий медвежатник, — он «состоял при озерах», чем-то средним между поверенным и сторожем, и наконец — два башкира с какими-то значками на серых шубах. Моему спутнику нужно было собрать кой-какие справки, и он долго беседовал с начальством, а медвежатник изображал пубliku.

— Что же подати?

— Сбираем мало-мало, — бойко ответил черноглазый башкир с умным лицом. — Все собираем, деревня ездим... Ашать¹ кунчал башкир, все кунчал...

Совместные показания писаря и официальных башкир подтвердили слова старика: вся волость голодует. Даже на озерах у арендаторов рыбу ловили наемные рабочие из других мест, а башкиры смотрели на них и голодали.

— Как не хотят, бачка... Бульно² хотят, да какая работа: ашать кунчали.

Разговор получился правильный: какая работа, когда целой волости есть нечего, а есть нечего потому, что вся Башкирия давно заснула непробудным сном. Заматерелая, настоящая степная лень покупалась тяжелой ценой весенних голодовок. Впереди — быстрое вымирание когда-то сильного племени.

Мне хотелось посмотреть, как тянут зимой на озерах тony, но за пургой это оказалось невозможным, — сегодня тony не тянули. Баснословные богатства башкирских озер могут показаться невероятными: рыбу вынимают тonyми в несколько тысяч пудов. Сгруженную неводом рыбу подводят к прорубям и здесь уже вычерпывают в течение нескольких дней. Такие рыбные богатства объясняются присутствием в этих озерах особого рачка «морыша», благодаря которому рост рыбы здесь в пять раз быстрее, чем, например, в Волге. И эти неистощимые богатства сдаются в аренду за какую-нибудь тысячу рублей, потому что у

¹ А ш а т ь — есть.

² Б у л ь н о — больно, очень.

самих башкир нет дорогих снастей и притом мертвая башкирская лень одолевает.

Мы все-таки отправились на озеро, посмотреть, как ловят башкиры рыбу удочкой, — это выговорено у арендаторов. Ближайшая часть озера, вдававшаяся заливом, была испещрена черными точками: это — проруби, защитки от ветра и сами рыбаки. Подъезжая к рыбакам, мы встретили несколько возов с колотым льдом.

— Это куда же лед везут, в погреба?

— Нет... Какие погреба, когда и бань нет. Просто везут на воду: тают лед в своих чужалах¹ и пьют. Говорят — слаще.

Под защиткой от ветра, слепленной из снега, мы отыскали первого рыбака. Это был башкир лет тридцати, одетый в невообразимые лохмотья. Он стоял на коленях прямо на снегу и держал над прорубью короткую башкирскую удочку. Клев был плохой, и с утра рыболов поймал всего одного окуня, вершков двух ростом. Добыча не особенно заманчивая, если бы не голод и не дешевое башкирское время. Другие рыболовы не были счастливее. У одной проруби мы нашли старуху-башкирку, которая сидела с утра над прорубью совсем даром. Из лохмотьев и бабьих тряпиц на нас глянуло такое измученное, старое и сморщенное лицо.

— Продай удочку...

Башкирка ни слова не понимала по-русски, и пришлось вести переговоры через переводчика. Нужно было видеть радость и изумление этой степнячки, когда она через переводчика получила какой-то двугривенный.

— Рыба кунчал, — объяснял переводчик. — Рыба в сайме.

И это единственный промысел на всю деревню в полтора-двора дворов. Борьба за существование, как видите, не отличалась особенным ожесточением. Вот арендаторы башкирских озер, эти короли Башкирии, те в несколько лет наживали и наживают сотни тысяч, даже миллионы. Система закабаления башкир доведена ими до совершенства: тут и задатки чуть не за сто лет вперед, и спаивания водкой, и грошевые подарки разной башкирской старшине, и подачки фунтиками муки во время голодовки. Один наживается, а тысячи голодуют.

Если есть организованный и доведенный до известного

¹ Чужала — башкирская печь.

совершенства башкирами промысел, так это конокрадство. Здесь они не знают соперников и являются грозой для всего края. Положим, бьют их за это нещадно, сажают в острог и вообще таскают по судам без конца, но все это, как горох к стене. Анекдотов и рассказов на эту тему без конца. Есть свои герои и первые любовники. Сары и Надырова-Сток известны хорошо всему Зауралью, хотя сами башкиры никогда не сознаются в воровстве, даже если попадут с поличным.

— Прежде бульно воровал... нынча кунчал... — обыкновенный ответ конокрада перед следователем.

Одного башкира поймали на лошади и привезли к следователю, но конокрад не смутился. «Мой гулял... мой на лошадь сажал... Ничего не знаю, мало-мало!» Один молодой парень-ямщик рассказывал с особенным удовольствием, как они «кунчали» матку, т. е. главного конокрада. Дело происходило где-то в Сарах или Надыровой.

— Всю округу обезживотил он, Ахметка, значит. Ничего его не держало: из-под замка уводил коней, а у одного попа пятистоенного жеребца через крышу уволок. Ну, откупались от него, от Ахметки... терпели значит. Приедет куда в русскую деревню, его всякой норовит угостить. Проворный был, дьявол, и пуля не брала, потому промежь башкир за колдуна считался... А мужики наши давно на Ахметку грозилась. Сколько разов пымать хотели окончательно, да только боялись подступить, замороженный человек, одно слово... Ну, а тут он как-то на праздник и попади к нам в деревню. Известно, праздник — и народ пьяный, и Ахметка пьяный. Зазвали его в избу и угощать, а он сидит в переднем углу и величается. Тут и порешили: удавим матку... ей-богу... пра!.. Ахметка пьет, а уж ему и веревку принесли... ну, надеть-то на него прямо руками тоже невозможно: вывернется, оборотень. Ну, тогда дядя Андрон на вилах петлю сделал да вилами и накинул. Сразу попал... А руками его все-таки нельзя трогать. Ну, человек десять за один конец веревки тянут, человек десять за другой, а он, Ахметка, на веревке болтается. Так и задавили...

— И ты тоже давил?

— Все за веревку тянули, ваше благородие, а дядя Андрон вилами в ево уперся... А ежели бы кто рукой дотронулся, ушел бы Ахметка...

Конокрадство — неискоренимый порок всех степняков. Они не могут видеть в нем безнравственной стороны, а ско-

рее видят молодечество и богатырскую удасть, как отголосок степной баранты¹. Даже степная астрономия приспособилась к этим воззрениям. По мнению киргизских и башкирских астрологов, полярная звезда — серебряный кол, к которому привязано семь лошадей; каждую ночь семь воров, подкрадываются к этим лошадям и «карапчат» их. Такое объяснение законов небесной механики является апофеозом конокрадства

II

Вернувшись с озера, мы отправились по деревне, посмотреть, как живут башкиры зимой. Большинство изб такие же, как и в русских деревнях, только постройка хуже: крыши дырявые, трубы кой-как сгорожены из кирпича или камня, хозяйственных построек мало и вообще мало «управы». Резче всего выделялось именно это отсутствие дворов: из изб ход прямо на улицу, да и самая изба точно слепая, — всего одним окном глядит. В одном месте на задворках стоял какой-то круглый плетень с соломенной крышей и дымился.

— Это тоже изба? — спрашиваем переводчика.

— Изба мало-мало... Башкир живет.

Плетеную избу могла придумать только ленивая орда; мы, по крайней мере, видели такую постройку на Урале в первый раз. Подходим. Избушка слабо курится. Низенькая, как в покосном балагане, дверь вела внутрь этого ласточкина гнезда. Нагибаемся и влезаем. Маленькое оконце едва светит, как бельмо. Внутреннее пространство в несколько шагов; стены, как в птичьем гнезде, вылеплены желтой глиной; налево от двери неизбежный чувал, направо невысокие татарские нары. Пустота абсолютная; обитатели плетеной избы — старуха-башкирка да двое полуголых башкирят. Хозяйка одета в невозможных лохмотьях, лицо сморщенное, глаза слезятся; около нее жметя девочка лет семи, почти голая, за исключением полуистлевшей тряпицы, прикрывающей живот. Мальчик лет четырех — в таком же костюме. Ни горшка, ни ложки, ни ухвата — ре-

¹ Баранта, или барымта — древний обычай кочевников («неписанный закон») угонять чужой скот, захватывать чужое имущество в качестве возмещения за грабеж, учиненный иноплеменниками; самовольное возвращение похищенного, награбленного.

шительно никакого признака хозяйственного существования. В углу нары жмурится отчаянно худая кошка с облезлой, точно подъеденной молью шерстью.

— Хозяина дома нет, — объясняет переводчик.

— А как зовут мальчика?

— Гафиз...

Польщенный вниманием, полуголый Гафиз забрался на чувал и, глядя то на мать, то на нас, улыбается такой хорошей детской улыбкой. Темные глаза будущего конокрада так и блестят живыми огоньками.

— Ашата¹ кунчал... все кунчал... объяснял равнодушно переводчик. — Мало-мало сама кунчать...

В чувале сосредоточивается все башкирское хозяйство. Это печь самого примитивного устройства, даже не печь в собственном смысле, а одна труба, которая внизу немного расширена. В этом расширении вынут бок — и чувал готов. Дрова кладутся стоймя, как в камин, и тепло держится в избе, пока они горят, а погас огонь, и тепло все ушло в трубу, потому что ни вьюшек, ни закут не полагается. От чувала идет боровок, который заканчивается неизбежным чугунным казаном, вмазанным в верхнюю стенку. Этот котел составляет все: в нем варится пища, в нем бучат белье, в нем дают объедки собакам. Такой чувал вылепляется из глины, и в этом, кажется, все его удобство. Где берут башкиры дрова, чтобы поддерживать в своих чувалах огонь день и ночь, — для меня осталось неразрешимой загадкой. Кругом все леса вырублены давным-давно, и остался один карандашик да березовые метелки.

Сунув какую-то мелочь Гафизу, мы отправились к следующему номеру. Изба деревянная. Крыльцо выходит прямо на улицу. То же оконце-бельмо, те же нары и тот же чувал. Кривой старик башкир являлся главой семьи в восемь душ: сам с женой и шесть человек детей. Те же лахмотья и та же отчаянная голодовка. Девочка-подросток пестует совсем голого ребенка. Полуголая девочка лет шести стоит перед нами на нарах и смотрит на гостей жадными бархатными глазами. Мать, как всегда, кожа да кости и ужасно напоминает манекен какой-нибудь антропологической выставки, но дети пользуются завидным здоровьем. Сам хозяин держит себя солидно, как все степные джентльмены.

¹ А ш а т а — лошадь.

— Мастер мало-мало... — объясняет переводчик, показывая какую-то починенную кадушку. — Все умеет... топорща делать, скамейки делать — большой мастер.

— Мало-мало работаем. — подтверждает сам хозяин не без гордости.

— Он и землю пашет... Много земли пашет.

— А сколько?

— Всю осьмину мало-мало, — объясняет домовладыка с достоинством. Работаем бульно хороша... Только хлеб червак¹ кунчал, всю осьмину кунчал.

Положение получалось самое безвыходное. Заметив на стене обрывки лошадиной сбруи, я спросил, есть ли лошадь.

— Ашата был... ашата кунчал, — грустно ответил старик и покачал головой.

Здесь было все кончено, и в цепи башкирских злоключений «чирвак» являлся последним звеном. Башкир без лошади не только не работник, как безлошадный русский крестьянин, а даже и не человек — это последняя степень бедности. Лошадь — символ всякого достатка и вообще благополучия, и вместе с ней башкир съедает все будущее своей семьи. Получается байгуш — бобыль, нищий.

Мы ограничиваемся описанием этих двух семей: башкирская бедность однообразна, как и всякое другое несчастье. В Сарах из 150 домов хлеб держался только в трех домах — это говорит достаточно само за себя.

— Теперь веди нас к самому богатому башкиру, — говорили мы переводчику, распроставшись с единственным в Сарах древоделом.

— Бульно богатый башкир... У, какой богатый, — бормотал услужливый путеводитель, забегая вперед. — Всю деревню купит... ух какой богатый башкир! У него большая изба, как у русского... богатый башкир.

Наше путешествие по деревне, конечно, привлекло общее внимание. В каждом окне мелькали лица. Башкиры — самый общественный народ и все время проводят в беседах: соберутся у первой избы, рассядутся полукругом на корточках и пошли говорить без конца. Даже летом, в самую страду, башкиры, если не в кошах, а непременно дома и непременно в обществе. Работают одни женщины; апайка и сено косит, и дрова рубит, и скотину обряжает. Появление

¹ Прошлом лето в Зауралье появился на хлебе какой-то червак и немало принес бед, а в том числе съел осьмину и этого башкира. (Прим. автора).

неизвестных городских людей, конечно, являлось благодарной общественной темой, и теперь у ворот собрались кучки галдевших башкир.

«Ух, какой богатый башкир» жил в центре деревни, в пятистенной новой избе, поставленной русскими плотниками. На дворе попались нам два мальчика в бархатных тюбетейках, а в сенях промелькнула женская тень. Из сеней мы вошли в большую светлую избу, разделенную пестрым ситцевым пологом на две половины. В первой налево от двери тянулись широкие нары, устланные стеганными одеялами и дешевыми бухарскими коврами, а во второй горой стояла выбеленная русская печь. Невидимая женская рука ревниво задернула полог, а старик-хозяин, который сидел на нарах, поджав ноги, спрятал под подушку окованную железом шкатулку. Перед ним стоял молодой башкир и смущенно перебирал в руках малахай — принес долг или пришел просить денег. Последнее вернее, потому что весенняя голодовка охватила всю Башкирию.

— Здырастуй... — болезненным голосом ответил богач на наше приветствие. — Садись мало-мало, гость будешь.

Первый богач одет был в шелковый затасканный бешмет и розовые ситцевые шаровары; на ногах — мягкие сапоги без каблуков и с закаблучьем из зеленой бухарской шагрени. Худое и бледное лицо обросло жиденькой седой бородачкой: большие глаза слезились, беззубый рот ввалился.

— Нога болит, — жаловался старик, прикрывая шкатулку второй подушкой. — Третий год болит... Сидим мало-мало.

Чтобы занять гостей, старик рассказал ломаным русским языком историю своей болезни — это был застарелый ревматизм с опухолью сочленений.

Мы посидели с четверть часа, поговорили кой о чем, пожелали хозяину здоровья и удалились с миром, — башкирский богач был жалок.

— А сколько деревень в лапах держит, — завистливо говорил содержатель станции, сам, видимо, желавший нажитья около башкирской бедноты. — Настоящая собачья жила... Ну, а собачек-то видели?.. Хе-хе... Я их, например, и за людей не считаю... ей богу...

Выезжали из Саров мы вечером. Приходилось ехать обратно тем же путем, а не проселками, как предполагалось. Не было проезда.

— Теперь только фершалов возим, — объяснял на прощанье содержатель земской станции в Сарах. — Такие и санки налажены, что двоим сядь негде... А я вам двух собачек дал: одну на козлы посадил, другую фалетуром. Хе-хе...

— У-у-эээх!.. взвыл башкир фалетур, когда наш возок помчался по селу; «собачки» хотели проехать по своей деревне с настоящим ямщиком шиком.

Погода заметно унялась, но ветер еще поднимался отдельными пароксизмами; нет-нет и рванет, как сумасшедший. На небе ни одной звезды; тяжелыми серыми грядками виснут снежные тучи; кругом такая мгла, что глаз долго не может различить даже ближайшие предметы. Мне все кажется, что мы едем совсем не по той дороге, по которой ехали давеча, — какие-то кусты, овраги, даже перелески, а там, в сгущенной мгле горизонта, не то гора, не то черная туча. Глаз теряет различающую способность в такие волчьи ночи, и работает главным образом воображение, населяя пустую степь собственными признаками. То же самое и с ухом: визжит полоз, орет фалетур, стонет ветер или воет степной голодный волк — не разберешь. Закроешь глаза и кажется, что кто-то там, далеко под землей, и жалуется, и стонет, и плачет...

Мой спутник давно дремлет, и я стараюсь последовать его примеру. Как хорошо было бы проспать пять часов и проснуться только на станции. Да, а как вот тот несчастный башкир, который трясется на передней лошади «фалетуром» — ведь он, бедняга, весь на ветру да и шубенка на нем чуть не из гусиных лапок. Перебираешь в уме десять раз все, что видел днем — опять живьем встает башкирская голодовка, иллюстрированная теперь целой коллекцией портретов. Голая девочка в окне, голый ребенок (отчего было не захватить из города разного ненужного тряпья, чтобы прикрыть беззащитное детское тело?.. русский человек всегда задним умом крепок) на руках у полуголой девушки, маленький Гафиз (какое поэтическое имя восточного веселого поэта!), испеченные лица старух-башкирок, «ух, какой богатый» старик-башкир с больной ногой, разные случаи ловкого конокрадства — все это укладывается в голове, как дорожные вещи в чемодане, одно на другое, в художественном беспорядке. И поперек всего этого встает мысль о мертвой башкирской лени, которая никак не укладывается в чемодан. Конечно, жаль башкирскую голь, но

почему же они, наученные горьким опытом, повторяющимся из года в год, не хотят работать? И земля есть, и естественные рыбные богатства — и все это пропадает... Являются в виде объяснения жалкие ученые слова о железном законе, по которому слабейшие цивилизации должны вымирать под напором сильнейших, но ведь такие объяснения легко делать на бумаге, а живое чувство совсем не желает мириться с неизбежной смертью целого племени. Ведь есть среди башкир такие славные, умные лица, есть достаточный запас энергии (взять хоть того же «фалетура»), есть много данных, которые говорят за вымирающую Башкирию. — есть, наконец, святая наука и люди великой любви — неужели же нет никакого выхода, нет спасения? Отчего башкиры не хотят работать, когда 60 милл. русского населения работают, не покладая рук — только бы работать, и Башкирия превратилась бы в цветущую страну с молочными реками и кисельными берегами.

Вот что говорит известный Вамбери: «Тюрки до поры до времени сыграли свою историческую роль. Страшная драма в истории человечества близится к концу... Причина вся в несчастном совпадении двух обстоятельств: прежде всего, удобной для культуры почвой древнего мира уже овладели арийцы и семиты; во-вторых, такова была судьба несчастных тюрков, что они в пору наибольшего проявления своих жизненных сил вступили в сношение с мусульманской культурой. Благодаря религии ислама, окрепли в них столь многие опасные стороны азиатского мировоззрения, и утратили они много светлых сторон примитивного быта». Остается применить эти выводы только к истории башкирского племени.

История Башкирии настолько интересна, что мы решаемся привести из нее несколько данных. Башкиры по своему облику напоминают племена угорского происхождения; смешение башкир с северными тюрками относится к домонгольскому периоду. Башкирский язык, как язык казанских и крымских татар, несет в себе «преобладающие следы северно-тюркского языка, хотя, с другой стороны, он носит и существенные следы влияния восточно-тюркского». Таким образом, кровная связь с «очагом народов» (как называют историки Среднюю Азию) — вне всякого сомнения, а отсюда проистекают органические последствия. Собственно наша русская история вошла в близкие отношения с башкирским племенем сравнительно очень недавно, всего

лет триста назад, когда Ермак перевалил через Урал. До этого времени русская колонизация имела дело исключительно с приуральскими башкирами, а центр составляло Зауралье.

Мы знаем историю Башкирии именно с Ермака, и она вплоть до пугачевщины является сплошным рядом бунтов, одолений, замирений и новых бунтов. На протяжении двухсот лет тянется с переменным счастьем одна сплошная война, и башкирское племя пало в неравном бою. События следуют одно за другим с железной последовательностью и выкидывают на поверхность длинный ряд народных героев, увековеченных легендой, былиной и песней. Стоит прислушаться к башкирской песне, чтобы вас невольно схватило за сердце безысходной тоской: в самых звуках стоят великие слезы, неисходное горе и биллейская скорбь. Вымирающий башкир поет о славном прошлом, о любимых своих богатырях: о Кучумовичах, о старом Сеите, о Карасакале, об Алдар-Бае, о Салавате.

До нашествия русских, башкиры воевали с степными ордами, надвигающимися из таинственных глубин Средней Азии. Эти выходы теснили башкир к горам и заставили одну часть племени перейти на западный склон Урала; но это была домашняя война, известная племенная рознь, борьба из-за кочевьев и угодьев. Настоящую войну башкиры получили в наследство от сибирского хана Кучума. Первое возмущение против русских вспыхнуло в Барабинской степи в 1628 г., — дело шло о потомстве Кучума. В 1651 г. приверженцы Кучумовичей повоевали Долматов монастырь на р. Исети. Но самое главное восстание происходило в 1662—65 гг.; оно же было в интересах Кучумовичей и последним. По словам летописца, бунтарей на р. Нице «доехали» солдаты (?) и рейтеры, а «они, воры, отопились болотами и речками топкими и ушли, пометав свое платье и седла, и котлы, и топоры». В 1676 г. вспыхнул знаменитый бунт Сеита, где башкиры, оставя «кучумовскую легенду», работали уже в свою голову. «Он, Сеит, не токмо на ту противность всю Башкирию преклонил», — говорит историк Оренбургского края Рычков, — «но и с киргиз-кайсаками¹ соединяясь, года с три то свое бунтовщицье намерение продолжил... И едва оный их бунт, по претерпении безчисленных убытков, успокоен, без всякого тем

¹ К и р г и з - к а й с а к и — казахи

злодеям отмщения». Усмиряли башкир стрелецкие полки и казаки донские, яицкие и украинские. В 1769 году башкиры опять взволновались, и вот какой «слух» пробежал по степи: «Чигирин турки и крымцы взяли и государевых людей побили и мы будем воевать, потому что мы с ними одна родня и душа». В этом слышится уже ясный отзыв настоящей политической борьбы, причем, «кучумская легенда» сменилась исламом: после завоевания Казани фанатическое мусульманское духовенство обратило особое внимание на Башкирию, только что просвещенную в духе алкорана.

Приведем здесь характерные бытовые подробности. Призывом к войне служила боевая стрела, которая облетала с быстротой молнии все улусы, юрты и стойбища. Потом один из воевод доносит в Москву, что «башкирцы кормят лошадей», — это тоже было равносильно объявлению войне, потому что в мирное время башкирский скот должен пропитываться своими средствами.

В XVIII веке, когда на Урале усиленно начали насаждать горное дело, бунты башкир продолжались почти без перерыва. Обе стороны сошлись грудь с грудью. Самый сильный бунт совпадает с основанием Оренбурга, потому что этим стратегическим пунктом русские заходили в тыл всей зауральской и приуральской «орды». Главным действующим лицом этого бунта (1740 г.) явился самозванный «башкирский хан» Карасакал, который «возмутительными своими внушениями и поступками по всей Башкирии такое замешание причинил, какова еще прежде не было». По словам Рычкова, во время этого «замешания» разорено было 696 башкирских деревень, 28491 человек убиты в боях, казнены, умерли под караулом, розданы в рабство и сосланы в Рогервик. Но и «об этом числе, — как говорит Рычков, — утвердиться не можно, ибо иного происходило, особливо от партикулярных людей, кого о чем никаких рапортов подано не было, но и еще нарочно убито злодеев таили». Можно сказать смело, что этих не занесенных в рапорте убитых злодеев можно насчитать «больше тысячи»... Князь Урусов, прекративший «замешание, велел препроводить толпу башкир в 5.000 человек под Оренбург, а в 60 верстах от города, на одной горе за Яком была учинена приличная экзекуция: 5 человек главных сообщников Карасакала посажены были на колья, утвержденные на нарочно сделанных каменных столбах; 11 человек повешены за

ребра, 85 чел. повешаны, так сказать, нормальным образом; 21 чел. отрублены головы, которые затем были воткнуты на колья. Остальную толпу угнали под Самарск-городок, где тоже на «одной горе было отрублено еще 120 башкирских голов, 50 человек повешаны, а 300 башкирам, по наказанию кнутом, отрезаны носы и уши. «Вышеписанными действиями и экзекуциями, в сем (1740 году) году чиненными, Башкирия в прямое чувство и страх приведена была и башкирскому замешанию окончание воспоследовало», — так заканчивает Рычков.

Башкирской истории еще нет, но она преисполнена несомненного трагизма и заслуживает научного исследования. Башкирское племя в 200-летней борьбе истощило все свои силы и замерло навеки. Полагаем, что этот *plusquamperfectum*¹ Башкирии рельефно объясняет ее настоящее.

V

Где же победители? Благоденствуют и роскошествуют на башкирских землях? — Нет и нет... Горные заводчики живут на содержании у казны, работы на заводах сокращаются, население в бедности. Самый лучший на Урале заводский округ Кыштымский переживает тяжелый кризис, а его владельцы пользуются его неистощимыми богатствами хуже всяких башкир. В помещичьих владениях крестьяне сидят на даровом наделе. Песня одна и та же: в Куяш, в Тюбук, в Никольском — нет земли, нет работы; те же недоимки и та же голодовка, как и в Башкирии. Благоловенное Зауралье, где могут жить припеваючи миллионы, представляет сейчас жалкую картину.

¹ *Plusquamperfectum* — (лат.) — давно прошедшее время.

МЕРТВОЕ ОЗЕРО

(Из летних экскурсий)

Чего мы боялись, то и случилось: когда наш дорожный экипаж свернул на четырнадцатой версте с большой трактовой дороги на маленькую лесную дорожку, начало уже быстро темнеть. Спускались быстрые летние сумерки, которые в густом сосновом бору казались уже ночью.

— Всего версты с четыре до саймы будет — не будет, — утешал нас ямщик, ловко объезжая какой-то пень, точно нарочно вылезший на самую дорогу. — Рукой подать...

— Ты вот крыло-то у экипажа не оборви, — заметил я, наблюдая за целостью собственного экипажа.

— Не впервой! — обиженно заметил ямщик и сейчас же, в доказательство своих слов, задел крылом за сосну, так что собственный экипаж накренился и где-то раздался подозрительный треск.

— Тише!.. — посоветовал мой спутник. — Тебе, видно, не впервой ломать чужие экипажи?..

Ямщик, по всей вероятности, обвинял нас же за свойственную всем «проезжающим господам» строптивость, потому что ямщики всегда правы, даже когда вываливают в канавы, ломают экипажи и рвут сбрую.

Сайма — рыбацкая избушка на берегу озера. Нам хотелось доехать до нее засветло, чтобы осмотреть местность, насколько она подходит к цели нашего путешествия, и осмотреть самую сайму, насколько она удовлетворяла нашим требованиям, как удобное помещение. Я особенно волновался, потому что по слухам наскзал своему спутнику про озеро Увельды всяческих чудес, а так как сам не видал его,

то рассказы и слухи могли и не оправдаться, что случается нередко. Мой спутник, известный художник Владимир Гаврилович Казанцев, ехал со специальной целью рисовать этюды для своих пейзажей, и мне было бы неприятно, если бы моя рекомендация не оправдалась. И художники прихотливы, и озеро могло оказаться неинтересным, а ночью, вдобавок, ничего не разглядишь. Лично мне решительно было все равно куда бы ни ехать, а Увельды славились своими рыбными ловлями и массой дичи. Ружье и записная книжка во всех поездках по Уралу для меня составляли весь багаж, а тут в перспективе предстояло прожить в лесу целую неделю в оригинальной обстановке рыбацкой стоянки. Решение вопроса об удаче поездки приходилось отложить до следующего утра.

В сосновом лесу вечером особенно хорошо. Нагревшаяся за день земля курилась смолистым ароматом. Откуда-то наносило запахом свежего сена. Наша дорожка невидимой змейкой вилась среди высоких сосен, экипаж покачивало. лошади фыркали, ямщик посвистывал — э, будь что будет! Отлично провести одну ночь в таком лесу. Жаль, что мой спутник не был охотником.

— Ну, мы твои четыре версты проехали, — заявил он, раскуривая папиросу. — Где же сайма?

— А кордон сейчас, барин...

— Какой кордон?.. Нам не кордон нужен, а сайма...

— Да это на дороге кордон стоит, на канаве, которая, значит, из озера проведена, а от кордона до саймы доплюнуть можно...

Экипаж начал спускаться куда-то под гору. Лошади упирались, ощупывая каждый шаг. В темноте казалось, что мы сейчас же полетим вместе с экипажем и тройкой лошадей по меньшей мере в пропасть. Мало ли что бывает вот на таких милых лесных дорожках... Но вот точно где-то под землей твякнула собачонка — значит, кордон близко. Действительно, со дна глубокого лога глянул на нас красным глазом огонек, а через несколько минут под колесами экипажа загремел деревянный мостик. В темноте на нас с азартным лаем накинута кордонная собачонка, точно она хотела по меньшей мере проглотить нас вместе с экипажем.

— Вам на которую сайму надо-то? — спрашивал старик-сторож, когда наш экипаж остановился.

— Разве две саймы?

— Да, видно, две: одна поближе, другая поодаль... Вы на которую едете?.. А то еще есть Миляев мыс... Барон завсегда туды ездить. Такое приятное местечко...

— Нам куда-нибудь поближе, а завтра разберем.

— Ну, так вот на старую сайму... Отседа рукой подать. Там и избушка есть... Укроетесь, ежели дождь.

Мы тронулись дальше, сопровождаемые отчаянным лаем кордонной собачонки.

— Там поворотка будет направо, так не прокараульте! — крикнул из темноты кордонщик. — Всего одна поворотка...

Теперь уже окончательно стемнело, и трудно было рассмотреть далее дорогу. Наш экипаж поднялся на какую-то лесистую горку и опять исчез в сосновом бору, обступавшем дорожку с обеих сторон сплошной стеной.

— Смотри, не пропусти поворотки! — предостерегали мы ямщика.

— На вот... Не впервой!.. Ну-ко, мы, омморошные, помешивай!.. И места осталось одиново плюнуть...

Странная вещь, нам эта вторая половина показалась даже длиннее первой, так что явилось даже сомнение, не пропустили ли мы поворотки. Мой спутник особенно волновался и даже уверял, что мы заблудились.

— Куда-нибудь приедем, — успокаивал я.

— Вот тебе и плюнуть... — роптал художник. — Нет, наверно прозевали поворотку.

— Ах, барин, да в лесу завсегда блазнит, — объяснял ямщик. — Особливо ночью... Знакомого места не узнаешь.

— Да, ведь, плюнуть до саймы, а мы целых полчаса едем...

А ночь была тихая, нигде не шелохнет. Тройке было тесно на лесной дорожке, и пристыжная постоянно наваливалась на коренника. Но вот мы начали спускаться куда-то под гору, и нас точно обдало теплом: это было озеро. Земля остывает быстрее воды, а поэтому близость большого водоема всегда можно почувствовать еще издали, особенно вечером.

— Вон она, поворотка-то! — весело крикнул ямщик, указывая кнутовищем влево.

Где-то внизу опять послышался осторожный лай, раздававшийся в лесу громким эхом. Очевидно, это была сайма. Опять экипаж начал осторожно спускаться под гору, где все было закутано белесоватой мглой. Вот мелькнуло в тумане расплывающимся пятном зарево костра, а потом

показался и сам огонь. В освещенном пространстве двигались какие-то темные фигуры. Две собачонки вылетели к нам навстречу, заливаясь таким отчаянным лаем, точно они были оскорблены в своих лучших чувствах нашим неожиданным появлением в такое опасное время.

— Мир на стану! — крикнул ямщик, осаживая тройки почти в черте освещенного костром круга. — Николка, ты здесь, што ли?

— Я... — ответил мужик в красной рубахе, выделяясь из группы.

— Господ к тебе привез. Получай...

Наше внимание было привлечено стоявшей в стороне обыкновенной деревенской избой и горбившимися вокруг нее хозяйственными пристройками, — это и была сайма в собственном смысле. Пока можно было рассмотреть только один силуэт.

— Ты хозяин? — обратился я к Николаю. — Нам нужно остановиться на несколько дней... Найдется место?

— Сколь угодно... В избе будет превосходно. Упоместитесь в лучшем виде. Хошь всю избу берите...

Сколько мы ни вглядывались в сторону озера, трудно было что-нибудь разглядеть — туман застилал все кругом. Пришлось отложить решение вопроса об удаче поездки до следующего утра, что мне было очень неприятно, хотя и пришлось помириться с таким положением. Экипаж закатали во двор, наши вещи перенесли в избу, оказавшуюся очень грязной и неудобной, а пока мы устроились около костра, где поставлен был самовар. Наш хозяин проявлял необыкновенную суетливость и угодливость, как человек привыкший к обращению с порядочными господами.

— За охотой приехали? — спрашивал он несколько раз.

— За охотой...

— А, может, и порыбачить.

— Может, и порыбачить...

— Уток в озере несчерпаемое множество... А, может, насчет малины, так на Миляевом мысу сколь угодно.

— Доберемся и до малины... А есть рыба на уху?

— Сию минуту оборудуем... Я сгоняю на лодке, мережки выкинуты у меня, так, может, на уху выберу окунишек.

Все-таки мы были счастливы, что добрались до места. Берег весь зарос густым лесом, который начинался сейчас же за избой. Сквозь туман пока можно было разглядеть

только камыши, а озеро все застлано было густым туманом. Где-то в прибережной заросли крикали утки. Наш хозяин быстро пропал в темноте, и было слышно только, как шлепали по земле его босые ноги, а потом как эти ноги бросились в лодку, и как захлопало в сонной воде весло. В воздухе стояла такая тишь, что каждый звук передавался с замечательной отчетливостью, точно под колпаком. Вот лодка зашуршала в камышах, потом по ее дну черкнула подводная коряга, вспугнув жалобно чиликавшую птичку, дремавшую в прибережных кустах.

Мы присели к огню, кругом которого в живописном беспорядке разместились неизвестные нам мужики и бабы. На первом плане, грея над огнем руки, сидел сгорбленный старик с длинной, окладистой, седой бородой. Это был настоящий патриарх, да и какое же озеро без старика — на каждом озере должен быть такой старик.

— Ты здесь живешь, дедушка? — спросил я.

— Нет, родной... Мы страдаем тут недалеко, а ночевать на сайму приходим. Оно все же способнее, потому как изба и всякое прочее.

Я про себя пожалел, что такой славный старик оказался здесь чужим, — это портило общую картину рыбачьей саймы. Точно дополнением этого патриарха служили три мужика и несколько баб, осматривавших нас с жадным бабьим любопытством. Баба, ставившая самовар (на сайме оказался и свой самовар и чайная посуда), по всем признакам была хозяйкой. За ее сарафан цеплялся белоголовый мальчуган лет пяти, принимавший нас, кажется, за людоедов, явившихся на озеро с специальной целью скушать его.

Самовар уже кипел, послышалось хлопанье весла, и невидимая лодка причалила к берегу.

— Уху привез! — торжественно заявил Николка, появляясь из тумана с плетеным кузовком, в котором трепскалась живая рыба.

— Какая нынче рыба... — заметил старик, разглядывая добычу. — Так, кот заплакал.

Николка сейчас же произвел целую революцию: вытащил из избы стол, потом скамейку и устроил нам чай по всей форме. Даже появилось молоко в кринке. Мужики и бабы ушли, а оставался только старик да наши хозяева, хлопотавшие около ухи. Я предложил старику чашку чаю.

— Спасибо... — согласился он, подсаживаясь к столу.

Мы пили наш чай при самой фантастической обстановке. Чудная черная ночь, близость дремавшего во сне громадного озера, незнакомые люди — все это нагоняло то безотчетно-мечтательное настроение, которым именно и хороши все путешествия. Мы стали расспрашивать старика про озеро.

— Самое большое озеро по всему Зауралью, — объяснил он. — В длину больше двадцати верст будет, да в ширину все пятнадцать. Сайма-то у двора налажена.

— У какого двора?

— А так называется... Тоже, значит, озеро, только оно меж островов заперто. Ну, и вышел по нашему двор, в котором молодь¹ прежде держали, как в садке. Завтра увидите...

— А ты часто бываешь здесь, дедушка? — спросил Владимир Гаврилович.

— Случалось... Сорок лет выжил рыбаком вот на этой сайме. Годов с пять будет, как ушел отсюда, потому как обессилел.

— А сколько тебе всего-то лет?

— Да на озеро я пришел уже под пятьдесят годов, вот и считайте... Я-то за девяносто считаю, этак с хвостиком.

Все это были почтенные цифры, которые как-то совсем не укладывались в моей житейской арифметике: сорок лет прожить на сайме — уже целая жизнь, да он еще сюда пришел под пятьдесят — это был двойной век. Да еще в девяносто лет с хвостиком приехал с семьей страдовать... Вот это называется жить!.. Я с удивлением рассматривал худое старческой худобой лицо нашего Мафусаила, которое поросло точно мохом. Даже передние зубы все целы, и голова была покрыта шапкой седых волос. Только на ухо был немного туговат старик — вот и все физические недостатки. Мы невольно переглянулись — у каждого мелькнула мысль о том, что с нами станется через каких-нибудь двадцать лет? — Да и эти двадцать лет не прожить, благодаря ненормальным условиям нашей городской жизни.

— Дедко-то еще страдает наряду с правнуками, — говорил Николка, вслушивавшийся в наш разговор. — Правильный старичок...

— А что, хорошо озеро? — спрашивал старика Владимир Гаврилович.

¹ Молодь — молодая рыба.

— Да уж лучше, видно, не бывает, барин... Семьдесят островов считают. А главное вода в ем: хрусталь. В тихую погоду без малого сажени на три дно видать... И в других озерах светлая вода, а в Увельдах светлее всех. Рыбка любит светлую-то воду... Тоже вон лавды, няши, ситники, заводи, побережье — самое это для рыбки золотое дело.

Первая уха на Увельдах много потеряла для нас от того, что и было поздно, и очень уж мы устали. Искусство Николки пропало даром: уха была съедена равнодушным образом.

— А вот как мы спать будем? — спрашивал Владимир Гаврилович.

— А в избе, — отвечал Николка. — В избе превосходно...

— Может быть, в избе-то и клопы, и тараканы, и блохи?

— Насекомая, известно... Даже это в проезжающих номерах, господин, не убережешься.

Когда мы забрались в избу и осветились захваченной с собой стеариновой свечой, сразу выступали все неудобства хваленной саймы. Изба была маленькая, как говорится, кошку за хвост повернуть негде. Почти половину ее занимала русская печь. У двери, направо в углу, стояла большая двуспальная кровать, очевидно, предназначенная для нас, но захваченная двумя девицами из партии страдовавших.

— Эй, вы, куда залезли? — накинулся на них Николка. — Не по чину разлеглись...

Послышалось сонное бормотанье, а потом девицы зашептались, хихикнули и очень кокетливо закрылись с головами какими-то понявами. Мы, впрочем, не стали тревожить сладкого девственного сна, потому что кровать с грязным матрацом из какой-то дерюги ничего привлекательного не представляла. Владимир Гаврилович внушительно пожал плечами, рассматривая стену, испещренную запятыми от раздавленных клопов. Оставшаяся половина избы разделалась так: половину этой половины занимала незамеченная нами давеча люлька с почивавшим в ней отпрыском Николки, а под ней уже спала хозяйка с мальчиком; нам оставался уголок на полу как раз такой величины, чтобы два взрослых человека могли протянуть ноги.

— Да, сегодня мы будем спать в стиле рококо, — заметил Владимир Гаврилович, нюхая зараженный воздух.

После роскоши горной ночи убожество нашего первого ночлега особенно казалось мрачным, но приходилось ми-

рваться. Николка, готовя нам барскую постель, несколько раз принимался бранить невинно почивавших девиц, пока не утешился таким соображением:

— А я их завтра за малиной пошлю... ей-богу!.. Другие господа весьма уважают малину...

II

Первую ночь на сайме я почти не спал. И душно было, и все казалось, что кто-то ползает по телу. Одним словом, скверно... К довершению всего, мой спутник спал мертвым сном, а это уже было совсем обидно. Я едва дождался рассвета, чтобы выйти на свежий воздух. Июльское горячее утро только еще загоралось. По озеру бродил густой туман, медленно раскутывавший берега, острова и водяную даль. Та картина, которая рисовалась ночью, совершенно исчезла. Я был в восторге и с нетерпением ждал пробуждения Владимира Гавриловича, который должен был окончательно решить, достойны ли Увельды кисти художника. В ожидании я развел потухший огонек и кстати познакомился с маленькой кудластой собачонкой Шариком, которая всеми силами старалась загладить свое вчерашнее злобное неистовство. Я очень люблю именно таких простых собак неизвестной породы, которые удивительно умны и, на мой взгляд, очень грациозны. К огню из густой травы вышел маленький теленок и тоже принял участие в нашей семейной радости.

Когда озеро разделось от ночного тумана, я мог рассмотреть в подробностях развертывавшуюся картину. Наша сайма стояла в береговой впадине. Кругом ее обошел смешанный лес. Перед саймой блестел на солнце «двор», т. е. небольшое озерко, соединявшееся с настоящим озером протоками «трубой». Сейчас за «двором» разлегся низкий Вязовый остров. Направо, в глубине брезжились синеватыми контурами горы, а налево уходила из глаз в туманную дымку горизонта главная масса воды, так называемое «море», как называли рыбаки главное озеро. Острова сучились главным образом в западной части озера, которою оно точно прижалось к горам. Картина получалась, во всяком случае, очень оригинальная и красивая, особенно потому, что и берега, и острова сплошь заросли великолепным лесом, совершенно нетронутым, а таких нетронутых уголков так ~~немного~~ можно встретить даже на Урале. Осве-

женная ночной росой, зелень так и блестела под лучами поднимавшегося солнца, а вода стояла, как зеркало. Мое созерцательное настроение было нарушено появлением Николки.

— Барин, поедем мережки осматривать, — предлагал он, ступая в воду лодку-душегубку. — Садись рылом-то ко мне. Вот так.

Меня возмутило на первый раз весло, каким греб Николка — это была какая-то пародия на весло. Короткое, точно обгрызанное, оно походило скорее на те мешалки, которыми бабы месят хлеб в своих квашонках. Будь такое весло где-нибудь на маленькой реке или маленьком озере, — с ним еще можно было помириться, а на таком громадном озере оно было просто возмутительно, характеризуя нашу русскую неаккуратность и леность. Сам Николай тоже не представлял своей особой ничего особенного: русоволосый мужик с окладистой русой бородой и глуповато-хитрым выражением лица. Шапки он не признавал, как и сапог. Работая своим огрызком-веслом, он улыбался и морщил лицо. Наша душегубка, переваливаясь с боку на бок, тихо подвигалась по «двору» вправо, где «труба» была перегорожена первой мережкой. Меня прежде всего поразила удивительная прозрачность воды: все дно было видно до мельчайших подробностей. Камушки-речники пестрили его настоящей мозаикой. Когда лодка пошла близ камышей, в воде замелькали быстрые тени спугнутого «руна»: пестрые спинки окуней пронеслись с быстротой стрелы.

— Вот и уха готова! — весело заявил Николка, когда наша душегубка подползла к «трубе».

Вход в проток был перегорожен мережкой, в которой там и сям блестела запутавшаяся в нитяных ячейках рыба. Правда, добыча была не особенно велика, всего до десятка рыбок, но сейчас рыба вообще плохо шла в сеть, и Николка довольствовался малым. Он выбрал мережку из воды и сложил ее в нос лодки вместе с рыбой. Кстати, по своему устройству, мережка отличается от всякой другой сети. Она состоит из трех сетей, средняя — самая частая, а по краям — с крупными ячейками; нижняя тетива усажена глиняными грузилами (кибасья), а на верхней — поплавки из скрученной бересты. Такая мережка висит в воде прозрачным кружевом. Ее выкидывают на ночь в таких местах, где рыба имеет ход — в протоках, около камышей, у плаву-

чих островков водорослей. Бреднем и неводом как бы вычерпывают рыбу из воды, а мережкой можно достать только ту, которая сама запутывается в ней. Удобства этой снасти в том, что ее можно выкинуть в любом месте, где неводом ничего не поделаете, а затем с мережкой может работать всего один человек.

«Труба» вывела нас вправо на большое горное озеро — это было долгий конец Увельдов, отделенный от «моря» рядом островов. Но и этот хвост озера настолько был велик, что дальний берег едва брезжил в утренней лучезарной мгле. Вязовый остров кончался красивым мысом, обозначавшим ночную стоянку случайных рыбаков, да по зеркальной глади чертила лодка-точка, и только. Такое красивое озеро — и кругом полное безлюдье, настоящая пустыня. Я просто не мог оторвать глаз от этого дикого приволья. Когда лодка вышла из трубы, дно точно утонуло в зеленоватой воде. На глубине двух сажен можно было рассмотреть каждый камушек. Особенно хороши были те места, где со дна поднимались зелеными косами, нитями и целыми гирляндами подводные растения. В заводях лопухи и нимфеи плавали зелеными сетками. Получалась редкая по красоте картина.

Мы осмотрели еще несколько мережек, в которых рыбы оказалось еще меньше, чем в первой.

— Что так мало? — заметил я.

— Фунта с три будет... А главная причина, что рыбаковто я необыкновенный, а рыбка тоже к рукам: умеючи ее надо брать. Я-то так, для себя только ловлю, а не на продажу...

«Необыкновенный» на языке Николки значило «непривычный».

— А вы любопытничать приехали на озеро? — спрашивал он. — Господа наезжают сюда... И все ко мне: «Николка, устрой то, устрой это» — а я на все руки, можно сказать. Всякого могу удовлетворить...

— А лучить сейчас можно?

— Ночи светлы, барин... Кабы по осени, так это бы превосходно получили. Может, вывернется ночка потемнее, так поедем и лучить... Вода светлая, и каждую рыбину выдать, как она присунется к берегу.

Мне не случалось видеть этот род рыбной ловли, а здесь все условия были самые подходящие: прозрачная вода, масса рыбы, удобные берега. Оставалось только выждать ночь потемнее. Когда наша душегубка выплыла из трубы во

«двор», я издали невольно полюбовался нашей саймой, красивой даже в своем убожестве, — художники любят рисовать такие избушки. И сам художник был налицо... Владимир Гаврилович в белом пиджаке уже ждал нас около огонька, а около него вертелся Шарик. Одним словом, полная идиллия.

— Уху добыли, барин, — хвастался необыкновенный рыбак Николка, вытаскивая лодку на берег.

— Ну что, Владимир Гаврилович, как вы нашли озеро? — спросил я.

— Ничего, не вредно...

— Можно будет работать?..

— Да...

Мы напились чаю в самом хорошем настроении духа и сейчас же отправились осматривать озеро. Я захватил с собой на всякий случай ружье. Николка правил своим огрызком, а мы рассматривали берега. Когда лодка вышла из трубы, берега точно раздвинулись. Вязовый остров отстался назад, а впереди расстилалась неоглядная водяная гладь.

— Посмотрите, какая прозрачная вода! — восхищался я.

— Да, не вредно...

Мой спутник был невозмутим и только шурился, глядя на блестящую под солнечными лучами воду. Впрочем, эта гладь была скоро нарушена налетевшим с гор ветром, точно дохнула какая-то необъятная пасть, и вода покрылась мелкой рябью, а в «море» она казалась совсем темной от начинавшегося волнения.

— В море вода тихо не стоит, — объяснял Николка. — Чуть дунуло, и пошли валы гулять. Налево-то сейчас будет Миляев мыс, а вон там острова: Еловый, Журавлев, Березовый... А вон прямо в море стоит Голодай-остров. На него попадешь, так наголодаешься, особенно осенью, когда день и ночь ветер катит. Как-то рыбаки с неделю выжили на Голодае: не пускает волна, и шабаш. Чуть с голоду не померли.

Все эти острова, за исключением Голодая, точно прижались к берегу, так что их можно было отличить только по другой окраске леса — берег казался синее. Самый дальний берег озера чуть брезжил мутной полоской, сливавшейся с водой. Его можно было отличить только по белой точке — церкви села Рождественского, единственного населенного пункта по всему берегу. Да и это село расположилось

не на самом берегу, а верстах в двух, так что Увельды, в буквальном смысле слова, могли считаться необитаемым озером. Площадь озера по приблизительным вычислениям равняется 250 квадр. верстам, — величина очень почтенная. Это самое большое из всех уральских озер и, кажется, самое мертвое. Одна береговая линия занимает около ста верст, и здесь могли бы красоваться десятки сел и деревень.

Мы осмотрели Миляев мыс и несколько островов, а выехать в море не решились, благодаря усиливавшемуся волнению. Показались уже беляки, т. е. волны с белым гребнем, а вода совсем почернела. К нам приближался грозный шум разгулявшейся стихии.

— На море всегда так, — объяснял Николка. — Ровно и настоящего ветру нет, а там валы с пеной зажаривают... Здесь, за островами, куды тише. Вон на Миляевом мысу наш барон¹ всегда останавливается, потому как здесь за тишь. Малины на этом мысу страсть, а только барон малину не уважает...

Когда мы вернулись на свой «двор», здесь стояла еще полная тишина, представлявшая такой резкий контраст с бушевавшим морем, рокот которого слышался далеко. Поднятые ветром утки летели в тихие заводи. Я сделал несколько неудачных попыток убить одну из таких, и после каждого неудачного выстрела Владимир Гаврилович, провожая глазами благополучно улетающую утку, иронически замечал:

— Не согласна?..

Конечно, это было обидно для моего охотничьего самолюбия, а Владимир Гаврилович так добродушно улыбался. Я еще не описал его наружности — это был полный белокурый господин с улыбающимися умными глазами. Серьезное лицо с развитой нижней частью придавало ему вид английского джентльмена, и только добродушная русская улыбка сразу уничтожала эту этнографическую иллюзию. Неистощимый рассказчик и веселый хорошим, добродушным весельем, Владимир Гаврилович являлся для меня дорогим спутником. Прибавьте к этому, что это был человек с высшим образованием и настоящий художник, много поработавший специально для уральского пейзажа. Отсут-

¹ Барон Меллер-Закомельский, один из владельцев Кыштымских заводов, к даче которых принадлежали и Увельды. (Прим. автора).

ствии солидного образования — главный недостаток наших русских художников, и Владимир Гаврилович представлял в этом случае редкое исключение.

— Ничего, можно работать, — коротко резюмировал Владимир Гаврилович результат нашего осмотра Увельдов.

Сейчас после завтрака он отправился «на этюды», выбрав сюжетом правый мыс Вязового острова. В тени развесистой березы был водружен громадный белый зонтик из парусины, а под ним установлен походный мольберт, походный стул и на особой подставке ящик с красками. Срисовав на полотно контуры, Владимир Гаврилович приступил к своей работе красками. Я и мальчик Петя изображали собой публику, следя с затаенным дыханием, как из-под кисти выходили деревья, горы, небо, вода. Работа художника медленная, требующая громадного усидчивого труда, особенно когда июльское солнце палит так нещадно и лень даже думать. Много нужно написать таких этюдов, чтобы заготовить материал для нескольких картин.

Первый день пролетел незаметно. Часов в пять я отправился на лодке удить рыбу. Место, где «берет окунь», указал мне Николка еще утром, — это был плавучий островок водорослей сейчас за Вязовым. В качестве «необыкновенного рыбака», я и не рассчитывал на особую удачу, а просто ехал убить время. Спустив якоря, т. е. простые камни, обмотанные веревкой, я положил около себя ружье и занялся удочкой. Место было за ветром, и вода стояла тихо, как зеркало. На глубине полуторых сажень было видно, как подходили к крючку окуни, кружились несколько времени около приманки, а затем самый храбрый хватал крючок с жадностью, на какую способны одни окуни. Удить приходилось без поплавка, прямо на глаз, и в течение какого-нибудь часа на дне лодки уже трепескалось больше десятка окуней-ровняков. У настоящего страстного рыбака от такой удачи захватило бы дух, а Николка с сожалением покачал головой, когда выбирал из лодки рыбу.

— Какая это добыча: фунта с четыре будет — не будет... — заметил он почти с презрением.

— А тебе сколько нужно?..

— Когда настоящий жар, так и пуд можно наудить, а по зимам рыбаки и по три пуда в день наживают.

— По рыбакам и рыба...

Вечером мы ели собственную уху, а Владимир Гаврилович еще роптал, требуя с меня жареной утки, уверяя, что

давеча видел одну такую, т. е. совсем готовую, чтобы подать на стол.

Считаю необходимым сказать несколько слов о зауральских озерах, из которых Увельды самое большое. По восточному склону Урала и в прилегающей к нему черноземной полосе таких озер сотни. Но они резко разделяются на две категории: озера горные и озера степные. Первые — неправильной формы, с массой островов; вода в них отличается необыкновенной прозрачностью, глубина достигает до 25 сажен, как в Увельдах. Целая сеть горных речек, ручьев и ключиков несут в них светлую, холодную горную воду, а из озер выходят несколько больших рек, как Синара и Теча. К особенностям горных озер принадлежит еще то, что они все соединены между собой протоками, так что в общем составляют один резервуар вечно обновляющейся живой воды. Благодаря этому, горные озера не зарастают и не высыхают и, вероятно, навсегда останутся такими. Степные озера отличаются своей округленной формой и незначительной глубиной, в среднем едва достигающей от 2 до 3 аршин. Самое громадное степное озеро Маян, а затем Уэльки или Увельки. Благодаря тому, что лес давно вырублен, степные озера быстро мелеют и зарастают, постепенно превращаясь в болота. Вся эта озерная область составляет только северную часть арало-каспийского бассейна, — на восток идут озера сибирские. Из горных озер замечательны по величине Увельды, Иртыш, Иткуль, Синарское, Большие Касли, Силач и Сунгул; из степных — Маян, Увельки, Айдакуль и др.

Вся эта озерная область составляла в свое время центр благословенной Башкирии, а теперь за башкирами осталась сравнительно очень небольшая часть. Достаточно сказать, что общая площадь, занимаемая этими башкирскими озерами, равняется 2.400 кв. верст... Почти все горные озера принадлежат к даче Кыштымских заводов, хотя пользование ими принадлежит и сейчас башкирам.

III

Мы провели на Увельдах целую неделю, которая промелькнула замечательно быстро. Владимир Гаврилович целые дни сидел за мольбертом, и я мог только удивляться его терпению. Да, хорошие картины достаются не дешево, и публика даже не подозревает, сколько черновой, подготовительной работы требует каждая картина. Чего, кажется,

проще нарисовать пейзаж, когда художник умеет рисовать и дерево, и камни, и воду, и зелень, и небо — а между тем это только простая техника, и для картины требуется многое другое. Все мы любим природу, но нужно ее понимать с тонкостью художественного чутья, понимать ту живую душу, которая незримо витает в этой, по-видимому, мертвой природе. Северный пейзаж хорош своей красотой: готические линии елей и пихт, бледное шелковое небо, задумчивые сумерки, эта быстро распускающаяся и еще быстрее увядающая зелень короткого лета. Уловить поэзию этой сравнительно бедной красками и цветами природы и сравнительно слабого освещения, передать красками то, что дорого каждому из нас и для выражения чего бессильно даже слово — задача во всяком случае очень и очень нелегкая. Владимиру Гавриловичу лучше всего удавались рассветы и сумерки, составляющие главную красоту этого северного пейзажа, а также туманные серенькие дни и полинявшая краска осени.

Мне приходилось бездельничать поневоле, и я проводил время в охоте и рыбной ловле. Лучшим собеседником являлся для меня девяностолетний рыбак Филипп Шикин, который любил рассказывать про озеро, на котором провел полжизни. Мы подолгу засиживались около огонька в этих беседах, и старик точно молодец.

— Што делается на озере по весне, когда налетит с теплого моря птица, — рассказывал он с особенным восторгом. — Стон стоит... Выйдешь это на заре, прислушаешься, а все озеро так и стонет. И лебеди, и гуси, утки, и гагары, и чайки — всякого сословия птица собралась, и всякая по своему наговаривает. Станица за станицей летят божьи птички, отдохнут малость на озере, покормятся денек-два и опять в дорогу... Тварь, а только не говорит. Которые птицы останутся здесь, сейчас же гнезда вить: хлопот-то сколько, радости... Шныряют, плещутся, обещут каждый уголок, гнезд навьют, а потом и затихнут. Матки, значит, на яйца по гнездам засели, а на воде остались одни селезни. В лесу тоже своя работа: по зарям косачи на токах играют, глухари по листовням бормочут, и каждая-то тварь радуется... На Вязовый к нам по весне соловьи прилетают: как свистнет, как шелкнет... Мудреная тварь птичка и самая божья тварь. Сколь она разумна: ведь какие тыщи верст пролетит от теплого-то моря! Выведет деток, вырастит, собьется к осени в стайки, сгрудится и опять в дорогу. Как она, милая,

собирается-то в дорогу, как хлопчет... Нет приятнее этой перелетной птички! Премудрость Господня... Только вот мы этого ничего не понимаем по своей темноте и считаем птицу глупой. Домашняя птица, конечно, глупая, ежели разобрать, а перелетная, вольная пташка — другое. Поглядишь на них, так ровно и сам помолодеешь. В другой раз тяжело сделается, а посмотришь, как божья птичка работает — и полегчает... Она знает, что ей нужно делать, ну, и ты свое достигай... У всякого, значит, свой предел положен, а работа у всех одна. Без работы невозможно...

В той же Кыштымской даче, верстах в сорока от Увельдов, есть Вишневые горы, которые служат яркой иллюстрацией к этим размышлениям с той разницей, что действующими лицами здесь являются, кроме птицы, и четвероногие. Это Вишневые горы, покрытые дикими вишневыми, во время поспевания ягоды являются сборным пунктом всевозможных зерноядных птиц. Сюда же являются на это время хищные птицы и четвероногие хищники. Затем, горы служат каким-то таинственным сборным пунктом для диких коз. Вообще, зоологическая картина этой озерной области представляет много интересного. Но всего интереснее, конечно, жизнь рыб, населяющих эти громадные водоемы. Рыбные богатства здесь принимают изумительные формы, благодаря ничтожному рачку мормышу, который служит главной пищей всей озерной рыбы. По своей форме этот рачок напоминает увеличенную в несколько тысяч раз блоху, почти с таракана-пруссак; цвет мормыша прозрачно-беловатый, как улитка. Водится он в ужасающих количествах, особенно в так называемых «кормовых» озерах, которые служат как бы естественными садками для «молоди», т. е. молодой рыбы. Благодаря мормышу, рыба здесь растет в пять раз быстрее, чем в обыкновенных реках, как, например, Волга. В одно лето молодой чебак увеличивается в пять раз, а через полтора года — в шестнадцать раз. В результате получаются сказочные чудеса: ерш-фунтовик в здешних озерах не редкость, а попадаются ерши и в 1½ ф. весом; окуни достигают нередко 10 ф. веса, щуки — до полупуда. Г. Сабанеев, автор прекрасного сочинения о зауральских озерах, говорит, что в Увельдах лет сорок назад был пойман окунь гигант в 30 фунтов и щука в 3½ пуда. Последняя из рыб плотва достигает здесь веса в 5—6 фунтов.

Я расспрашивал старика Щикина подробно о рыбном промысле, и он охотно рассказывал, что знал.

— Нынче в Увельдах не стало, почитай, рыбы совсем, а в прежние времена ее было неисчерпаемое множество. С одной тони зимой брали тыщи по полторы пудов, а то и побольше. Невода огромные, поведут ею рыбку к прорубям да и черпают в другой раз цельную неделю. Молодь в бочках перевозили в кормовые озера.... А на степных озерах тони еще больше, потому как там всю рыбу можно неводом взять: дно ровное, песчаное. На Маян, сказывают, бывали тони в пять тысяч пудов... На горных озерах всю рыбу не вычерпаешь, потому как она уйдет по глубям, где ее неводом не добыть.

— Отчего же рыбы меньше стало в Увельдах?

— Да кто ее знает... Случается это: вдруг пропадет вся рыба. И год ее нет, и два... Как на хлеб неурожай бывает, так и на рыбку. Опять хворь на нее нападает... Мало ли что делается, а мы только не знаем. Любопытная тоже тварь... По весне, когда рыба начнет икру метать, поглядел бы ты, как она напрет в горные речонки: глазом видно, как идет. Запрещено ее ловить в это время, а все-таки мужики ловят прямо рубахами и штанами... Ежели морду¹ поставить, так она полнехонька рыбы набьется. Много этой рыбы по озерам.

Трехпудовых щук старик, однако, не видал и не слышал о таких, а также и о тридцати фунтовых окунях.

— Может, давно это и было, а на моих памятях не случилось, — прибавил он. — Вот князька видел два раза...

— Какого князька?

— А как же, у каждого сословия рыбы — есть свой князек: у окуней свой, у карасей свой... Я-то карасиною видел. Неводом мы и вытащили этого самого князька: как жар горит, точно золотой. Ну, мы его поглядели, полюбовались и сейчас в воду, в озеро пустили.

— Для чего же в озеро?

— Да так... Без князька рыба не будет водиться, как все равно пчелы без матки.

Много интересного рассказывал старик о своей жизни на озере в течение сорока лет. Для него оно было живым существом. И действительно, жизнь здесь кипела, только нужно было уметь ее видеть. Раз в жаркий полдень я плыл в лодке около Вязового. Вода в озере стояла совершенно тихо. На небе ни облачка. Вдруг послышался отдаленный

¹ Морда делается из ивовых прутьев.

удар грома... второй... третий... Я с удивлением искал на небе грозовой тучи, но такой не было. Потом уже я сообразил, в чем дело: из воды выскакивали рыбки и падали обратно все зараз, точно дождь. Тысячи таких маленьких всплесков и производили звук, похожий на раскаты грома. Замечательно в этом явлении то, что выскакивали из воды только маленькие рыбки, и что это происходило в один момент на громадном расстоянии. Сабанев упоминает об этом странном явлении в своей книге.

— Душно ей в жар, вот и скачет, — объяснил Щикин.

— Почему же вся зараз скачет?

— Ну, это уж ее дело... Значит, так ей надобно. В море так настоящий гром бывает от нее... Может, играет по-своему рыбка. Не нашего ума это самое дело, потому как всякой твари положен свой предел.

В свою очередь я рассказывал сторожу-рыбаку о чудесах писцикультуры и о том, что сделали бы с этими озерами американцы. При усовершенствованных способах искусственного разведения рыбы и правильного рыбного хозяйства можно было бы увеличить уловы в десятки раз. Кроме того, можно было бы разводить в этих же озерах новые породы рыб, как форель или лососина. Мой слушатель недоверчиво покачал головой.

— У нас одно хозяйство: выловить всю рыбу... — соглашался он. — Потому озера в аренде у купцов, а купцу только свою выгоду достигнуть. Башкирам озера принадлежат, а башкиры сами ничего не умеют. Много озер пустых стоят: вычерпают из них всю рыбу дотла, ну, они и пустуют...

Громадная озерная область Зауралья еще ждет своих предпринимателей, которые оживят рыбные промыслы новыми приемами. Где сейчас наживаются десяток купцов-арендаторов, будут иметь заработок сотни предприимчивых людей, вооруженных новейшими знаниями. Много таких русских богатств лежит без употребления.

Мы проводили дни на открытом воздухе, а ночи — в амбаре, где хранились невода. На этих неводах была устроена и наша постель. Владимир Гаврилович рисовал целые дни, а мне уже пора было ехать.

— Я останусь еще на недельку, чтобы кончить работу, — говорил он. — Место отличное...

Мой план лучить рыбу так и не удался, благодаря коварству Николки, которого Владимир Гаврилович прозвал

по этому случаю «извергом естества». Последняя ночь перед моим отъездом была темная, и можно было ею воспользоваться, чтобы ехать «с лучом». Я хватился Николки, а его и след простыл. Я хотел ехать с острогой без него, но оказалось, что изверг естества увел и свою лодку. Дело в том, что на Миляев мыс приехал «барон», и Николка отправился прислуживать туда, изменив нам. Утром я так и уехал, не видав Николки. Несмотря на эту маленькую неудачу, я был очень доволен своей экскурсией: таких мест, как Увельды, немного.

«ВСЕ МЫ ХЛЕБ ЕДИМ...»

(Из жизни на Урале)

I

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово, — говорил мой приятель Павел Иванович Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. — То есть, я вам наивно доложу, после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в N*, — пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие стоят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачонка есть на примете: легашик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, поедemте в Шатрово?! Остановимся у попа, важнейший поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатеющий поп, я у него по неделям тащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не одно... Нет, завтра же поедem!

— Я с большим удовольствием, только на чем мы с вами поедem?..

— На чем?! Да вы только скажите одно слово: завтра, в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.

— Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.

— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и легашик — все на примете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил, — такой же жиденький из себя, как вроде вас, — так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично погостим у отца Михея... Я уж знаю, чем старику угодить: парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня расцелует.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый и плотный, он был некрасиво скроен, да крепко шит; в глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием; маленькие светло-карие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, в крайнем случае — сорок пять, а в действительности было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юношескому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атласный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой, в манжетах красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла Ивановича не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит, ни больше, ни меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так: Сарафанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отлича-

лась замечательной разносторонностью: он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком драгоценных камней, мыловаром и т. д. Он имел скверную привычку разом браться за десять дел и поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности. Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только где-то за городом клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холостяком и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, вечно находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете, — весь город ему был знаком и все было на примете: нужно вам козу — через час Сарафанов ведет ее за рога, нужна скрипка — и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес, как живая история и география N-ского уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за плечами, исходил его вдоль и поперек. Иногда он превирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, — он сам верил ей первый. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, но являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» — в переводе значило «серьезно»; в этом же значении он употреблял слово «сентиментально»; «хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял,

я никак не мог привыкнуть и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии — эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно, слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда — «смелость», реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то образование, то *compil-faut*. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова обозначали даже «мошеничество».

II

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги да поверх сюртука набросил татарский аязм.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал, — говорил он, помогая мне одеваться. — Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты... Как же это? Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...

Действительно у ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в новеньком с иголки коробки сидел хромой легашик, на дрогах, впереди и сзади коробка, были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящичков, узелков, сундуков, он был немислим.

— Конь в езде, друг в нужде, — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.

— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..

— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.

Через десять минут мы уже выехали из города.

— Как N* то наш обстраивается, — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в сто-

роне от тракта, среди соснового бора. — Истинно можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жидаы... очень грациозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золотопромышленники... Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте: один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть богачей, — страшенные богачи были, а как жили: мужики мужиками, а захочет развернуться — глупость его мужицкая и объявится. Наивно вам говорю... То церкви устраивают, моленные, австрицких архиреев выписывают, то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?

— Нынче залежных денег ни у кого нет, — сегодня беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хватат: иду от вас, а кто-то едет на паре и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей, а он их в кубышку да и в землю, да по двугривенному через год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тонкость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации, а глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так на парах и жаривают; или взять карты — ведь пустыки и даже грешно-с, а сколько у нас в N* этими картами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особливо адвокаты:

что сорвал, то и продал. Богачи-то, как пузыри после дождя: вскочит, покрожится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой вилась дорога, была слегка холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранившимися гривками молодого сосняка. Осими колосились; яровые еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки; они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптаным тропинкам, тянулись вереницы богомолков, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки, но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом... Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные русские лица!

— Ишь, как лопочут, — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. — По обещанию больше идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнейший, и игуменя молодца.

Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без промаха, но легашик оказался плох, — не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек, — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую грудь, — ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не

могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил.

Дожидаюсь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали; легашик свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра; пахло свежей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово, — говорил Сарафанов, — а что такое Шатрово? Деревня, и больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове — вы чего думаете — тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням, — ведь кажется, пустыки: самовар! — конечно, всю эту простоту, как рукой снимет. А как наладят чугунок на Тюмень, тут держись... Нам эта самая чугунка много слез привезла, и, можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с шести рубликов за мешок на одиннадцать, — шабаш, даже попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц двенадцать рубликов, семьша... Ох, не смотрели бы глаза!..

К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем, — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.

— А зачем отца-то Михея обижать?

— Чем?

— Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Авраам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Богатенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов лежит и

угостить любит. А насчет разговору: как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто верст кругом все знают шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раскинулось! — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта; на западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилистому течению Шатровки можно было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села.

Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких избушек, вынесенных к самой околице, где, вероятно жили старики да солдатики-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не чрез все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и нескольких питейных; он остановился у старой, покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким побряхтыванием вылезая из коробка.

— Дома.

— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?

— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!

Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью; немного косою разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно смягчалось, ког-

да она улыбалась, выставляя два ряда точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы...

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?! — бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. — А ты как Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего пристал, как сера горячая?

— А ты, Аннушка, не тово...

В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубаше; он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иванович? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай гостей, — распоряжался Сарафанов, здороваясь со стариком. — А ты, умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти заморились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь, как лошадь-то пересобачили, — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтением ворота. — Никак, прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.

Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятное впечатление, особенно когда он медленно останавливал на одной точке болезненно-пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках Шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли.

— Ишь, как его нашептывает, — говорил Сарафанов, кивая головой на старика. — От этого самого и Шептуном прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми постройками: «стайки» (хлевы) для скота,

амбары, сеновал; небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было, что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?

— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя никого из баб-то...

— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а она, стерва, за воротами все стоит...

— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки, что ей стоять, видно за воротами!

III

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли.

— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшее на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казinetовый сюртук и старый патронташ.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его муниципия, — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога.

— Какой Лекандра?

— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Михею сын приходится.

— А, помню... Из лица немножко шадриль?

— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете.

— А почему он у отца не живет, ваш учитель?

— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет... Видно, у меня глянется лучше, — с улыбкой прибавил старик. — Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь никак.

Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?! Собирай скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут, — откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно «шадриив», то есть его круглое добродушное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым оттенком борода придавала физиономии Лекандры самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не видались! — приветствовал Сарафанов учителя. — Здоровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку, — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку.

— А отец Михей какво здравствует?

— У отца Михея чахотка, еле дышит...

— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А мамынька ваша?

— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.

— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандр Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах N-ской цивилизации, о людях с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень понравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой и своим общественным положением, что не имел нужды ни прибавлять ни одного вершка собственного роста.

— А я, Павел Иваныч, женюсь, — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это поученому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая, которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже раскрыл рот от удивления.

— Спроси хоть Шептуна, — продолжал учитель.

— Чего тут спрашивать, — ворчал старик. — Только ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке жениться.

— Это уж не твоя забота.

— А то чья же? Не по себе дерево выбрал... Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл... У мужика изба своя, обзаведение, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, такому, на Анке жениться.

— Вы все шутите, Никандра Михеич, — сказал Сарафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.

— Не может быть... — уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. — Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три сына в университете... Чистый хаос! Нет, уж ты, Никандра Михеич, пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой... Я тебе вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна, — ну, отдай все: да и мало! Всем взяла: вроде как вишня или малина.

— Вот ты и женись на ней, — предложил Лекандра.

— Ах, господи, господи... Вы все шутите, а как тятенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект построите? Ведь это, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: один брат доктор, другой прокурор, три в университете... Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право не шучу. Приезжайте на свадьбу.

Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаяла собака; неугомонные петухи перекликались через всю деревню;

простучала на улице телега. Сеновал был прикрыт полусгнившими драницами; между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи... Ночная ли птица шарахнет крылом оземь, ветер ли набежит — трудно разобрать. Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя деревня, настоящая русская деревня, деревенский здоровый воздух льется освежающей струей над этими полями, рекой, лесом, самый месяц освещает не многоэтажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворников, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной клеточкой — вот единственное желание, которое теперь выражает желание большинства русских людей, не сеющих и не собирающих в житницы, не продающих и не покупающих. Да, отдохнуть...

— Вы не спите? — спрашивает Лекандра.

— Нет.

Небольшая пауза.

— Зачем Шептун так бранит эту Анку? — спросил я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам.

— Обыкновенная история: он стар, она молода.

— Это еще мало.

— Они живут гражданским браком. Девку кровь души, а старичонко еле на ногах держится. Вот и вздорят...

— Как же вы...

— Вы хотите сказать, как я решаюсь жениться на Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его ломает голову... Ха-ха!.. Анка еще не пойдет за меня. У ней от женихов отбоя нет.

— Ведь вы говорите, что она живет гражданским браком с Шептуном?

— Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем «образом звериньским, сходахуся меж сел». Мы смотрим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была «вроде как малина или вишня», а крестьянину нужна работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. Вы посмотрите,

как целую жизнь работает деревенская баба, — именно как рыба о лед колотится... Все эти ошибки молодости не могут иметь здесь особенного значения.

Молчание. Учитель раскуривает папиросу.

— Скверно теперь у вас в городе?

— Как всегда.

— Одного не могу понять: зачем это люди лезут в эти города. Ей-богу! Скажите, пожалуйста; например, наш брат из семи кож вылезет, а все-таки добьется своего, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой палате нажить геморрой. Обыкновенно говорят про какие-то удобства цивилизованной жизни, про общественную жизнь, про удовольствие... Ведь врут, все врут до последнего слова! Какой-нибудь чиновник замурует себя в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока господь не приберет грешную душу. Деньжонки завелись, — «винтит» ночи напролет. Тьфу!..

— Что же в деревне делать?

— В деревне... Во-первых, деревня деревне рознь. Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно.

— Именно?

— Да вот хоть я: землю пашу. Отличная статья. Я, право, так рад, что развязался со всей этой «цивилизацией» Сарафанова. Свет увидал, а то такая мерзость на душе стояла — хоть в воду. Видите ли, был я в университете... По слухам, уж очень хорошо там, значит, и нам туда же надо... Своего ума нет, так чужим живешь. Ну, и мода на образованного человека, и диплом, и этакой приличный оклад в некоторой туманной дали — все это имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел до третьего курса медицины, а потом все и похерил...

— Почему так?

— Плутство одно, это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собственным лбом по крайней мере дорогу прошиб, а доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу!.. А какая была мода на этих докторов с легкой руки наших маститых беллетристов: каждый так и смотрит героем... Насмотрелся я на них, теперь — шалишь, знаем, чем подбиты эти все герои. И главное, заметьте, из тысячи человек один занимается, а остальные с грехом пополам только переле-

зают из курса в курс. Вот вам и все его геройство. По-моему, нужно поставить науку, как она в Англии или Америке, а не тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой... Вот я, когда перелез на третий курс, и начал думать: к медицине я никакого влечения не имею, да она и сама существует только как искусство для искусства.

— Именно?

— Возьмите доктора, что он делает? Ведь он шарлатанит из ста случаев в девяносто девяти... Одна только хирургия и вывозит, а остальное все гниль и чепуха! Морочат только богатых купцов да нервных барынь. Например, приезжает доктор к больному... Если больной — человек состоятельный, — он и без него поправится, если он бедняк — еще скорее помрет, потому что последние гроши снесет в аптеку. Один умирает оттого, что спился с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную болезнь; другой оттого, что вытянулся на работе, с холоду, с горя, с голоду... И в том и в другом случае доктор решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите в избу к богатому мужику, особенно к раскольнику: да всем этим немцам, которые придумывали гигиену, и во сне не снилось ничего подобного — такая чистота заведена, словно языком все вылизано. И посмотрите, какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. Да-с!..

Учитель заметно раздражился и говорил с таким выражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил.

— Все это хорошо, и, может быть, в ваших словах много правды, — проговорил я, желая навести учителя на прежнюю тему, — но интересно, как вы дошли до мысли, что остается только землю пахать.

— Опять-таки не своим умом дошел, не беспокойтесь. У нас свой-то ум с семи лет отшибают... Был у меня один товарищ. В семинарии мы с ним вместе учились. Дело было в философии¹. Крепкий был человек. Понимаете: сама натура. Учился, учился да однажды в классе профессору и начал отчитывать: «Чему вы нас учите?» Вот я девятый

¹ Имеется в виду отделение семинарии.

год давлЮ парту, а ни аза в глаза не знаю... Мне на ваших классиков наплевать!» Взбесился человек совсем, а потом бросил все да в мужики и ушел, землю пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные ему рисовать, а он нам: «Дураки вы, дураки... Ничего-то вы не понимаете и не понять вам ничего. Я буду мужиком в сто раз счастливее вас...» Вот, когда я был на третьем курсе, на меня это самое раздумье и напади... Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее письмо и жду ответа. Пишет: «Приезжай, сам увидишь. Твой Африкан Неопалимов». Кое-как дождался я лета, а потом к Неопалимову, в деревню. Отыскал его. Живет как мужик, и все тут. «Брось-ка, — говорит, — свою ученую дурь да ступай в мужики, если добра хочешь». Пожил я у него лето, присмотрелся... Ничего, действительно хорошо. Неопалимов давно был женат на крестьянской девке, детишки были — отлично живут. Вернулся я в Шатрово и свою медицину по боку: совестно стало чужой хлеб заедать. Только сразу упроститься, как Неопалимов, у меня порошу не хватило. Придумал я, видите ли, поступить учителем и составить такую компанию, чтобы летом, когда у нас, учителей, нет занятий, сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек шесть. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко сделали и всякое прочее...

Лекандра замолчал и сердито сплюнул на сторону.

— Ну, и что же? — спрашивал я.

— Все прахом пошло.

— А теперь вы совсем упростились?

— Ну, этого еще сказать нельзя... Извольте-ка сразу расстаться со всей этой глупостью, которая выросла с золотых дней детства, — нет, это не вдруг. Опять и то смущает: упростишься, а потом не вынесешь. Вот исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и землю у родителя арендую. Третий год свое хозяйство веду...

— Где же оно у вас?

— Верстах в семи отсюда. Там у меня и избенка огорожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете как-нибудь.

Наступило молчание. Упрощавшийся человек тяжело вздыхал. Очевидно, ему хотелось высказать еще что-то.

— Что же мешает окончательному упрощению? — спросил я.

— Вы не догадываетесь?

— Нет...

— Вот то-то и есть, а дело самое простое: разве мужицкое хозяйство можно поставить без бабы... Теперь поняли? Интеллигентный человек амурсы да идеалы разводит и видит в жене... Ну, да черт с ним со всем, что он видит! Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, а когда дошло дело до бабы, — вот тут вся эта дрянь, которая накопилась в душе, и дает себя чувствовать. И себя загубить можно, и другого человека... Ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать, — все-таки большая разница. А может быть, она будет счастливее за настоящим мужиком... Гм... это я вам скажу... Кажется, светает?..

IV

— Пойдемте купаться, — будил меня учитель ранним утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане. — Утро-то какое... а?..

Учитель лежал на животе, положив свою белокурую голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вставать, но желание с этого же дня начать настоящую деревенскую жизнь, наконец, превозмогло, и я быстро поднялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно спустились с сеновала по ветхой, дрожавшей под нашими ногами лесенке. Так и хотелось вернуться обратно и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анку. Она, с высоко заткнутым подолом, выгоняла подоенных коров.

— Анка зачем ты на сарай к Лекандре лезешь? — доносился из избы голос Шептуна. — Вот я возьму кол да колом тебя, стерву!.. Анка!..

— Отвяжись, старый пес, — ворчала девка, храбро шагая с хворостиной в руке.

Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым белым туманом, тихо катилась Шатровка, наклоняя прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в ближайших кустах, и только глухой всплеск воды, распахнувшейся под его телом вспененной волной, показывал место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгновений он не появлялся на поверхности, а потом только по фырканию и кряхтению можно было определить, где он плыл в тумане. Я

попробовал последовать его примеру, но после пяти минут, проведенных в холодной воде, у меня зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды и одеться.

— Что, замерзли? — доносился голос учителя из тумана.

Он плавал еще с полчаса и вылез из воды только тогда, когда все тело покраснело от холода и зубы стучали как в лихорадке. Прикрывшись рукой, на манер Верены Медичейской, Лекандра скрылся в кустах, откуда все время его туалета доносилось какое-то забавное фуканье носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман начал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной пеленой тихо поднялся кверху, открыв реку во всей ее красоте, — с живописными берегами, выложенными ярко-зеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей водой, отражавшей в себе и небо и плававшие на небе облачка.

— На нашем солнышке греетесь,.. — под самым моим ухом произнес чей-то приятный басок.

Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с высоким священником, облаченным в белоснежный пикейный подрясник и с широчайшей панамой на голове. Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, как подушку, десницу и тем же баском проговорил:

— Честь имею рекомендоваться: шатровский поп Михай... Чай, слыхивали про такого зверя?

— А... это ты, родитель? — отозвался Лекандра из-за кустов. — Купаться вышел?

— Да, немного нужно освежить свою грешную плоть...

Грешная плоть о. Михея представляла нечто совершенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высокая фигура была необыкновенно развита в ширину, так что спина была выгнута совсем желобом, как у закормленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикейного подрясника, точно там были нарывы. Круглое обрюзгшее лицо было серого геморроидального цвета; около небольшого носа луковицей, как в масле, плавали два узких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли тощей бородкой. Из-под панамы выбивались две крошечные косички.

Заметив мой пристальный взгляд, о. Михай с неизменной добродушной улыбкой проговорил:

— Угадайте-ка, сколько мне лет?.. Нет, не угадать. Шестьдесят лет дней странствия моего в юдоли плача, а еще, кажется, ничего...

В подтверждение своих слов о. Михей молодцевато повернул сначала один бок, потом другой. После этой выходки он опустился на травку рядом со мной и заговорил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— Вот что, батенька, вы завертывайте ко мне чайку выпить... У нас попросту, без чинов. Мой нигилист вас проведет. Познакомились с ним? Ха-ха... Парень ничего, только немного дыра в голове... Так отсюда прямо ко мне. Я уж послал за Павлом Ивановичем.

Я поблагодарил за приглашение и попробовал было отказать под предлогом раннего утра.

— Да у нас город, что ли? У меня старуха давно уж скрипит по всему дому... Слышите, заходите. Покалякаем, побалагурим, а ежели меня рассердите — хуже будет.

— Мы действительно отправимся к родителю, — говорил учитель, появляясь из-за кустов.

— А... нигилист, будущий Анкин муж, — встретил сына о. Михей и, обращаясь ко мне, проговорил: — Вот рассудите нас: один сын у меня доктором (о. Михей степенно отогнул на шуйце указательный палец, пухлый, как у новорожденного); второй — товарищ прокурора (о. Михей отогнул средний палец), три сына довершают свое образование в университете, а шестой сынок вздумал в податное состояние обратиться... А-а, вот тебя, дружище, и нужно! — закричал зычно о. Михей, завидев поспешно приближавшегося Сарафанова. — Иди, иди сюда, мы дадим тебе суд и расправу... На кого ты меня променял, Павел Иванович? Не ожидал я от тебя этого, нет, не ожидал!..

— Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они, — оправдывался Сарафанов, указывая на меня. — Уж я знал, что мне попадет за это... Повинную голову и меч не сечет, отец Михей!

— Хорошо, хорошо: у Федорки везде отговорка, — добродушно гудел о. Михей, подхватывая Сарафанова под руку. — Пойдем купаться. Мне одному скучно... А слышал, мой-то нигилист женится...

— Хаотический человек, отец Михей, — проговорил Сарафанов, разводя руками. — Чистая грация!.. А только купаться не пойду, отец Михей: натура в меня не принимает. Я лучше на бережке посижу.

— Нет, вре-ошь, Павел Иванович! — увлекая Сарафанова, гудел о. Михай. — Ты уж меня раз надул...

— Наивно вам говорю: ревматизм в ногах...

— Шалишь.

Пикейный подрясник и панاما о. Михея скрылись за кустами. Мы с Лекандрой побрели к избушке о. Михея, которая стояла как раз против церкви и так приветливо издали глядела своими небольшими окошечками с белыми ставешками. Это был прелестный сельский домик с низкой зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким песочком и делился на части изгородями. В этих загородках бродило несколько лошадей, помесь кровных киргизов с заводскими. Отец Михай был великий любитель и знаток лошадей; его конский завод пользовался большой известностью. В глубине двора виднелись целый ряд конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. Вид домика со двора был еще лучше, потому что он низенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье голенастых кохинхинских куриц, бродивших по двору под предводительством горластого рыжего петуха. Из окна кухни выставлялась голова сотника Рассказа, который дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным окном.

— Рассказ — отличный наездник, — объяснил Лекандра, — всех лошадей выезжает у родителя. А вон и мамынька чай разводит...

На террасе, около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью и уставленного чашками и печеньями на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась небольшого роста дама с папироской в зубах. При нашем приближении она прищурила серые выцветшие глаза. Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на плечах и шелковая сетка на голове показывали, что матушка не хотела быть деревенской попадъей и держала себя на городскую ногу. До этого времени мне ни разу не случалось видеть матушек с папиросами, и я с удивлением посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшейся дамы.

— Вот гостя привел, маменька, — рекомендовал меня Лекандра. — А, да тут целый капитан еще сидит... Наше вам, Гордей Федорыч!

— Здравствуйте, господин нигилист, — отозвался сгорбленный, седенький старичок в кителе.

Я только теперь мог рассмотреть его съезжившуюся фи-

турку из-за большого томпакового самовара, сильно походившего на о. Михея по своей тучности.

— Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня матушка.

— Отдохнуть...

— И хорошо сделали: у нас вон какие отличные места... Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раздобыл. У нас здесь воздух очень хорош.

Мне оставалось только согласиться, потому что уж какого же еще можно было ожидать воздуха, когда о. Михей из соломинки мог превратиться в настоящий свой вид. По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось представить себе о. Михея, когда он только что кончил курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бровями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом и сыром месте и теперь вынули его проветриться.

— А что ваша Тонечка? — спрашивала матушка, подавая капитану стакан крепкого чаю. — Я что-то давненько ее не видала...

— Нездоровится ей, нездоровится, Калерия Валерьяновна, — отозвался капитан, шамкая и пришептывая. — Девичье дело, девичье... Хе-хе. Не побережется, не побережется, а теперь жалуется... жалуется, что голова болит... Молодость!.. Да!..

Самый голос у капитана был какой-то выцветший, с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое дерево. Лекандра низко наклонил свое розовое лицо над самым стаканом и, кажется, был исключительно занят процессом глотания душистого напитка. Мне показалось, что Лекандра с намерением избегал встречи с прищуренными глазками своей «мамыньки» и как-то странно поднял кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила о Тонечке.

— Мир вам, и мы к вам, — загудел о. Михей, вваливаясь на террасу. — Посмотрите, как я выкупал Павла Иваныча. Ха-ха! Вот тебе и ревматизм...

— Чуть не утопили-с, ей-богу! Наивно вам говорю, — уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха. — Ах, Калерия Валерьяновна... Здравствуйте!.. Сократите, по-

жалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того... уж захлебываться стал.

— Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь! — проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, как детская фарфоровая кукла.

— Пошутил... Эка важность! Он меня тоже надул: на Шептуна променял. И следовало утопить, только до другого раза оставил.

— А... старичку, Гордею Федорычу, наше почтение! — говорил Сарафанов. — А я, право, даже не заметил вас с первого раза... Хе-хе!..

— Да его заметишь... Ишь, какой карманный образ ему природа-то дала! — добродушно басил о. Михей, пока Сарафанов держал в своей лапше сухую, желтую ручку капитана.

Лицо о. Михея было теперь мертвенно бледно и скоро покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом стакан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-нибудь средства против геморроя?.. Совсем замучил, проклятый!

— Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем... — жеманно вступилась матушка, как-то забавно востроившись своими коротенькими ручками. — Ты всегда...

— Что всегда: что есть, то и говорю!.. У кого что болит...

— Пожалуйста, перестань... Вон Тонечка идет... Ах, здравствуйте, Тонечка, легки на помине, — мы только что о вас сейчас говорили...

Тонечка была белокурая, грациозная девушка лет восемнадцати. Ее небольшое правильное лицо, с большими умными темными глазами, было красиво оттенено широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на отогнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивавшими синими жилками, выгнув свою широкую спину, как это делают бильярдные игроки. Ситцевое простенькое платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и целомудренно собралось около ее белой шейки широкой розеткой.

— А я пришла к вам, Калерия Валерьяновна, за хинной, — проговорила девушка.

— И вы верите в эту латынскую кухню, Антонина Гордеевна? — вступился о. Михай.

— А то как же? Против лихорадки отлично помогает...

— Пустяки! Это только так кажется. Вот у меня...

— Ах, отец Михай, пожалуйста! — взмолилась матушка.

— Ну, ну, не буду. Я пошутил... Ха-ха!.. Спроси вон у капитана, он испытал. Как заберет, — места не найдешь... Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Иванычем относительно цивилизации побеседуем.

Тонечка просидела недолго. Она все время потирала свои маленькие ручки, как это делают с холоду, и ежила худенькими плечиками. Лекандра несколько раз с улыбкой поглядывал на девушку и, наконец, проговорил про себя:

— Нервы...

— Вы этим что хотите сказать? — смело спросила Тонечка.

— А то и хочу сказать, что у всех барынь одна болезнь: нервы. Глаза этак закатыт (Лекандра изобразил, как барыни закатывают глаза): «Ах, у меня нервы»...

— Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его, — вступился опять о. Михай. — Я вам дам отличный совет: ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца... Вот я, — я был хуже вас!.. А теперь, кажется, славу богу, только вот... Ну, да это вас не касается. А вы слышали нашу последнюю новость: Никандр Михеич женятся. Да-с. И знаете, на ком?

— На даме женюсь, — отозвался Лекандра. — Она будет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду кормить.

— Нет, в самом деле женится... На работнице Шептуна. Может быть, видали?

Все засмеялись. Сарафанов дергал капитана за рукав и рассыпался своим дребезжащим, нерешительным смехом, откидывая голову назад. По лицу капитана проползло что-то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа покрылась мельчайшими морщинками и зашевелились под желтыми усами синие губы.

— Уж только и отец Михай, — умиленно шептал Сарафанов, — слово скажут — одна грация...

Девушка вопросительно вскинула свои темно-серые глаза на Лекандру и улыбнулась болезненной, умной улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шажками.

— Вы не смотрите на него, что он карманный, — говорил о. Михай, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим

перстом в высохшую грудь, — у него в голове-то такие узоры наведены, что нам и во сне не снилось.

— Какие там узоры, какие узоры, — шептал капитан, отмахиваясь от слов о Михея, как от комаров.

— Вы спросите-ка Шептуна... Будут они помнить Гордея Федорыча.

— Чего помнить... нечего помнить. Дело любовное, по закону дело... Все по закону.

— Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. Видите ли, капитану, до освобождения крестьян, принадлежала половина Шатрова. Хорошо... Когда стали составлять уставную грамоту¹, капитан и уговорил своих бывших крестьян принять от него даровой надел по осьмине на душу. Те с большого-то ума и согласились. А теперь у капитана же и должны арендовать землю по десяти рубликов за десятинку... Как это вам понравится? У нас землю-то продают по семи рублей за десятину.

— Зачем же они арендуют землю у Гордея Федорыча, если могут купить в собственность дешевле? — спрашивал я.

— Вот тут-то и есть корень вещей: земли-то покупные далеко, надо переселяться на них, а капитанова земля под боком. У капитана всякое лыко идет в строку: он за выгоны берет отдельно, за потрав отдельно, за лес отдельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник! Видели лес? Это все капитанов лес: мы ему за каждую жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? Ха-ха... Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать; стоит здание, понимаете, одно здание — и больше ничего, а капитан ежегодно двадцать тысяч себе в карман да в карман. Вот как добрые люди живут, а не то что мы грешные: по грошикам да по копейкам.

Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся пред гением капитана.

— Я не принуждаю никого, не принуждаю... По добровольному соглашению, да, соглашению, — говорил капитан, совсем исчезая в облаках дыма.

— Хорошо соглашение, — ворчал учитель. — Тысячу человек пустил по миру, — вот и все соглашение.

¹ Уставная грамота — документ, определяющий земельное отношение между крестьянами и землевладельцем — помещиком или заводчиком.

— Что же я, по-вашему, фаланстерии буду устраивать на своей земле? — спрашивал капитан.

V

Прожив несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задышался под веяниями времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали и у наших любимых беллетристов, не было и помину: современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты. Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, рождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня — это химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, спешная работа. Центр тяжести, искусственно привязанный нашей историей к жизни городов, сам собой переместился в деревню.

— Ну, что, Америку открываете? — спрашивал меня о. Михай каждый раз, когда мы встречались. — Не-ет, батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать в потолок. Перестраиваемся, голубчик,.. Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иванович ведь правду врет про самовары-то да цивилизацию. Умственный мужик пошел. Все сам хочет знать: как и что на свете делается. Газеты выписывает... Да и кулаки эти уж просвещают их на все бока: поневоле задумаешься.

Отец Михай был начитанный человек и следил за журналами. Голова у него была крепкая, только на все кругом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. И, главное, все ему смешно. Где он набрался этого добродушия — бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было то, что он и на себя смотрел тоже как-то со стороны, с подковыром.

— Вы возьмите-ка нашего брата, попов,— ораторствовал он, похаживая по комнате такими шагами, что половицы только гнулись и поскрипывали. — Прежде поп был притча во языцех, последняя спица в колеснице, а нынче и мы себе цену узнали, и мужика простецом считали, а вы пощупайте-ка хоть Шептуна!.. Это, батенька, министр...

Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, вероятно потому, что трудно было подыскать двух таких противоположных людей. Шептун был крепкий старик и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит слово даром, и все у него выходило как-то особенно складно. Находчивость в ответах, живость, убийственная острота — вот чем он брал, и часто нужно было много подумать, чтобы добраться до истинного значения его речей. Главным образом, он в совершенстве владел искусством запутывать свою мысль, как заяц путает свои следы. Сравнения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посинелых губ. «Шептун сказал», — говорили часто вместо ответа, или: «Спроси у Шептуна, он те скажет».

— Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?

— Это от артиллерии-то? А ничего, милый, капитаном мы довольны... Бога за него благодарим. Да. Капитан у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему не сделать, а славный поп. Вишь, как ему весело... В соху бы запречь, так, пожалуй, смеху-то убыло бы.

Рассказ был увлекающаяся, поэтическая натура, растворявшаяся в настоящем. Все, что он ни делал, было результатом порывистого желания немедленно осуществить свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна и часто выслушивал от него очень горькие истины относительно своего бесшабашного житья. К людям он относился доверчиво и с первого разу любил или ненавидел. Вообще рядом с Шептуном это был настоящий ребенок. Поэтическая точка зрения на весь мир заслоняла пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал неудачи и оскорбления и постоянно нуждался в руководителе.

Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ выйдут вечерком за ворота и, сидя на завалинке, калякают между собой.

— Ну, чего ты слоны-то продаешь?! — корит Шептун своего приятеля. — Выездишь ты пятерых жеребцов у попа, а он тебе двугривенный в зубы... Эх ты, рухлядь!

— Ты умен, — пробует иронизировать Рассказ.

— С твое-то будет ума... Не пойду к попу за двугривенный-то лоб парить да вертеться, как бес перед заутреней.

— Ладно, рассказывай. Знаем... Тоже вот тогда, как от артиллерии-то...

Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, потому что капитан был единственное слабое место, в которое можно было уязвить Шептуна. При составлении уставной грамоты Шептун один из первых поддался на удочку капитану и теперь нес на себе кару за этот промах. Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго не мог себе представить.

— Што капитан? Ну, что ты говоришь мне: капитан? Разве я у него был в те поры на уме? Чужая душа — готемки, известное дело. Да кабы знатье... то есть вот пополам перекусить его, прохиря¹, и весь разговор!

— Намеднись я иду мимо Прошкина кабака, — уже спокойно продолжает Рассказ, совершенно довольный, что уязвил Шептуна. — Попадаются моховики²... Грудно этак идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гушин, Естюшка... Ну, идут, калякают промежду себя, а на дворе уже темнается. Я эдак маненичко притулился за угол и думаю: пусть, мол, пройдут своей дорогой. По разговору, значит, слышу, что они маненько тово, заложили за ухото... Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз в загривок накладывают. Стою эдаким манером за углом и слушаю. «Этих бы сивых чертей, — говорит Естюшка, — взять, говорит, за бороды да оземь, потому самому, што они нас на веки вечные времена в раззор привели...» Это, выходит, они про нас так-то разговоры разговаривают. А Микешка Гушин на это: «Гут дело не просто; подкупил их тогда этот самый капитан либо напоил, вот они и продали... Осьмуху-то немного укусишь! Вон у шаблинских али у болтинских — все по-божескому сделано. Только мы не в людях люди! Надо, слышь, этих стариков стряхнуть когда ни на есть: они заварили кашу, они и расхлебывай?»

¹ Прохирь — прохвост.

² Из деревни Моховой. (Прим. автора).

— Ах, псы эдакие! — ругается Шептун. — По заугольям-то их много, а доведись до дела — так и нет никого... Естюшка и то было раз сцапал меня за бороду в кабаке у Прошки.

— Н-но!

— Верно. «Ты, говорит, такой-сякой, нас по миру пустил». Ей-богу! Тогда чуть меня отняли... Парень могучий, поднесет раз — и дух вон. Кабы помоложе был, я бы ему завязал язык-от. Тогда на сходе учили муторить — што не што до поленьев дело не дошло.

— А ты слышал, что посредственник к нам едет?

— Это насчет кого?

— Кулумбаевских да ирнабаевских башкир будут мезевать. Верно тебе говорю. Поп Михей сказывал.

— Врет, поди?

— Чего ему врать. Сказано: едет, — значит, взаболь¹ едет.

— Лонись² тоже приезжал посредственник-то, да што из этого толку вышло?

— А ежели у него бумага вышла из Петербурха? Соберет сход, бумагу заставит читать — тут, парень, слушай. Михей сказывает, кулумбаевским плохо придется: замезуют их. К заводам всю землю отведут, потому у них бумага.

Так сидят старики и балагурят. Невеселые разговоры у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. Капитан действительно пустил с сумой половину Шатрова. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках капитана, по выражению Шептуна, «все одно как рыба в неводу». Нищенский родовой надел приходится им теперь солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял на неслышанную высоту и, кроме того, измором морил на каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля спасала их еще от конечного разорения, а впереди предвиделось самое худшее. С нарастанием населения на душу приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, которых о. Михей называл умственными, не давали старикам проходу за даровой надел.

VI

Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда заходил к Лекандре, в его хутор. Этот хутор был верстах

¹ Взаболь — действительно, в самом деле. (Прим. автора).

² Лонись — в прошлом году. (Прим. автора).

в пяти от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли у Лекандры было десятин восемь. Теперь она представляла волнистый ковер доспевавшей пшеницы, ржи и овса. Небольшая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее порога открывался чудный вид на реку Шатровку, красивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поемных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправильными кучками изб деревушки Моховая, Болтина, Шаблино и т. д. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все эти бревенчатые избы точно были насыпаны какой-то исполинской рукой по речному берегу или сейчас только, как стадо утят, выползли из воды и греются в лучах летнего солнышка. Эту картину портило только полное отсутствие садилов и деревьев: хоть бы одно дерево на все это громадное пространство, которое охватывал глаз. Приятным исключением на этой оголенной равнине, когда-то славившейся дремучими сосновыми борами, была красивая капитанская роща. Она была разбита на несколько участков, и в ней велось правильное лесное хозяйство.

Изба Лекандры была устроена как все русские избы и состояла всего из одной комнаты, половину которой занимала громадная русская печь. Простой стол, деревянные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. Обед готовил себе Лекандра на керосиновой кухне, а хлеб привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено небольшое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие принадлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак оберегала хуторок вместе с глухим стариком, который попеременно спал то на печи, то на завалинке. По вечерам часто приезжал сюда о. Михей выпить чайку на «благоарастворенных воздухах» или забродил с охоты Сарафанов.

— Зачем же у вас еще квартира у Шептуна? — спрашивал я Лекандру.

— А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко, да и так мало ли.

Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, отчасти из подмигивания о. Михея, отчасти по тяжелым вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, мешавшую Лекандре окончательно упроститься, как это сделал Африкан Неопалимов. «Где женщина?» — спрашивал какой-то французский адвокат в каждом процессе, мои

догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. Были некоторые, правда, очень слабые, но все-таки заметные признаки существования такой женщины. В избушке Лекандры мне несколько раз попадались на глаза полевые цветы, искусной рукой собранные в маленькие букеты, пуговка от дамской ботинки и даже целая фильдекосовая перчатка. Это была совсем маленькая перчатка, почти с детской руки. Если присутствие цветов можно было объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок и перчатки решительно нечем было объяснить.

Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу я направился к избушке Лекандры. Я брел по заросшей меже, между стенами пшеницы, которая стояла тын-тынном и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой пахучей струей, разбегался по нивам лоснившейся, как переливы атласа, волной и весело гудел в капитанском лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и любопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал коростель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют эти солнечные лучи, это дыхание матери-земли, эта кипучая жизнь, разлитая в воздухе, на земле и в земле. Каждая былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше других втянуть в себя первую капельку дождя, солнечную теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, которая издали казалась бархатным ковром, — какая кипучая жизнь совершалась в ней!

Мне оставалось сделать до избушки Лекандры шагов двести. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что бросилось мне в глаза, было белое платье... Да, настоящее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. Но что она могла делать у Лекандры? Я искал глазами капитана, но его не было. Итак, мне приходилось сделаться невольным свидетелем и разрушителем tête-à-tête. Воротиться назад я не мог, потому что Лекандра уже заметил меня.

— А... здравствуйте, — как сквозь сон протянула девушка, подавая мне свою крошечную ручку.

Тонечку несколько не смутило мое неожиданное появление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснениям того обстоятельства, как попала она сюда. Лекандра был

с ней груб и суров сегодня особенно. Меня это удивляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добродушием. Из разговора оказалось, что девушка была помощницей в школе Лекандры. Это было для меня новостью.

— Вас, кажется, это удивляет? — спрашивала девушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Да, отчасти...

— Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в первый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей учителя в Шатрове дама, то есть известная комбинация оборок, бантов и... нервов. Да?

Тонечка громко смеялась своей шутке, а Лекандра кусал губы и смотрел куда-то в сторону.

Мы очень весело провели несколько часов в обществе этой девушки, присутствие которой было именно тем, что недоставало избушке Лекандры. Учитель вынес на траву свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить чай своими белыми детскими ручками.

— И вы пьете из этой гадости? — спрашивала она, заглядывая с ужасом в глубину медного проржавевшего чайника. — Вы когда-нибудь отравитесь...

— Нас не скоро отравишь, — грубил Лекандра. — Это если...

— Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно наговорили мне грубостей, — прервала учителя Тонечка, напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни. — Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас перчатку? — обратилась она к Лекандре. — Ручка у чайника расколота, жжет голую руку...

Лекандра был уничтожен и растерялся, как пойманный школьник. Но девушка, кажется, ничего не хотела замечать и все время держала себя непринужденно и просто, как сестра. Причина, мешавшая Лекандре окончательно упроститься, была теперь налицо и, право, была так мила и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никакого основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгорелось румянцем, и на щеках, когда она смеялась, забавно дрожали маленькие ямочки. В темно-серых глазах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка, с легкими, грациозными движениями, была сегодня необыкновенно хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сложенную ногу в крошечном прынелевом ботинке.

— Я, кажется, сегодня очень много наглупила, — с милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои белокурые волосы шляпу. — Отчего вы не забредете к нам как-нибудь? — обратилась ко мне девушка, протягивая на прощанье руку.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и обещал воспользоваться им при первом удобном случае.

— А вас не смею приглашать, — с улыбкой проговорила Тонечка, поворачивая свою головку к Лекандре. — Вы ведь тоже не приглашаете меня...

— Как не приглашаю: ходите почаще мимо-то, без вас веселее, — отрезал Лекандра, окидывая «оборки» Тонечки уничтожающим взглядом.

Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыбкой проговорила:

— Нет, уж вы, пожалуйста, оставайтесь при одном вашем намерении... Я настолько ценю его, что освобождаю вас от скучной обязанности тащиться с дамой по такому жару. Я привыкла везде ходить одна.

Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже и казалась издали с своим распущенным зонтиком каким-то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. Лекандра лежал на траве, что его приводило в некоторое созерцательное настроение, в котором он мог оставаться в одной позе по несколько часов. Солнце палило. Не слышно было щебетанья птиц, которые теперь сладко дремали в пахучей тени капитанского леса. Над полями раскаленный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали изредка вставали над нивами легкие желтые облачка и долго тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила проселочная дорога, по которой проезжали крестьянские телеги.

— А что этот капитан? — спрашивал я, чтобы хоть чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Лекандры.

— Скотина!

— То есть?

— Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги посылает в Петербург сынку-гусару.

— А что, эта Тонечка, должно быть, умная девушка? — спрашивал я Лекандру, впадавшего опять в летаргию.

— Ничего... порядочная дура. С моей мамынькой ей ладно бобы-то разводить. И за каким лешим сюда таскается?!

Лекандра окончательно «замкнулся в свое я», как выражаются семинарские записки по философии. Разговорчивость и мрачное настроение находили на него полосой, ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько времени в безмолвии, Лекандра вдруг расхохотался.

— Над чем вы смеетесь?

— Как над чем? Да вы разве не замечаете, что любезная мамынька задалась целью женить меня непременно на Тонечке. Ха-ха!.. Вот вышла бы примерная пара!.. Хоть сейчас картину рисуй: зять капитана от артиллерии. Ох-хо-хо-о!

— Не знаю, по-моему, это не так смешно...

— Да? Отчего же... у всякого барона своя фантазия. Только, по-моему, жениться на Тонечке, это — завести себе лазарет по конец жизни: смотреть на нее, как на красивую куколку — это еще я могу понимать, но представить ее во образе дражайшей половины... Только недостает, чтобы она начала курить папиросы, как моя родительница...

— А все-таки, Тонечка нравится вам?

— Пожалуй... Некоторое время даже питал к ней душевное и сердечное расслабление, а теперь ничего, прошло.

— Упрощаетесь?

— Да, упрощаюсь. Вы подумайте: я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней буду делать? Смотреть? Нет, уж боже избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде женщины.

— Бабы?

— Да, если хотите: бабы. Совершенно верно. Ведь нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и порты починить, а тут одни перья да банты.

— Тонечка в школе занимается, получает жалованье, следовательно, она может себя заменить другими руками.

— Ну да... конечно, можно и заменить. Только опять это совершенно особенная музыка... Ну, да не стоит говорить о пустяках. Вон посмотрите, никак цивилизация к нам катит... Да, она самая. Рассказ приклеился к новому дельцу, — вон волокет какой кузов. Ах, проказники, проказники!

— Вы про какое новое дельце говорите?

— А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал в Шатрово.

Я слышал от Павла Ивановича о «дельце», которое у него было в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. Раза два Сарафанов пытался вытащить меня на охоту в болото, но я откладывал это удовольствие под предлогом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.

VII

Сарафанов шел, с перекинутой за плечами двухстволкой, своим твердым, развалистым шагом, точно возвращался с прогулки, а не после двенадцатичасовой охоты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел ходить на задних лапах. Лягашик, прихрамывая, плелся назад. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных коробков. Все лицо у него было покрыто потом и волосы на лбу прилипали к коже мокрыми прядями.

— Одначе здорово парит, — проговорил Сарафанов, прислоняя ружье к углу избы.

— Что, устал, Павел Иванович? — спрашивал Лекандра.

— Нет, не устал... Только поясница немножко тово... Должно быть, к ненастью ноет.

— А чаишку хочешь пошвыркать?

— Ежели такая ваша милость будет... А где у меня Личарда?

Рассказ растянулся в избе и не подавал голоса. Он успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь едва дышал, закрыв единственное око.

— Какое у тебя дельце, Павел Иванович? — спрашивал я, пока Лекандра хлопотал около своей кухни.

— Дельце? А вот... — Он развязал один из коробков и достал несколько жестяных банок из-под монпансье. Крышки банок были плотно припаяны к стенкам. — Вот, извольте видеть, банка, а в этой банке двенадцать дупелей... Сто лет пролежат и хоть бы что!

— Консервы!

— Да, вроде как консервы, только получше.

— Как вы их готовите?

— А вот как: выберем болото, Личарда разведет на берегу огонь, приготовит паяльник, коробки и всякое прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупельков... Только успевай мигать. Десяток в полчаса погублю и сейчас их к Личарде. Он их ошиплет, сложит в коробки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. Вот и гото-

во-с. А у меня уж опять десяток готов... Наивно вам говорю. Этого дупеля по здешним местам видимо-невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из болота.

— Куда же вы потом с этими консервами?

— Как куда: продавать... Помилуйте, да с руками оторвут, если на охотника. Первый отец Михей, — ну, ему, конечно, я даром презентую, — капитан, становой, доктор... Всем будет любопытно. Вы заметьте — это будет вроде только объезления: один попробует, пятерых угостит да десятку похвалит. Вот у меня целых пятнадцать заказчиков. Если считать за банку, значит за десяток дупелей, — ну, рубль — и то составит пять рубликов я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с... Это я только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом займусь. Тысячу банок приготавливаю в лето!.. Это у меня в кармане останется семьсот рубликов. А если буду посылать в Петербург да в Москву — это опять другой разговор пойдет.

— Вы, кажется, посылали уж маринованных рябчиков?

— Ах, то опять особь статья. Там меня в одном магазине подвели: послал им на пробу несколько банок, высылают требование на целую сотню. Послал сотню... Они, черти, эту сотню слопали или продали, а денег не выслали. Наивно вам говорю: хаос! Теперь уж не проведут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объявление такое прочитал.

Чай был готов, и мы напились с Лекандрой во второй раз, ибо пар костей не ломит.

— Ты, Павел Иванович, компанию на акциях устрой лучше, — советовал Лекандра, — вот как железные дороги строят... Слыхал?

— Как не слышать: и мы не левой ногой сморкаемся. Хе-хе!.. Только ведь это я так, между делами: и удовольствие получишь, и сам не в убытке.

— Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь?

— А то как же: волка ноги кормят. И еще какое дельце-то: каламбур, пальчики оближешь.

— Именно?

Сарафанов огляделся по сторонам и заговорил вполголоса, точно боялся, что его может подслушать даже трава.

— Третьева дни иду это я по Шатрову от капитана, — чай у них пил, как вот сейчас с вами, — иду, а встречу едет башкир из Кулумбаевки, Урмугуз. «А, знаком, селям малику»... Ну, то-се, разговорились...

— Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнабаевских и кулумбаевских башкир с Локтевскими заводами?

— Даже всенепременно-с... Послезавтра поеду с Рассказом в Кулумбаевку, а потом в Ирнабаевку. По пути возьмем Иртяшское болото, — слышали? В ширину семь верст да в длину двенадцать... Тут настоящий момент дупелей!

— Какое это дело у башкир с заводами? — спрашивал я.

— Один хаос и больше ничего! Наивно вам говорю: хаос, — отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блюдечка. — Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер сто лет назад. Так-с. После его смерти его супруга в тысяча семьсот девяносто втором году предъявляет в земский суд купчую крепость, будто бы написанную еще в тысяча семьсот семьдесят шестом году. А по этой купчей кулумбаевские башкиры продали заводам двадцать тысяч десятин. Понимаете? Почему же сам Бухвостиков не явил эту купчую и не просил о вводе во владение?.. Это раз. Второе: прошло шестнадцать лет, значит, земская давность. Третье: часть якобы проданных кулумбаевскими башкирами земель принадлежит ирнабаевским. Все-таки, несмотря на все это, земский суд утвердил эту купчую.

— Да ведь тут надо знать все законы, как пять пальцев, — говорил Лекандра.

— Хорошо-с, дойдем и до законов. Подождите. Через десять лет, значит в тысяча восемьсот втором году, приезжает для проверки межей правительный землемер. Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в оренбургскую межевую контору, что по спорным землям устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора посылает другого землемера: башкиры ему жалобу, а он их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер; только этот совсем не стал разговаривать с азиятами, а взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли, да, кроме того, внутри межи оставил целую деревню Ирнабаевку. Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъявила свою полюбовную сказку, так и так, обмежеванную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой, а что-де касается замежеванной деревни, так у нас есть условие, по которому ирнабаевские башкиры обязываются оставить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры объявили и полюбовную сказку и условие подложными.

Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав руку Лекандры, продолжал:

— Ну-с, таким манером дело это уже дошло до Гражданской палаты, которая признала, что Бухвостова владеет кулумбаевскими землями правильно, а ирнабаевскими неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели наследники. Хорошо. Они не унялись и пошли хлопотать дальше: жаль было, вишь, уступить ирнабаевские-то земли. В тысяча восемьсот пятьдесят шестом году это дело попало в московскую межевую канцелярию, которая и вырешила: замежеванные у ирнабаевских башкир две тысячи оставить за заводами, а вместо них отмежевать у кулумбаевских башкир эти две тысячи десятин и передать их ирнабаевским.

— Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иваныч?

— По бумажке учил, как «верую». Ну-с, теперь рассуждение должно быть такое: во-первых, московская межевая канцелярия не имела права отводить заочно способные земли; потом, наследники в течение целых пятнадцати лет не приводили его в исполнение, значит, оно опять потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое дельце и выплыло на днях: едет мировой посредник уговаривать ирнабаевских башкир уступить заводам эти две тысячи десятин. Вот я услышал это от Урмугуза и спрашиваю, что они хотят делать. «А не будем, говорит, отдавать, и кончено». «Да ведь вас, говорю, азиатов этаких засудят...»

— Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из присяжных поверенных или опытных адвокатов?

— Обрацались, голубчик, не один, не два раза: адвокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. Потому одно слово: азиаты. Всякий ладит с них сорвать, что можно. Не любят, где плохо лежит. Да-с.

— И ты туда же?

— Ах, господи, господи! Ведь я не обязан даром за них хлопотать... Все мы хлеб едим!

— Смотри, Павел Иваныч, тово...

— Чего тово...

— А понимаете: возьмут этак за хвост да в окошко.

— Ну, это еще старуха-то надвое сказала. Это еще мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед богом... Ах, господи, неужели уж и суда праведного не найдем?! Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса кому следует, ну, и пусть их. Мы пойдем напрямик.

— Где ваше не пропадало!

— Хоть бы и так... Я даже пострадать готов. Наивно вам говорю.

Сарафанов действительно, по своему обыкновению, горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне нужно было пробираться уже восвояси, хотя было немного и жаль расставаться с Шатровым.

— Мне Тонечка говорила, что вы обещали зайти к ним, — проговорила однажды матушка, когда мы с Лекандрой ели у нее какие-то пирожки.

— Это еще что за китайские церемонии, — окрысился Лекандра, но потом стих и даже отправился вместе со мной к капитану. — Ведь вот, подумаешь, какова сила инерции, — резонировал он дорогой, стуча палкой по заборам, — спросите меня, зачем я иду...

— Ведь вы обещали, — уговаривал я.

— Что же из того, что обещал: велика важность!

Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок доброго старого времени: с мезонином, с какой-то колоннадой, с широким подъездом. Время изрядно поработало над этим произведением помещичьего вкуса, и везде проглядывала мерзость запустения: колонны покосились, крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами.

— По Сеньке и шапка, — говорил Лекандра, поднимаясь по шатавшимся ступенькам развалившегося крыльца.

В пустой передней пахло сыростью, и на всем лежал толстый слой пыли. В гостиной нас встретил сам капитан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей трубкой в руках.

— А, господа, очень рад, очень рад... — прошамкал он, усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками и удивительно тоненькими ножками.

Гостиная представляла лавку старых вещей: мебель, картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение которых трудно было угадать, — все это точно было нарочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пастух и пастушка, вышитые по канве шелками; нос у пастуха походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят дрова. Скоро показалась Тонечка.

— Не ожидала от вас такой любезности, — чистосердечно и просто проговорила она.

— У нас редко кто бывает, — шамкал капитан. — Разве отец Михей когда заглянет.

Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил откуда-то заплесневевшие бутылки с какими-то мудреными старинными винами, даже завел баульник с музыкой — вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим гостям, то есть, вернее, своей Тонечке.

— Зачем вы тревожите так свой «восемнадцатый век»? — шутил учитель. Он сегодня, к моему удивлению, уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя старался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка и отломленная ручка у кресла.

— Ничего, это ему полезно, — отвечала Тонечка, кивая головой в сторону отца.

Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила, а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, чтобы учить девочек рукодельям. Когда вопрос зашел о профессиональных школах, она проговорила:

— У Лекандра Михеича был отличный план относительно добавочных ремесленных классов... Не знаю, в каком положении он теперь.

— На точке замерзания, — отвечал Лекандра.

— Потом мы думали устроить образцовую ферму, — продолжала девушка уже во множественном числе, что немного передернуло учителя. — Только это еще в проекте...

— Образцовая ферма имеет для крестьян такое же значение, как школа плавания для щук, — сгрубил Лекандра.

Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, не обращайтесь!» Он пускал густые облака дыма из своей трубки и по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, наводил ухо и с улыбкой говорил:

— Вот и отлично!..

Что было «отлично» — я никак не мог понять, только капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, что капитан способен был пустить по миру сотни людей. Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что его дочь весело говорила и щебетала, как птичка. Этот громкий говор и смех представлял такой контраст со всей окружавшей нас обстановкой почтенной старины: сердитые генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных

рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки своим пастушкам.

— Главное, что обидно, — ораторствовала Тонечка, — за какое вы дело ни возьметесь, вы встретите прежде всего глухой отпор даже со стороны людей, на которых, кажется, можно было рассчитывать. Потом, это отношение свысока ко всему, это желание... как бы вам сказать?.. желание быть маленьким оракулом.

— Если это в мой огород камни летят, то совершенно напрасно, — с улыбкой говорил Лекандра. — Все мы люди, все человеки...

— Ну, вот и всегда так: скажет человек жалкую фразу, и доволен.

Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей возражать. Видно было, что у ней давно что-то накопело на душе и теперь выливалось порывистыми горячими фразами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил больше своего «отлично».

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете, — говорила мне Тонечка, когда вышла провожать нас в переднюю.

— В самом деле, останьтесь, — упрашивал капитан. — Ей-богу, останьтесь! Мы устроим отличное катанье на реке... Понимаете, этакая луна, звезды...

— Ай да «восемнадцатый век», как он разошелся сегодня, — говорил дорогой Лекандра. — И ведь странная вещь, как это иногда случается... Просто, черт его знает!.. Этакое дворянское гнездо, в некотором роде, и вдруг в нем вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на что, а в голове уж и вопросы разные и этакая чуткость... Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалборки да банты... А у меня в голове шумит. Этот «восемнадцатый век» нам подсунил чего-то самого анафемского...

На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками, о. Михай долго пожимал мою руку и самым добродушным образом говорил:

— А ведь, право, остались бы еще погостить... Ну вас гам, с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки будем скоро пробовать...

Когда мой экипаж — простая деревенская телега — тронулся в путь, он еще раз остановил меня:

— Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газетах попадется этакое средство от геморроя... Настрочите как-

нибудь цидулочку! Просто, понимаете, как сядешь на диван или на стул... Хе-хе!.. Ну, прощайте. Дальние проводы, лишние слезы.

— Ну, омморошная! — крикнул Шептун, дергая вожжами. Он взялся отвезти меня до ближайшей станции.

Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в Кулумбаевку. Наша телега бойко покатила по мягкой дороге, и Шатрово скоро осталось позади. Опять кругом потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной чешуей отливала на солнце река Шатровка.

— А это все пашни нашего змея, — проговорил Шептун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы.

— Какого змея?

— А от артиллерии-то...

VIII

Вернувшись в город, я несколько времени находился в самом странном расположении духа. Стараешься делать все так же, как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы войти в прежнюю колею, а нет-нет и унесешься мыслью в избушку Лекандры, в лес капитана. Несколько раз мне казалось, что в передней слышатся шаги о. Михея, но это было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в самых радужных красках. Так прошло месяца три. Начались осенние дожди, и наш N потонул совсем в непролазной грязи, но все-таки осенью город несравненно лучше самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая всевозможные догадки относительно причин его исчезновения, я просто не знал, что думать о нем.

Проходил уже и сентябрь. В воздухе изредка появлялись «белые комары», то есть снежинки. Добрые люди начинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах и дружбе. Известно, что холод заставляет собираться в одну стаю даже и волков. Раз, сижу за самоваром и пробегаю большую столичную газету, как вдруг слышу в передней осторожное покашливание... Я даже вздрогнул: это был Сарафанов. Да, это был он...

— Здравствуйте!..

— Очень рад. Не хотите ли чаю?

— Даже с большим удовольствием.

Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука

и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели уныло и покорно. «Уж не схватил ли он куш?» — мелькнуло у меня в голове, но начать разговор прямо с этого было, конечно, неловко.

— Что вас давно не видать, Павел Иванович?

— Как вам сказать...

— Да вы давно ли сюда-то приехали?

Павел Иванович поднял брови и сказал:

— Я-с... я уж больше двух недель здесь.

— Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы?

— Нет, ничего...

— Да говорите толком, пожалуйста: ну, что вас задержало?

— Я... я, видите ли, сидел в заключении.

Если бы раздался удар грома, — и то не удивило бы меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. Я даже не знал, о чем его спрашивать.

— Да-с, высидел две недельки... Наивно вам говорю!

— Да как вы туда попали?

— Привезли-с... Под конвоем привезли и подвергли заключению.

— А где же у вас лошадь? консервы? лягашик?

Сарафанов только махнул рукой и многозначительно улыбнулся, как это делают драматические актеры.

— Нужно вам рассказать это дело с самого начала, — заговорил он, вытирая лицо платком. — Ах да, была где-то вам записочка...

Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не понимал.

— Вам Тонечка посылала со мной писульку, и Никандра Михеич... они, того, в законе-с... Да, благодарение создателю!

— Этого можно было ожидать.

— По нынешним-то временам?! — При последних словах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь отталкивал от себя обеими руками. — Что вы!! Что вы!! Да нынче... Последние времена и хаос! Нынче не то что неопытную, невинную девушку, этакую бутончик вроде Тонечки, обмануть — это что: можно сказать, людей закаленных истязают и подвергают муке... Чистая грация!.. Неблагодарность и зверство!..

От волнения Сарафанов несколько времени не мог говорить. Мне было жаль старика.

— Я уж сначала вам расскажу, — заговорил он после небольшой паузы. — Помните, как я уехал тогда в Кулумбаевку с Рассказом? Хорошо. Приезжаем, а там уж все на ногах, и посредника ждут с часу на час. Хорошо. Поговорил я кое с кем; Урмугуз, Урукайка и другие — все в ногах валяются. «Павел Иванович, заставь вечно бога молить и не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас замежует». «Хорошо, говорю, ребята, только, чур, делать по-моему. Согласны?» «Согласны, согласны...» Хорошо. «Первое дело, говорю, не подписывайте у посредника никакой бумаги». Ну, это я так, для острастки, потому они всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, значит. «Второе, говорю, если он вас будет приводить в соглашение или склонять на мировую сделку, скажите, что «подумаем». А там мы все разжует и дадим ответ». Все согласны. Отлично. Приезжает посредник. И что же бы вы думали? Дворянин, получил высшее образование, человек с грацией, вполне — и вдруг начинает склонять кулумбаевцев на мировую сделку с Локтевскими заводами... Да разве это честно? Он должен, как посредник, беспристрастно отнестись к делу и даже защитить башкир, потому темнота, хаос... Башкиры на дыбы, шум, гвалт, столарня!..

Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате.

— Так башкиры и не пошли на мировую, хоть ты что хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще он мину будет подводить. И действительно, подвел.. Собрал сход и на сходе предлагает кулумбаевцам объявить ирнабаевцев припущенниками. Башкиры-вотчинники имеют надел в тридцать десятин на душу, а припущенники всего пятнадцать. Вот посредник и говорит кулумбаевцам: «Объявите ирнабаевцев припущенниками, значит, с каждой души отойдет по пятнадцать десятин, мы из них выделим две тысячи заводам, а остальная земля достанется вам». Понимаете? А на сходе целых пять волостей, — тут можно и крупы и муки намолоть. Посредник сейчас вытащил лист: «Подписывайтесь!» Ни одна живая душа не подошла... Хе-хе... Как бараны, так и пятятся, даром что азиаты. Только посредник и этим не унялся, а вечером пошел по избам и давай стращать, что если-де не подпишут листа, то всех в остроге сгноят и землю отымут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им: «Врет посредник, ничего вам не будет,—

закона такого нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку». Ведь правильно я рассуждал?.. Хорошо. А посреднику уж донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. Прихожу. «Вы кто такой? Поверенный от башкир Кулумбаевской волости... Ага, мы с вами еще увидимся. До свидания!..» Уехал. Я пожил денька два и тоже поехал. Думаю про себя, нужно еще с отцом Михеем посоветоваться.

— Ну что, отец Михей здоров?

— Ничего, кланяется... Заложил Рассказ мою лошадку, — помните, киргиз, на левой лопатке тавро, одно ухо короткое; выехали мы этак к вечерку, чтобы по холодку-то доехать до иртяшского болота и взять там утро. Ружье у меня было с собой, лягашик тоже, коробки, припай, сало, — ну весь снаряд, как следует. Приехали, разбили стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стреноженная ходит в двух шагах, лягашик под телегой спит. Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот словно кто железной доской придавил: не могу пошевелить ни рукой, ни ногой... А тут сквозь сон и слышу, что лягашик как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там Рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве мешком и тащится. Я тоже сгрёбся за него, а он, извините меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвался... Так лошадь и угнали, а лягашик мой лежит кверху ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это угнал лошадь? Башкиры... кулумбаевские башкиры... Я за них поехал в город хлопотать, а они у меня лошадь украли. Это уж у них такая воровская замашка: вымажется салом, подползет, — только и видел. Ведь я его в руках держал, — нет, выкрутился, как живой налим.

— Что же вы и Рассказ стали делать?

— Что стали делать... — в раздумье повторял мои слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства дела. — Мы пешком пошли в Кулумбаевку и прямо к Урмугузу. Я вошел в избу, он дома. Рассказал ему, что так и так, — удивляется, азиат, и чуть не плачет от жалости. А я знаю ихнюю натуру и попросил Рассказа пошарить по двору. Урмугуз начал и угощать меня маханиной, это значит, жареной кобылятиной, — мне это просто к сердцу пришло: думаю, да что это я дурака-то с азиатами разыгрываю, ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Урмугуза

за его угощение поганое, Рассказ шасть в избу и тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая... Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол да ее же мясом меня и угощает! Как это вам понравится? У них уж обычай такой: украдет у соседа лошадь, да ей же и угощает. Даже не сердятся... Ну, народец! Поругался я, поругался да с тем и уехал в Шатрово.

Мне было жаль Сарафанова, но эта история с «рысачком» заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам хохотал вместе со мной.

— Ведь чистый хаос вышел, — говорил он, вытирая слезы. — Чего с них, азиятов, возьмешь? У меня собака лучше живет, чем они. Наивно вам говорю... Натрескаются своего кумысу да маханины и спят всей деревней. Хоть трава не расти! А уж если украсть, — кожу с живого сдерут да тебе же ее продадут.

— Ну, а дальше?

— Дальше-то... Приезжаю это я в Шатрово, отец Михай чуть на руках не ходит: «Нигилист женится...» — «Да на ком?» — говорю. «Ах, говорит, какой ты непонятный человек, на Тонечке». Ну, я даже перекрестился, потому что, помните, какие слова Никандр Михеич выговорил касательно Анки.

— А что Шептун?

— Шепчет да Анку ругает. Ведь умный старичонко, а вот, поди ты, какую слабость в себе имеет. Да-с. Так вот-с мы этаким манером, честным пирком да и за свадебку. Отец Михай и меня не пустил. «Кожу, говорит, с тебя сниму, как башкиры с твоего киргиза... Освежую!» Большие шутники отец Михай. Ну, горе-то у меня свое, да и обидеть не хотелось — я прохлаждаюсь на свадьбе. А нужно вам сказать, что Никандр Михеич очень грациозно сделали: «Никакого мне, говорит, вашего приданого, ни денег за женой, чтобы ни боже мой...» А капитану это и на руку: в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь-то родную, да еще какую дочь: и уменькая-то, и хорошенькая-то, и добренькая... Суперфлю!.. Никандр-то Михеич хотел было и свадьбу сыграть по-нонешнему: обвенчаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то было, — отец Михай и думать не велел. Ну, хороводимся этаким манером на девишниках да на столованье, а тут мировой посредник со становым да с урядником — шасть на свадьбу. Отец Михай радехонек: ему бы только человеческое обличье было да

пить мог — вот и дорогой гость. Я сижу этак в уголке, а посредник, как увидал меня, сейчас становому: «Шу-шу-шу...» А я опять сижу да еще этак про себя думаю: «Видно, мол, солоно я тебе пришелся». Наивно вам говорю: сижу это и думаю... Потом, знаете, при всей честной компании взяли меня, раба божия, под ручки, — прямо меня в повозку. Отец Михей и капитан засуетились было за меня: куда тебе — и приступу нет! Ну, думаю, пришло мое докончание; а все-таки я прав и готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, так и волокут в город. По деревне едешь — даже совестно, все пальцем указывают... Наивно вам говорю! И сижу я таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поношение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто нигилиста... Всякий, значит, свое мелет. А я жду только одного, скоро ли меня к прокурору... И что бы вы думали: отсидел я две недели, потом ведут меня к полицмейстеру... Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и говорит: «Ты у меня смотри, художник... Я тебе пропишу таких дупелей, что позабудешь дорогу к своей избушке, не то что к башкирам!» Ну-с, вышел я... Значит, опять вольная птица. До дичек этак моросит, где-то к обедням перезванивают, люди бегут по своим делам... И так мне это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот к вам и пришел...

— А консервы ваши где?

— Казачки скушали... Грация!

КАРА-ХАНЫМ

(Рассказ)

I

Ахметка страшно голодал. Он постоянно хотел есть и постоянно думал об еде. Не было такого дня, когда голод не мучил бы маленького башкирского «малайку». Да и все малайки голодали, особенно по зимам, когда взрослые мужчины уходили из Юсбашевой и кормились по русским деревням, а в Юсбашевой оставались только старики, женщины и дети. Ах, какое страшное время зима!.. У Ахметки сжималось от страха маленькое детское сердце, когда в воздухе начинали кружиться первые зимние мухи-снежинки. О, он отлично знал, что будет потом. Ему всегда казалось, что зима — это смерть холодная и голодная, когда все занесено глубоким снегом, когда дует такой холодный ветер и когда степные волки оцепляли кругом башкирскую деревушку и выли все ночи напролет. Волки ведь тоже страшно голодали зимой и выли с голоду. Ахметка часто прислушивался к этому волчьему вою, и ему казалось, что это воют не волки, а голодные люди. Ему и самому хотелось выть...

Когда Ахметке приходилось уже очень плохо, он старался думать о том счастливом времени, как он сделается большим, настоящим большим башкиром. О, тогда он будет делать то же, что делал его отец, Карагуз. Как только полетят белые мухи, большой Ахметка уйдет из Юсбашевой. Пусть старики, женщины и малайки дохнут от голода, а он прокормится где-нибудь около русских. Хорошо быть большим... А когда наступит весна, он вернется в свою Юсбашеву и будет греться на солнышке, ходить по гостям, воровать лошадей и колотить жену. Так делал его отец Карагуз

Последняя зима особенно тяжело досталась Ахметке. Такого голода еще не бывало. В прежние время мужчины все-таки нет-нет и привезут откуда-нибудь муки или чаю, или целую лошадь, а нынче никто и ничего не привозил, потому что был неурожай, и по русским деревням тоже голодали. В избушке Карагуза, стоявшей на краю деревни, не было ничего еще с осени, с заморозков. Старуха бабушка Туктай говорила:

— Умирать будем... все умирать будем...

Бабушка всегда говорила что-нибудь неприятное, потому что проголодала целых шестьдесят лет. Она была вся седая, сгорбленная, беззубая, плохо видела и плохо слышала и сохранила из всех чувств только одно — чувство голода. По вечерам она любила петь старинные песни, из которых одна особенно запомнилась Ахметке. В этой песне говорилось о том счастливом времени, когда у всех башкиров были лошади, когда все башкиры были сыты, и куплеты песни заканчивались словами:

Если каждый день будешь сыт,
То разоришься;
А если в неделю хоть раз не наешься,
То помрешь.

Бабушку Туктай не любили в деревне, потому что она всем предсказывала несчастье. Подойдет к избе, покачает седой головой — и конец. Смотришь, к весне изба и стоит пустая. Вся деревня быстро вымирала, и между избами пустыри увеличивались с каждым годом, точно у стариков во рту, когда выпадают зубы. Целые семьи башкир вымирали прямо от голода и тех болезней, которые связаны с такими зимними голодовками. Когда мужчины-башкиры весной возвращались с зимней кормежки по русским деревням, то часто не находили своих семей и обвиняли в несчастии злую бабушку Туктай и даже не раз собирались ее убить. И, наверно, ее убили бы, если бы не старый мулла Мисай, который говорил:

— Не тронь старуху... Она не виновата, а виноваты вы сами, потому что не хотите работать и бросаете свои семьи по зимам.

Башкиры почтительно выслушивали муллу Мисая, а про себя думали другое. «Хорошо говорить это старику, когда у него все есть — и лошади, и хлеб, и русские деньги в сундуке». Мулла Мисай был единственный богатый человек

в Юсбашевой, и все ему завидовали, потому что мулла Мисай каждый день был сыт. Зачем же ему было уходить из Юсбашевой, когда он мог и дома наесться, сколько хотел. Первый вор в Юсбашевой, знаменитый Джаик, говорит прямо:

— Хорошо жить на свете мулле Мисаю, а только он не хочет понять, что все не могут быть муллами... Он думает, что легко воровать лошадей, — пусть попробует. Трудней этой работы нет... За работу платят деньги, а за воровство бьют... Ух, как больно бьют...

Малайка Ахметка завидовал Джаику еще больше, чем богатому мулле Мисаю. Мулла проест свои русские деньги, и у него ничего не останется, а Джаик проест краденое и снова украдет. О, когда Ахметка будет большим, он тоже будет воровать лошадей. Раз Ахметка сказал Джаику:

— Джаик, возьми меня вместе воровать лошадей...

— Ты еще мал, Ахметка.

— Как мал? — обиделся малайка. — Я уж восемь зим голодал...

— Ну, поголодай еще восемь, тогда и будем воровать вместе.

Этот ответ страшно огорчил Ахметку, и он плюнул на Джаика. Голодать еще восемь лет — это верная смерть.

Итак, зима была ужасная. В трех избах все вымерли. В избе Карагуза питались осиновою корой, гнилым деревом и березовой губкой, перемешивая их с отрубями. Мать Ахметки, Юныш, варила все это в чугунном котелке, и получалась горькая каша, от которой потом болел живот. Сначала ела бабушка Туктай и мать Юныш, а остатки отдавали детям — Ахметке, его сестре, Оголык, и маленькому трехлетнему братишке, Мамыру. Если больших не было, Ахметка отнимал у брата и сестры эту горькую кашу и съедал все один. Он был сильнее их и считал себя поэтому правым. Если Оголык и Мамыр жаловались на него матери, он пребольно их колотил, и они молчали, не желая получить вместо осиновою каши побои. И все-таки Ахметка страшно голодал и постоянно думал об еде. Раз он попробовал украсть курицу у муллы Мисая, но работник Азанчей поймал его и пребольно высек. Ахметка после этого опыта пролежал целых три дня и решил, что гораздо выгоднее воровать лошадей, как делает Джаик: лошадь не кудахчет, как проклятая курица, да еще сама же и увезет своего вора.

Страшная была зима, а весна наступила еще страшнее!

В Юсбашевой умерло человек тридцать и мулла Мисай жаловался, что устал хоронить. Он и без того плохо ходил, а тут провожай каждого покойника на башкирский могильник.

— Это вы назло мне умираете... — ворчал мулла Мисай.

Наступил апрель. Солнышко начинало припекать по весеннему. Снег быстро таял, и показались первые проталинки. В прежнее время на такие проталинки выгоняли кормиться лошадей, которые тоже голодали по зимам и к весне едва держались на ногах. А теперь на всю деревню оставались всего две лошади у мурлы Мисая.

В избе Карагуза не было даже похлебки из отрубей, потому что Юныш лежала больная. Она родила маленькую девочку, Буртэ, и не могла поправиться после родов. Бабушка Туктай возилась с маленькой Буртэ и, когда та кричала от голода, напевала ей:

Зачем ты родилась, маленькая Буртэ?
Разве мало голодала твоя бабушка, маленькая Буртэ?
От тебя лежит больная твоя мать Юныш, маленькая Буртэ...
Лучше было тебе совсем не родиться, маленькая Буртэ!

Когда уж очень плакала голодная маленькая Буртэ, бабушка уходила к мурле Мисаю и говорила:

— Девчонка умирает, мурла... У матери нет молока, а девочка хочет есть. Она еще совсем глупая, маленькая Буртэ, и не хочет ничего знать.

Мурла Мисай каждый раз ужасно сердился, бранил выжившую с ума старуху и ничего не понимавшую маленькую Буртэ и все-таки давал маленькую чашку коровьего молока и какой-нибудь сухарь.

— Вы назло мне родитесь и умираете, — ворчал он. — Не могу я всех кормить и поить.

Бабушка Туктай была хитрая и ловко прятала полученное молоко от всех. Ахметка напрасно ее подкарауливал каждый раз, когда она ходила к мурле. Он даже ночью просыпался и искал, куда бабушка прячет еду, но бабушка почти не спала по ночам и колотила его палкой. Поэтому Ахметка ненавидел маленькую Буртэ и, когда не было бабушки, щипал ее.

— Вот тебе, скверная девчонка, которая пьет молоко муллы Мисая! Вот еще тебе, скверная девчонка, из-за которой бабушка Туктай бьет Ахметку палкой...

Вся деревня страшно голодала, и с утра перед избой муллы Мисая собирались голодные малайки. Все просили хлеба, плакали и выли, как гнездо голодных волчат. Сытый мулла Мисай, хотя и привык к голодному вою малаек, но все-таки было тяжело слышать его целые дни. Старик расстилал свой коврик, становился на колени и начинал молиться. Его работник Азанчей выходил на улицу и гнал малаек.

— Уходите прочь, негодные... Вы мешаете молиться мулле Мисаю!..

Все-таки иногда мулла выкидывал корочку в окно: но это было еще хуже, потому что поднималась ужасная драка. Дрались все и все-таки оставались голодными. Больше всего мулла не любил, когда голодные дети начинали карабкаться к его окну, подсаживая друг друга. Он слышал, как детские ручки царапались по бревнам, точно лезли голодные мыши, и это царапанье раздражало старика. Он слышал его даже по ночам и опять молился. Мулла Мисай был совсем не злой и рассуждал, как рассуждают все сытые люди:

— Если я отдам голодным все, что имею, то они будут сыты всего на одну неделю и потом опять будут голодать, да и я с ними вместе.

С наступлением весеннего тепла бабушка Туктай каждое утро уходила в поле и копала какие-то коренья. Она одна знала их, а больше никто. Часть этих кореньев старуха съедала прямо сырыми сама, другую часть отдавала больной дочери Юныш, а остатки варила детям. Вся беда заключалась в том, что не хватало в доме соли, и с бабушкиной похлебки ребят тошнило. Вообще соль в Юсбашевой составляла роскошь, и ели без соли. У других и такой похлебки из кореньев не было.

Каждую весну вся Юсбашева жила мыслью о Джаике, и все говорили:

— Вот приедет Джаик и всех накормит.

Обыкновенно Джаик приезжал на краденой лошади, колот ее и угощал всю деревню. Джаик был байгуш, т. е. бобыль, у него не было ни кола, ни двора, но он любил кормить других. Украдет, а все-таки накормит. Нынче в Юсбашевой только и говорили, что о Джаике. Вот приедет

Джайк и всех накормит. Джайк украдет лошадь и устроит пир для всех. Хорошо поесть горячего махана (вареное лошадиное мясо), салмы (лапша с лошадиным мясом) и бишбармаку (вареное лошадиное мясо с клецками). Но Джайк вернулся и без лошади. Он пришел ночью пешком, больной и сам голодный. Целую зиму он просидел за воровство в остроге, обессилел и ничего не мог добыть. Пробовал по дороге украсть лошадь, но его поймали, избили до полусмерти и отпустили еле живого. Юсбашева пришла в отчаяние. Последняя надежда была потеряна. Другие башкиры и не думали возвращаться на родное пепелище, потому что не к чему было и возвращаться.

Джайк пришел к бабушке Туктай и сказал:

— Я умираю, старуха... Лечи меня, а вылечишь, — я украду трех лошадей и всех накормлю.

— Хорошо, я тебя вылечу, Джайк, — сказала бабушка. Она каждый день растирала больного Джайка, поила какими-то травами, а Джайк лежал в избушке Карагуза и только стонал. Ахметка смотрел на него и перестал уважать. Какой же это башкир, который не успел украсть лошади?

— Джайк, ты дурак... — серьезно проговорил раз Ахметка, слушая стоны Джайка. — Ты стонешь, как женщина. Когда я буду большим, так покажу тебе, как нужно воровать лошадей.

Джайк молчал. Он лежал с закрытыми глазами и бредил. Ему все представлялась погоня... Вот его нагоняют, совсем уже близко, десятки рук хватают его за лохмотья, и он чувствовал, как сыплются градом на него удары. Никакая лошадь не вынесет того, что выносил Джайк...

Так он пролежал долго в избушке Карагуза, пока бабушка Туктай не сказала ему:

— Ты будешь жив, Джайк... Смотри, не забудь, что обещал.

— Украду, бабушка... Что хочешь, то и украду.

III

Наступила настоящая весна. Вернулись в Юсбашеву все мужчины-башкиры, большею частью пешие. Вернулся и Карагуз. Он был такой оборванный, голодный и злой и прежде всего накинулся на Джайка.

— Ты что тут разлегся, дармоед? — накинулся Карагуз.

— А я уйду, Карагуз... Мне лучше. Приходи на угощение...

Джаик решительно не знал, как и где он добудет обещанное угощение, но раз обещал, — надо добывать. Он начинал уже ходить, опираясь на палку, и целые дни лежал на весеннем солнышке. К нему быстро возвращались силы, точно он пил этот животворный степной воздух.

Случай скоро представился.

Раз лежит Джаик на завалинке и видит, что по улице едет русская телега, а в телеге сидит какая-то барыня. Вся Юсбашева встрепенулась. Никто обыкновенно не заезжал в эту забытую богом башкирскую глушь, даже начальство объезжало мимо, а тут едет телега, и в телеге сидит барыня. Малайки сейчас окружили ее и закричали благим матом.

— Кара-ханым! Кара-ханым!

Малайки еще в первый раз увидели женщину, одетую во все черное. Башкирки носили яркие ситцы или оставшиеся от них тряпицы.

Приехавшая барыня спросила старосту, и телега остановилась у башкирской избы без крыши, с одним окошком и деревянной дымовой трубой. Барыня удивилась, что такая изба у старосты, а привезший ее русский мужичок объяснил:

— Все башкиры так живут, барыня. Ни кола, ни двора.

Еще больше удивилась Кара-ханым, когда узнала, что во всей деревне нет ни хлеба, ни молока, ни курицы. Все пришлось выпрашивать у муллы. Но башкиры удивились не меньше, когда узнали, что Кара-ханым приехала устраивать у них школу. Зачем им русская школа? А потом, чему может научить женщина? В татарских школах учат муллы. Башкиры долго толковали, шумели, кричали и пришли, наконец, к мулле, чтобы посоветоваться с муллой.

— У нее есть бумага, — объяснил мулла. — Пусть открывает... Только ходить никто в русскую школу не обязан. Кто хочет, тот и пойдет. Да и учить она будет одних девчонок.

Кара-ханым прожила в Юсбашевой несколько дней и обошла все башкирские избы. Чем ближе она знакомилась с башкирской жизнью, тем больше удивлялась, как могли жить люди при такой невозможной обстановке. Вместо изб стояли какие-то лачуги, почти все без крыш, с деревянными трубами и без всяких надворных построек. О каких-нибудь огородах не было и помину. В избах царил страшная пусто-

та. Одеты были кое-как только большие башкиры, а башкирята до двенадцати лет бегали голыми. Эти несчастные дети доводили ее до слез своими просьбами хлеба и голодными слезами, точно она попала в какое-то царство смерти. Что было с ней съестного, роздано было в тот же день. Остался один чай, причем большие башкиры самым бессовестным образом отгоняли женщин и малаек.

— Вот бессовестные, — возмущался мужичок-кучер. — А вы, барыня, гоните их в шею...

А сколько лежало по избушкам больных!.. Кара-ханым ходила и что-то записывала. Ужасающая бедность вымиравшей башкирской деревни совершенно ее ошеломила.

— Какая им тут школа, барыня, — говорил мужичок-кучер, относившийся к башкирам презрительно, как к лентяям и ворам. — Работать не хотят, вот и помирают голодной смертью. Ребятишек, понятно, жаль, как режут они с голоду... Ну, им уж не школу надо, а хлеба привезти, Христа ради, да одежки. Нехорошо это, когда девочки по двенадцатому году нагишом бегают.

Кара-ханым была другого мнения и думала, что школа прежде всего. Она вообще смотрела на башкир, как на детей... Даже неприятный случай, которым закончилось ее короткое пребывание в Юсбашевой, не разубедил ее в этом. Дело было так. Она прожила в Юсбашевой целую неделю и собиралась уезжать, как пришел к ней Джаик и сказал:

— Кара-ханым, ты видела, как голодают башкиры, а завтра посмотри, как они пируют... Весело будет. Джаик целую лошадь зарежет.

Учительницу это предложение заинтересовало. Отчего же не подождать один день?

— Пустой разговор, барыня, — уверял мужичок-кучер. — Какая там еда... Целую зиму гложут осиновую кору, как зайцы. Одно у них положение...

Учительница все-таки осталась. На другой день, недалеко от башкирского могильника, горел громадный костер, а около него сошлись все башкиры из Юсбашевой. Все ждали, чем будет угощать Джаик, который пригласил на праздник всю деревню. Когда пришла Кара-ханым с своим кучером, Джаика еще не было, и только кипела вода в двух котлах.

— Ну, а где еда? — спрашивал мужичок.

Ждать пришлось недолго. Действительно, скоро показался и сам Джаик. Он нес вместе с Карагузом мясо только

что освежеванной лошади. Толпа башкир так и ахнула. Больше полпуда никто не едал свежего мяса, а тут целая лошадь. Вся деревня будет сыта.

— Смотри, Кара-ханым, — хвастался Джаик.

Учительница осталась до конца башкирского пира. Лошадиное мясо было сварено в двух котлах. Это и был махан. Вместо десерта были поданы лошадиные кишки, начиненные лошадиным жиром. Последнее лакомство могли есть только одни башкиры, потому что оно напоминало колбасу из гуттаперчевого пожарного рукава. Учительницу неприятно поразил самый способ угощения: сначала ели одни мужчины башкиры, остатки после них доставались женщинам, и только остатки этих остатков были отданы детям. Нужно было видеть, как набросились голодные малайки на объедки, точно голодные собачонки. Они рвали друг у друга, дрались и визжали.

— Ох, и смотреть-то тошнехонько! — ворчал мужичок. — Пора нам, барыня, уезжать...

Когда Кара-ханым вернулась в свою квартиру, оказалось, что ее лошадь пропала. Не было сомнения, что Джаик выкрал ее и зарезал. Кучер-мужичок пришел в страшную ярость и грозил отдать под суд всю деревню.

— Говорил я вам, барыня... А я-то стою, смотрю, как они мою собственную лошадь жрут. Это Джаик подстроил... Я с ним судиться буду. В острог посажу...

— Я тебе заплачу, что стоит лошадь, — спокойно ответила учительница. — А кто украл лошадь — мне все равно.

IV

Осенью в Юсбашевой была открыта школа для девочек-башкирок. Сначала поступили всего две девочки, которых привели матери голыми. Когда Кара-ханым одела их и накормила, вся деревня всполошилась. На следующий день школа находилась в осадном положении. Сразу было принято тридцать девочек, и больше не хватало места. Башкирки-матери тащили грудных ребят и не могли понять, почему их не берут в школу. Башкирята-мальчики тоже негодовали, чуть не вышел настоящий бунт. Пролез один Ахметка, вызвавшийся носить воду, все убирать и служить сторожем. Правда, что он в первый же день украл у Кара-ханым ножницы, резиновые калоши и зонтик, но она сделала вид, что не заметила этого, и сказала Ахметке:

— Я не могу даже подумать, что это сделал ты, Ахмет.

— Не я, Кара-ханым... Это сделал злой человек.

— Непременно злой... Если ты когда-нибудь узнаешь, кто этот злой человек, пожалуйста, ничего не говори мне. Понял? Мне будет больно его увидеть...

На следующий день у Кара-ханым пропала записная книжка, чайная ложка и дорожная кожаная сумка.

— Ахмет, скажи злому человеку, что я на него не сержусь, а мне его жаль, — сказала учительница. — Его будет мучить совесть... Я приехала сюда делать добро, а злой человек меня огорчает.

— Это не я, Кара-ханым, — ответил Ахметка. — Я буду караулить злого человека...

— Сильней карауль, Ахмет, а когда его узнаешь, — ничего не говори мне. Я совсем не желаю знать, как его зовут.

Ахметка решительно не знал, что ему и думать о Кара-ханым. Очевидно, он ничего не понимал. Он продолжал красть все, что ни попадалось ему под руку, и лгал в глазах учительницы без зазрения совести. Раз он попался с поличным, но и тут Кара-ханым ничего не сказала ему.

— Да она просто слепая дура, как бабушка Туктай! — решил он. — Только та больно бьет палкой.

И вся Юсбашева думала почти так же, до муллы Мисая включительно. Совсем глупая эта Кара-ханым... Только вот кормит девчонок и еще одевает. Лучше бы кормила уж мальчишек. Бабушка Туктай тоже ходила в школу посмотреть, что там делается, и немало дивилась. Девочки учились русской грамоте и разному ремеслу — шили, вязали.

— Откуда ты, Кара-ханым? — спрашивала старуха.

— Я издалека, бабушка...

— Почему ты к нам пришла? Бедных и голодных везде много...

— Пришла я к вам потому, что другим бедным кто-нибудь помогает, а вам никто не помогает.

Бабушка Туктай ничего не понимала. Кара-ханым посадила ее за стол и поила чаем.

— Не понимаешь, бабушка?

— Нет, не понимаю...

— Я тебе объясню... У меня было большое горе. У меня было двое детей, и бог их взял к себе.

— О, о!.. — жалела старуха-башкирка. — И наших маляек тоже бог берет...

— Да... И я подумала, что больше не стоит жить, бабушка, что не для чего жить, что лучше и самой умереть. А потом я поехала к вам и вижу, что я еще нужна... Ах, бабушка, я умирала и воскресла. Наш бог велит всех любить, а любовь — жизнь... Я просила у бога смерти, а он велел мне жить...

Бабушка Туктай все-таки не понимала. Она знала только своего аллаха, который посылал людям тяжелые испытания. Мулла Мисай все знает, чего хочет аллах.

И вся Юсбашева тоже не понимала, что такое Кара-ханым и что ей за охота учить, одевать и кормить башкирских девчонок. Никогда еще ничего подобного не бывало. Поговаривали даже, что не колдунья ли она, — все еще не могли привыкнуть к ее черному платью. Но тут вступился уже мулла Мисай. Он читал бумагу, с которой приехала Кара-ханым, и говорил о ней с самим урядником.

Помещение для школы было очень плохое, и Кара-ханым зимой выстроила новую большую школу с настоящей кирпичной трубой и настоящими окнами. Крыша была устроена железная, двор обнесен высоким забором, на дворе поставлены деревянные службы, а за двором огорожено большое место для огорода. Башкиры собирались смотреть на эту застройку каждый день и дивились.

— Много денег у Кара-ханым... — толковали они в изумлении.

Кара-ханым уезжала из Юсбашевой в город только на рождество и опять вернулась, но уже не одна, а с седым стариком-отцом, который ходил с палочкой. Он все осмотрел и все похваливал. Сам мулла Мисай пришел к нему на поклон и сказал, что это большой господин.

— У! какой большой... Много денег у большого господина, а дочь одна.

Еще раз подивились башкиры, особенно, когда большой господин сам обошел все избы и одел почти всех детей, а маленькую Буртэ взял на руки и долго смотрел на нее и поцеловал. Мать Юныш даже испугалась. Не было бы худа... Бабушка Туктай думала другое. Кара-ханым часто заходила в избушку Карагуза, как самую бедную, и по целым часам возилась с маленькой Буртэ. Она ее сама кормила, переодевала и носила на руках. Только в первое время и Юныш, и бабушка Туктай страшно перепугались, когда Кара-ханым вздумала вымыть Буртэ. Как стояла Юсбашева, никто еще не мылся, а тут Кара-ханым сама

принялась мыть Буртэ мылом и губкой. Потом Юныш и бабушка Туктай согласились, — что же, пусть приходит и моет Буртэ, если это ей нравится.

Когда приехал большой господин, старуха Туктай стала бояться, как бы Кара-ханым не забыла маленькую Буртэ и не стала возиться с другими ребятами. Но Кара-ханым осталась верной, и, когда отец держал Буртэ на руках, шепнула ему:

— Папа, мне кажется, что Буртэ походит на мою Аню...

У Кара-ханым были слезы на глазах, а большой господин поцеловал маленькую глупую Буртэ, так смешно тарашившую на него свои черные глазенки.

Малайка Ахметка, конечно, воспользовался приездом большого господина и для первого опыта украл у него перочинный ножик. Потом исчезла гребенка — предмет уже совсем ненужный для бритой головы Ахметки, потом подтяжки, потом маленькое дорожное зеркальце. Большой господин хотел рассердиться, но Кара-ханым что-то шепнула ему, и он только посмотрел на Ахметку и улыбнулся.

Накануне отъезда большого господина Ахметка видел удивительную сцену. Кара-ханым, которая ела каждый день, сидела и плакала, а большой господин говорил ей:

— Наташа, нужно радоваться, а не плакать. Господь услышал твое материнское горе и послал великое утешение... Много женщин тебе позавидуют.

V

Кара-ханым делала настоящие чудеса. Во-первых, ей из города привезли двух коров и трех лошадей, а потом она накупила в русских деревнях овец, куриц, уток и гусей. Все это хозяйство повел тот самый кучер Матвей, у которого башкиры съели лошадь. Он переселился к Кара-ханым со старухой-женой. Во-вторых, Кара-ханым завела большой огород. Под ее наблюдением всю весну работали ученицы. Они и гряды делали, и разный овощ сажали, и поливали его. В Юсбашевой не было ни одного огорода, и башкирки не имели понятия ни о картофеле, ни о луке, ни о капусте, ни об огурцах. Башкирам еще случалось есть овощи в русских деревнях, а башкирки дальше своей Юсбашевой не бывали.

— Тоже, бабы называются, — ворчал Матвей. — Ни репы, ни гороху ребятишкам не умеют посадить...

В виде опыта Кара-ханым арендовала у башкир десять десятин земли и сделала пробный посев пшеницы, ржи, овса, ячменя и проса. Работал на поле, главным образом, Матвей, а в помощь ему Кара-ханым нанимала подростковую малаек.

— Уж эти помещики, — ворчал Матвей. — Одним словом, кормильцы... У себя-то фунта земли не умеют вспахать.

— Малайки научатся и тогда свою землю будут пахать.

Матвей никак не мог позабыть, что башкиры съели у него лошадь, и постоянно ворчал. «Барыня, конечно, по своей доброте кормит их и одевает, а все равно проку не будет. Земли-то пустоет кругом вон сколько, а они с голодудохнут. Только и работают одни апайки (апайка — жена), а мужики ничего не делают. Какая же это бабья работа, чтобы, например, пахать или косить?» В Матвее сказывался коренной русский пахарь, всей душой ненавидевший башкирскую лень и детскую беспечность.

Вся Юсбашева целое лето следила за Кара-ханым и окончательно удивилась, когда осенью у нее было уже все свое: больше десятка ягнят, молоденькая телочка, десятка три молодых кур, гуси, утки. А сколько в огородах было собрано всевозможных овощей, а с полей хлеба, овса и проса! Без малого школа была почти обеспечена своим трудом, а наступившая зима была не страшна. И сама Кара-ханым повеселела и точно помолодела. Она все больше и больше убеждалась, что только одна школа может научить башкир труду, и что они не будут вымирать от голода, когда научатся работать. Из маленьких башкирок вырастут большие, а из малаек — настоящие башкиры, которые не будут бросать свои семьи по зимам.

Поздней осенью, когда показался первый снежок, в школу пришел Джайк. Его нельзя было узнать: худой, бледный, он едва держался на ногах. Половину года он опять просидел в тюрьме за конокрадство, а потом его опять били. Вся беда была в том, что правая рука Джайка отказывалась действовать и теперь он не мог даже заниматься воровством.

— Чего тебе понадобилось? — сурово спрашивал Матвей.

— А мне Кара-ханым нужно... — ответил Джайк, глядя в сторону.

— Какая такая надобность случилась?

— А я пришел к ней... Пусть возьмет и меня учиться в школу.

— Да ты сбесился, бритая башка. В школе девчонки совсем махонькие учатся...

Джайк понимал только одно, что не ел три дня. Когда Кара-ханым вышла к нему, Джайк сказал:

— Кара-ханым, Джайк всю жизнь воровал... Джайка всю жизнь били... Джайк и твою лошадь тогда украл. А теперь Джайк умирает с голоду, возьми его к себе учиться. Друга всякий любит, а ты пожалей врага.

Кара-ханым подумала и сказала:

— В школу я тебя не могу принять Джайк, потому что моя школа для девочек. Я тебя возьму сторожем...

Джайк был в восторге. Никто у него не украдет соломинки. Джайк знает, кто ворует, и никого не пустит близко. Джайк теперь сам будет ловить воров. Матвей поворчал, но тоже согласился с барыней: уже на что лучше сторожа, как завзятый вор. Этот устережет... И, действительно, Джайк принялся горячо за дело и через неделю привел за ухо Ахметку, который по привычке украл полфунта чаю.

— Вот, Кара-ханым, вор... Джайк его уже наказал.

— Я тебя об этом не просила, Джайк, — ответила Кара-ханым и даже рассердилась. — Он еще не понимает, что делает нехорошо. Будет большой и поймет сам...

Ахметка ужасно плакал и даже укусил руку Джайку, а потом пришел вечером к Кара-ханым и сказал:

— Ахметка больше не будет воровать, Кара-ханым... Когда маленький Ахметка был голоден, в нем сидел большой злой человек. И в Джайке тоже.

Прошло три года. Школа продолжала существовать. Хозяйство все увеличивалось. Да и в башкирских домах кое-где появлялись первые признаки хозяйства. Где маленький огород, где куры, где овцы. Не вдруг все делалось, а шло помаленьку. Башкиры все-таки не понимали, что за человек Кара-ханым, а больше всех не понимала старая бабушка Туктай, которая уже не могла ходить и лежала в своей избушке и спокойно ожидала смерть. По ночам Туктай почти совсем не спала. Лежит и думает. Чаще всего она думала о Кара-ханым, которая посылала ей и чаю, и молока, и белого хлеба. Раз, когда Ахметка принес ей от Кара-ханым разной еды, она сказала:

— Скажи Кара-ханым, что старуха Туктай завтра умрет. Пусть придет Кара-ханым... Мне надо с ней поговорить.

Кара-ханым пришла в тот же день.

— Кара-ханым, мои глаза уже не видят тебя, — заговорила бабушка Туктай, — но еще лучше видит тебя мое сердце... Я завтра умру... Придет время, и ты умрешь. Что тогда будет с твоей школой?

— Придет другая Кара-ханым и будет делать то же...

Бабушка Туктай поняла все, и ее не видевшие ничего глаза заплакали. Она ошупью нашла руку Кара-ханым, прижала ее к сердцу и сказала:

— Наклонись ко мне, Кара-ханым, я теперь поняла все...

Когда Кара-ханым наклонилась, Туктай прошептала:

— Я теперь знаю все... все... Тебя послал к нам аллах, Кара-ханым. Поэтому ты и пришла к башкирам, а не к русским.

— Бог один для всех, бабушка Туктай, — ответила Кара-ханым.

— Нет, нет... Я знаю теперь все...

ОХОНИНЫ БРОВИ

(Повесть)

Часть первая

I

В нижней клетки усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак¹ Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея, — жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. — Нещадно он бил меня шелепами²... А еще измором морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальною яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

— И долютовал, — отвечал слепец Брехун. — Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится, — угнетенно соглашался Арефа и тяжело вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

¹ Беломестный казак — некрепостной крестьянин, несущий гарнизонную службу за свой земельный надел.

² Шелепы — мешки с песком. (Прим. автора).

— Немошь у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли? — ядовито спрашивал Брехун. — Может, дьячиха нажалась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немошь у меня к зелено вино, — объяснял дьячок, — а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет! Ну, игумен Моисей и истязал меня многожды...

— И шелепами, и плетями, и батошьем?

— Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал да под духовные штаты¹ и угодил. Вотчина монастырская огромная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двой рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двенадцать тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ состояло и одного оброка тыщу рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети² не оставили, а тут еще перед

¹ Духовные штаты — указ 1764 года, по которому у монастырей были отобраны крепостные крестьяне: они были перечислены в разряд государственных крестьян и получили пахотную землю, принадлежавшую ранее монастырям.

² Ч е т ь — четверть. (Прим. автора).

самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай! — недоверчиво ворчал Брехун. — Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры¹, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубаше и таких же портах. Дьячок Арефа и слепец Брехун вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитания по Зауралью и Оренбургской степи.

— Бывал я и в степе, — задумчиво говорил дьячок. — С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей труденько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, — по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую

¹ Имеется в виду башкирское восстание 1737—1739 гг.

вотчину, — домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было уштититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого иулия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется, — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, — объяснял Брехун, — крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «запечная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

— Што, не глянется? — смеялся Брехун. — Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а катом¹ у него башкир Кильмяк — такая собака, што не приведи бог во сне увидеть... С одного размаха может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуехтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк? Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа, при-

¹ Кат — палач. (Прим. автора).

слушиваясь к заплечной работе. — **Што** же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самым грозным игуменом Моисеем как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса запертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, а Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро вместо усатой солдатской рожки в оконце показалось румяное девичье лицо.

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! — откликнулся Арефа, подходя к оконцу. — Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон накчался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомяну в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

— Нет... Пономарь-то наш Герасим, помнишь? — он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом постригется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конечно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить. А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, батю», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика-отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзны, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно, — ответил Арефа не без гордости. — Дочерью прежде звали...

— Что-то не похожа на тебя, — усомнился Белоус.

— Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа. — Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой», — «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». — «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак»... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, — ну, один кыргыз меня копьем к земле приколоч, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, — мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предо-

ставили колотого. Полгода я лежал так-то, — нога у меня наскрозь копьём пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ушитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съезжил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, — где только она набрала таких жалких бабьих слов!

— Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке. — Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат, — очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

— Не застуй¹, девка... — заметил он ей всего **одни** раз. — Без тебя тошно.

¹ Не застуй — не заслоняй света. (Прим. автора).

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермогеном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отогнать ее.

— Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

— Я не девка, а отецкая дочь, — бойко отвечала Охоня.

— Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливоенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленные рыла!.. — кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. — Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могучая была дьячковская дочь и надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — слышался из подземелья знакомый молодой голос. — Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат. — Что за драка?

— Вот девка увязалась, — жаловался капрал. — Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи.

Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую дочь! — кричала Охоня. — Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. — Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он. — А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глумя...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сидения. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, — дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого, — сказал воевода. — Никоторого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шею со своими бабьими причитаниями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю, — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу. — Раскуйте этого дурака-дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумена претерпел, — заговорил Арефа, стучаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем, — ответил воевода. — Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, вводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, — это Белоус схватил железный прут и хотёл броситься с ним на воеводу или Охоню, — трудно было разобрать. Солдаты вовремя схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! — скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из сцепившихся в него дюжих рук. — А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать, — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брекун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брекун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка переки горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сидению в «узилище». Сам он через девку вышел на волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поравнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими сле-

зами, — сказал он дочери, — а бысть мне в нощи прещение.... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя, — говорила Охоня, — а там уж всем вместе помолитвуем преподобному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидели выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьдесят. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно — новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни — на полдень, другие — на север, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались поселщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал, — жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. — Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться, — говорила Охоня, занятая одною мыслью. — То-то матушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких ам-

барных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил, — шептал старик и качал своею головою, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось. — На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст¹ до монастыря — не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня, — Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня, — она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилище, доченька, — жаловался Арефа. — Сидел на гноище, как Иов многотрадальный.

Забравшись в бане на полоч, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подрыснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура, — проговорил очнувшийся Арефа. — Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а вперед — бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводческого двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

— Нету его — уехал домой! — ответила за отца Охоня.

¹ В старину версты считались в тысячу сажен. (Прим. автора).

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот ужю оболокусь и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок, — воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расскажит тебя воевода, — шепнула она отцу. — А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже ~~ц~~цкнул на дочь, зачем суется не в свое дело. Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

III

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, — от него все станет.

— А девка — мак! — проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем, — ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит¹.

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать и траву

¹ Волхит — волшебник (Прим. автора).

всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится,— все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маку — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади, как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажень на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам друг, — детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзгая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...

— Што воротился-то спозоранку? — встретила она мужа.

— Так, — коротко ответил воевода. — Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду, — ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпез, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая, — думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. — Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот что, несообразный человек, — заговорил воевода, — выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч, — взмолился Арефа, стоя на коленях. — Крестьяне бунтовали и хотели игумена убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыку ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумена... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у

Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь, — заговорил воевода ласково и даже потрепал Арефу по плечу. — Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь заговариваешь и с порченными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с поклепом! — засмеялся воевода. — Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средство от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает.

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-сказуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, напримерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он раз-

молодился с ней. Разгорится у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кильмяку отправить, — пошутил воевода и ухмыльнулся. — Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок, — заметил Арефа, — пропустив чарку. — Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорей убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской «дубинщины»¹, тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуехт Степаныч, наконец, устал. Конечно, и крестьяншки были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам,

¹ Д у б и н щ и н а — восстание крестьян вотчины Далматова монастыря Шадринского уезда в 1762—1764 гг.

а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворохе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам.

— Суди бог игумена, — часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами. — Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Цельми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростно и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже, — он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

— Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь, — утешал себя воевода.

IV

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

— Пронесло тучу мороком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый, — повторял дьячок вслух и крестился. — Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было

чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и не зажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

— Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди подвернутся?

— Ничего у нас нет, батя, — соглашалась Охоня. — Поп Мирон вон не боится... А на него грозилась, потому как он с собой деньги возит.

— Попа-то Мирона не скоро возьмешь, — смеялся Арефа. — Он сам кого бы не освежевал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

— Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

— Обознались, други милые, — ответил Арефа. — Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромья язв и ран.

— Ах ты, дурень старый! — ругались разбойные люди. — А мы думали, кто другой.

— Ступайте к попу Мирону, у него денег много, — посоветовал ехидно Арефа. — Будет пожива... Пожалуй, вот девку мою возьмите, надоело мне ее кормить.

— Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди спросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полуект Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива, ни мертва, — очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

— Вот дураки-то! — говорил он. — Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю. Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать, всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

— Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель, — проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленой полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирии. И хороши места — скатерть-скатертью! И Яровая-то как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог любоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избышки Служняя слобода с бревенчатой церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликарпом.

Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

— А ты куда, батя?

— Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое угодное место, и не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел задами, чтобы кто-нибудь на Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходявших прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхою деревянную стеной Дивья обитель,— там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что болярыню выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а болярыня все сидела и сидела: ее забыли там в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней и гряды копала и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

— Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги. — И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!

— Тише, баба! — окликнул Арефа жену. — Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами. а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад — не баба, если бы не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданную дочкою Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребяташки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

— Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь, можешь?

— Ох и не спрашивай, Арефа Кузьмич! — всплакала дьячиха. — И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней, да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не к времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заводы к Гарусову.

— Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна, — проговорил он ласково, жалея жену. — Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставляю, а то горько, что на заводах все двоеданы¹ живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

¹ Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью. (Прим. автора).

Запричитала и завывала дьячиха пуше прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику впору.

— День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы, — сказал Арефа, когда слышались шаги Охони. — Смотри, никому ни гу-гу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косяка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять сцапает и своим судом рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтораста верст, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоеданам. Служняя слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безыменной затворницы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую

обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда. Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то помощь теперь была под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухажья и хмельники — всего было видно, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь.

V

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полуект Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у него из рук валялось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжело вздыхает. А по ночам сна решился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, — ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком Служ-

ней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Припела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино сердце.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

— Ужо расскажу все игумену Моисею! — грозила она мужу. — Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, чтобы живых людей изводить?

— Перестань, старая дура! — огрызался воевода. — Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

— А на девок зачем заглядываешься, насытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Не влюбились такие поносные слова Полуекту Степанычу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

— Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! — вопила воеводша.

— А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! — орал воевода, работая тяжелой нагайкой. — Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша легла в постель от его науки... Негоже это дело, когда старики дерутся, а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось неизвестным. Наказали плетью сторожей да солдат, прокартауливших самого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что неладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увезти воеводу в Прокопьевский монастырь да там и отмолить его от напущенных волхитом поганых чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

— Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Негожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

— А игумену Моисею не будешь жалиться?

— Сказала, не буду. Только поедем...

— Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

— Испортил меня проклятый дьячок вконец...

Обыкновенно Полуехт Степаныч завертывал к попу Миرونу, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

— Што это у вас, никак праздник? — спросила воеводша служку-вратаря.

— Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он встал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже завел своих певчих. Сегодня и служба была особенная... Начал молиться Полуехт Степаныч, — и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал их игумену и тра раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый, да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделялось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она. Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуехт Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало.

Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не неизвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

— Грех, грех... — шептал Полуект Степаныч, глотая слезы. — Грешный я человек... душу свою погубил...

Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен: все расскажет ему Полуект Степаныч, до последней ниточки. Пусть игумен епитимью наложит, какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходящее на монастырский двор, он видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадьей, как вышел из церкви и сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени и поднимается по ступенькам. Дух занялся в груди у воеводы: вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась, вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни одного слова.

— Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь? — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи, — как ветром дунуло даве из церкви-то: легче пуху вылетел. Эх, Полуект Степаныч, Полуект Степаныч!..

Воевода опустил голову и не смелдохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил:

— Зачем против моей воли идешь, Полуект Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?

— Ну, уж про Тимошку-то ты врешь, игумен, — ответил воевода, приходя в себя. — Дьячка я выпустил, мой грех, а Тимошка сам ушел...

— Тебе же хуже, воевода... У меня бы, небойсь, не ушли.

Опомнившись, Полуект Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение.

— Бог тебя благословит, Полуект Степаныч...

— Прости, святой отец. Грешен я перед тобой, яко пес смердящий... Но не таю своей вины и приехал покаяться.

— Вот все вы так-то: больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то...

Игуменская келья походила на все другие братские

кельи, с тою разницей, что окна у нее были обрешечены железом и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать: игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял киот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту видеть, что делается у него во дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуект Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно.

— Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала? — сурово спросил игумен.

— Она самая, святой отец.

— И тебе не стыдно воевода? — загремел игумен Моисей, размахивая четками. — Што не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет... Свою честную седину острамил.

Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, препоясанный широким кожаным пояском, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий.

— Мирской человек, отец святой... Согрешил окаянный...

— И своей воеводи Дарьи Никитишны не постыдилась?.. Нескверное житие погубил навеки и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в грехе — себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода...

Недавнее смирение вдруг соскочило с Полуекта Степаныча, когда игумен замахнулся на него своими четками.

— Да ты никак сдурел, игумен? Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь... Какой я тебе козел?

— Ты у меня поговори! Заморю на поклонах... Ползать будешь за мной, Ахав нечестивый.

Это уже окончательно взорвало воеводу.

— Поп, молчи!.. Тебе говорю, молчи! Я свою вину получше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то?.. Попомни-ка, как говяжьёю костью попадьёю свою уходил, когда еще белым попом был? Думаешь, не знаем? Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьянишек своих монастырских изволочил на работе, а я за тебя расхлебывай кашу...

Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил:

— Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес?

Полуект Степаныч сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стучаясь головой о пол, заговорил:

— Прости, святой отец!.. Вконец меня испортил проклятый дьячок... Прости, игумен... Из ума выступил... осатанел.

— Ладно, прошу, коли смирение вынесешь, — ответил игумен, снимая клобук. — А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтобы другие глядели на тебя и казнились... Согласен?

Как ни умолял Полуект Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным.

— Любя наказую твою воеводскую гордость, — решил игумен. — Гордость свою смири...

— Да ведь стыдно будет перед всем народом с метлой-то выходить.

— А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя...

Полуект Степаныч сел на лавку и горько заплакал. Игумен тоже стихал и молча его наблюдал.

— Не могу ее забыть, — повторял воевода слабым голосом. — И днем и ночью стоит у меня перед глазами как живая... Руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть... Не печалуйся, Полуект Степаныч. Беда избывная... Вот с метелкой-то походишь, так дурь-то соскочит живой рукой. А скверно то, што ты мирволил моим врагам и супостатам... Все знаю, не отпирайся. Все знаю, как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью. Только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело.

— Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы?

— Чужое место он захватил, вот што... И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Полуект Степаныч... Ох, как еще помянешь-то!.. Жаль мне тебя, миленького.

— К чему ты эту речь гнешь, игумен?.. Невдомек мне как будто...

— А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слышал, какие слухи пали с Яика?

— Казачишки опять чего-нибудь набунтовали?

— Не казачишками тут дело пахнет, Полуект Степаныч. Получил я опасное письмо, чтобы на всякий случай обитель ущитить можно было бы от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю... А ты сидишь у себя в Усторожье и сном дела не знаешь. До глухого еще вести не дошли.

— Приказу ниоткуда не получал, а мое дело тоже подневольное: по приказам должен поступать. Только мне все невдомек, игумен, каким рожоном ты меня пугаешь?

Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил:

— На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоною... По уметам казачишки уже толкуют везде об нем, а тут, гляди, и к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем... Ты вот распустил дубинщину, а те же монастырские мужики и подымутся опять. Вот помни мое слово...

— А на што рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика... У тебя еще после дубинщины страх остался.

— Я за свой монастырь не опасуюсь: ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже... У него на заводах большая тягота, и народ подымет-ся, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова: радуется он нашим безвременьем. Ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего...

— Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому... Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены¹. Усторожье позабыли — вот и все мое воеводство. Не сегодня-завтра и с коня долой. Приказные люди в силу входят, и везде немцы проявляются, особенно в воинском нашем деле... Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщине с большой опаской делал. Сам, как

¹ Эти выборные должности, которые занимали именитые горожане, были упразднены в 1785 году.

сорока, на колу сижу... А што касаемо самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В орду хаживали, и то не боялись...

— Домашняя-то беда, Полуект Степаныч, всегда больше... Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому.

— Ну, это по писанию, а мы по-своему считаем беды-то.

Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу: щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом.

— Вот последние крохи проедаем, — грустно заметил игумен, угощая воеводу. — Где-то у меня травник остался...

Воевода только вздохнул: горек показался ему теперь этот монастырский травник.

После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный игуменскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно «крин сельный». Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал.

VI

Из церкви воеводша прошла с попадьей Миронихой в Служную слободу, в поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гостьи. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота.

— Как живешь-можешь, поп? — спрашивала воеводша. — Отгащивать к тебе приехала... Давно ли ты у нас был в Усторожье, а теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить.

— Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Марья Никитишна! — плакался поп Мирон. — Чем тебя только и принимать будем: по-крестьянски живем...

— А мне до места, отдохнуть — вот и угощение. А вечером уж с попадьей в Дивью обитель сходим... Давно я игуменью, мать Досифею, не видала.

Поповский дом был не велик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу сначала, а потом заднюю, да наверху светелку. Главное, чтобы зимой было тепло попадье да поповым ребятишкам. Могутный был человек поп Мирон: косая сажень в плечах, а голова, как пивной котел. Прост был и увертлив, если бы не слабость к зеленому вину.

Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкликнула Охоня, — совесть ее ущемила. Из-за нее постригся бывший пономарь Герасим... Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефе, и сама попадья ходила сватать Охоню, да только уперлась Охоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка, живучи у отца, и никакого порядку не хочет знать. Не все ли равно: за кого ни выходить замуж, а надо выходить.

— Видела я ее даве в церкви-то, — задумчиво говорила воеводша, покачивая головой. — Ничего девка, только рожей калмыковата, в кого она у них уродилась такая раскошая?

Тут уже начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой.

— Ишь, какое зелье уродилось! — проговорила важная гостья, когда попадья рассказала про дьячихин полон. — То-то оно и заметно...

— А то мудреное дело, матушка Дарья Никитишна, — тараторила попадья, желавшая угодить воеводше, — што отец с матерью не надышатся на свою Охоньку... Другие бы стыдились, што приблудная она, а они радуются. Эвон, легка на помине наша дьячиха!..

На поповский двор действительно прибежала сама дьячиха и так завyla и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех.

— Што стряслось-то говори толком? — спрашивал он валяющуюся в ногах дьячиху.

— Управ пришла искать на игумена! — вопила дьячиха, стоя на коленях. — К матушке-воеводше пришла... Дьячка моего Арефу сжил со свету игумен, а теперь и дочь отнял... Прямо из церкви уволокли Охонюшку в Дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина — не ведомо!.. Схватилась я, горькая, побежала в Девичью обитель, а меня и близко не пустили к Охоне: игумен не приказал... Ох, горькая я!.. И зачем только на свет родилась?.. Одна только заступа осталась: матушка-воеводша... Слезно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу.

Вышла на крылечко и сама воеводша Дарья Никитична и поманила голосившую дьячиху в избы. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи шепоты. Усадила

воеводша дьячиху на лавку и стала выпрашивать, какая беда приключилась.

— Не печалуйся прежде поры-время, — проговорила она, когда дьячиха рассказала все. — Суров игумен Моисей, да сан на нем велик: не нам, грешным, судить его. А твою Охоню я сегодня же повидаю... Мне надо к матери Досифее побывать. Молитвенница наша... Ужо поговорю с ней.

— Матушка-воеводша, заступись! — вопила дьячиха. — На тебя вся надежда... Извел нас игумен вконец и всю монастырскую братию измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Люгует не по сану... А какая я мужняя жена без мово-то дьячка?.. Измаялась вся на работе, а тут еще Охоню в затвор игумен посадил...

Сжалилась воеводша над горюшей-дьячихой и подарила ей серебряный рубль.

— Ну, будет убиваться, — говорила попадья. — Вот расскажи лучше, как в полоне была в орде.

— Ох, помереть бы мне там, — плакала дьячиха. — У других баб грех-то с крещеными, а мой грех с ордой неумытой... Тьфу! Растерзали было меня совсем кыргызы до смерти. Стыдно и рассказывать-то... Дух от них, как от псов. Надругались они надо мной... Ох, стыдобушка голушке! Тошнехонько и вспоминать-то, матушка-воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь, — свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из орды... Погоня гналась за мной две ночи, а я одвуконь бежала. Конечно, не своей бабьею немощью ослобонилась, а дьячковской молитвой: он умолил угодника Прокопия...

Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась: очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала.

— Ну, теперь ступай домой, — сказала она дьячихе, — а мы с попадьею в Дивью обитель ходим.

Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушке-воеводше, так что поп Мирон едва ее оттащил.

— Загостился мой воевода у игумена, — говорила воеводша, делая удивленное лицо. — И што бы ему столько времени в монастыре делать? Ну, попадья, пойдём к матери Досифее.

Воеводша пошла пешком, благо до Дивьей обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жира, — толстая была попадья.

— И место у вас только угодливое! — любовалась воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель. — Одна благодать... У нас, в Усторожье, гладко все, а здесь и река, и лес, и горы. Умольное место... Ох-хо-хо! Мужа похороню, так сама постригусь в Дивьей обители, попадья. Будет грешить-то...

— Нет лучше иноческого тихого жития, — соглашалась попадья со вздохом. — Суета мирская одолела да детишки, а то и я давно бы в обитель к матери Досифее ушла... Умольная жисть обительская.

Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри стен тянулись почерневшие от времени деревянные избы-кельи; деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем в «отишии», осененное сосновым бором. Сестра-вратарь, узнавшая попадью Миронику, пропустила гостей в обитель с низким поклоном.

— Дома мать Досифея? — спрашивала попадья.

— Дома... Куда ей деться-то? Все здоровьем скудается... Обезножила наша матушка.

Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил «профос» с ружьем, — это и был «затвор» таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась в «неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева».

— Жалятся благоуветливые старицы на Фоину, — шепотом сообщала попадья. — Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игуменье Досифее постоянно встречные слова говорит, ссорится и супротивничает. Холопками сестер величает...

— Легко ли ей в затворе-то сидеть, голубке? — жалела воеводша, качая головой. — Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие попала... Тоже живой человек...

— Мать Досифея бьется-бьется с ней... Шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание.

— Ох, страсть какая! Статoshное ли это дело?

Келья матери-игуменьи стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая изба со светелкой и деревянным шатровым крылечком. В сенях встретила гостей маленькая послушница

в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темноте.

— Ишь, как выстрожила матушка сестер, — полюбовалась попадья. — Ходят, как тени.

Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешенными шелковой пеленой; перед киотом «всех скорбящих радости» горела «неугасимая» и стоял кожаный аналой. У стены помещены были две укладки с книгами. В церковь игуменья не могла выходить и молилась у себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь, или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой.

— Кто там, крещеный человек? — спрашивал старушечий брюзжащий голос. — Никак ты, попадья?

— Я, многогрешная, матушка... А какую гостью тебе я привела: то-то спасибо попадье скажешь! Радость всей вашей обители.

Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха с пожелтевшими от старости волосами. Ей было восемьдесят лет, из которых она провела в своей обители шестьдесят. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину и эту старость: казалось, в игуменье не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своею высохшею, дрожавшею рукой, а воеводша поклонилась ей до земли.

— Трудница ты наша, матушка, побеспокоила я тебя, — извинялась воеводша. — Давно я собиралась к тебе, да все недосужилось...

Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, а сухие побелевшие губы шептали беззвучные слова.

— Игумен Моисей помереть не дает, — заговорила игуменья, усаживаясь на кровати; она теперь походила на привидение. — Обитель рушится... все развалилось... а он одно твердит, што изничтожит нас вконец. Лесу не дает на поправку... теснит... Вот я и не могу помереть: сестер жаль. Куда они без меня-то денутся?.. Три десятка сестер, а кто промыслит про них все?.. Тоже надо и обушь, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель... Соблазн, говорит, монастырю... Вот какие дела, Дарья

Никитишна! Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и Дивью обитель подновить, да только бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось да сгнило, скоро и затвориться будет нечем...

— Жалеем мы все тебя, матушка... да што с игумном Моисеем поделаешь? Лютует он на всех...

— Жаль и мне его, — устало проговорила игуменья, опуская глаза. — Воздай ему бог зло добром, а только жалую я...

Попадья и воеводша переглянулись: игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея.

— А надо бы нам стенки-то подкрепить, — точно бредила игуменья. — Ох, как надо! И ворота вон совсем развалились... Башенки прежде на углах-то стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с башкирью набегал, так крестьяне со всех деревень укрывались в Дивьей обители... Тоже и от Пепени с Тулкучурой... под самые стены набегала орда, и господь уштил.

— Што же, матушка, опять орда набезит? — спрашивала воеводша.

— Горе будет, миленькие... Тогда и моя смертынька.

Потом игуменья сразу спохватилась:

— Што же это я томлю вас, миленькие?.. Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьяне и накажи ей... Она знает порядок.

— Мы не за угощением пришли, матушка, а тебя проведать, — говорила воеводша. — Чего тебе беспокоиться-то для нас?

Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье:

— Ступай-ка ты сама, попадейка, в келарню... Пожалуй, лучше будет.

Воеводша виновато опустила голову: проникла в ее тайную мысль прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами.

— Ну, рассказывай, зачем пришла? — тихо прршептала она. — Вижу, што неспроста... Говори. По лицу вижу, што не с добром пришла. Ох, грехи!..

Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она опять повалилась в ноги прозорливице. Все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее

прорвало... Она долго плакала, прежде чем поведала свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала по-прежнему, с закрытыми глазами, и только сухие губы продолжали шевелиться.

— Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась, — причитала воеводша, — всю душеньку истомило...

— Монастырские служки привели ко мне Охоню, — ответила игуменья. — Игумен прислал за выклики... Ну, я ее в келарню посадила. Девка-то не причинна тут, Дарья Никитишна, а так она... роковая. Как зародилась, так и помрет...

— Охота мне на нее поглядеть, матушка: какая-токая моя лютая беда завелась? На што польстился Полуехт-то Степаныч?

— И глядеть нечего, — сурово ответила игуменья. — Девка как девка... Пытала она убиваться даве: так рекой и разливается. Прибегала к ней матка, дьячиха, да я не пустила. Соблазн один...

Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться.

— Ничего, твоя беда износится, — успокоила ее на прощание игуменья. — А воеводу твоего игумен утихомирит... Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься без пути... Мы не выпустим Охоню.

Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась и Охоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела.

— Вон она, Охоня, — ткнула она на дьячковскую дочь. — Ишь, какая гладкая!.. Ягода, а не девка...

— Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь, — проговорила воеводша.

Зарделась Охоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать.

— Подойди, не бойся, — проговорила воеводша. — Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть отецкая дочь. Ну, иди же... Не упирайся!.. Не из страшливых ты, коли воеводы не испугалась... Ну, што молчишь-то?

— Себя не помнила, — бормотала Охоня, не поднимая глаз. — Солдаты тогда учили меня срамить, а тут воевода присунулся...

— Так, так... Ну, а в церкви-то отчего выкрикала?..

Охоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками.

— Застыдилась девонька, — пожалела ее попадья. — Ну, я за тебя скажу, Охоня: совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел...

— Несчастливая я уродилась, — шептала Охоня. — Не люб он мне был, когда сватался, а тут... ох, горькое мое горюшко!.. Свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы... дух у меня занялся... умереть бы мне...

VII

Воевода Полуект Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести «послушание» на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафнутий.

— Вставай, Полуект Степаныч... Игумен уж тебя ждет во дворе.

— О, господи, господи! — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор. — И до чего я дожил?

— Оболокайся, воевода. Игумен у нас не больно-то любит ждать, а то еще на поклоны поставит.

Нечего делать, пришлось подниматься ни свет ни заря, и старый воевода невольно вспомнил свое Усторожье, где спал вволю и никого не боялся. Келарь принес с собой затрапезный кафтанишко и помог его надеть.

— Ну вот, теперь совсем, — повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде.

— А ты чему обрадовался, долгогривый? — обозлился воевода. — Вот возьму да и не пойду...

— Воеводушка, не кобенься ты ради Христа, — уговаривал испугавшийся келарь. — И тебе и мне достанется...

Приземистый, курносый, рябой и плешивый черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в Служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе «угобжались от вина и елея». Угнетенные игуменом, шли за утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилось ласковое словечко.

— А ежели народ пойдет в церковь да меня увидит в затрапезном-то одеянии? — спрашивал воевода уже в дверях.

— Никто не увидит, воеводушка... будний день сегодня, кому в монастырь идти, кроме своих же монастырских?

— Достаточно и монастырских.

Игумен гулял в саду, когда пришел воевода.

— Вот тебе метелка, — сурово проговорил игумен, показывая на стоявшую в уголке метлу. — Я пойду к завтрашне, а ты тут все прибери. Да, смотри, не ленись... У меня из алтаря все будет видно.

Сказал и ушел, а воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом — никого, слава богу, нет. Монахи уже прошли в церковь. И принялся Полуект Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пение несется, и легко стало у воеводы на душе: что же, привел господь в монастырских служках поработать... Метет Полуект Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся, а это Дарья Никитична идет в церковь, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе... Присел он на лавочке и пригорюнился.

— Эй, чего расселся, ленивый раб?

Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря.

Опять работает воевода, даже вспотел с непривычки, а присесть боится. Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку. Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника, — издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца.

— Эге, да это тебя вчера... тово? — обрадовался воевода.

— Видно, меня...

Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом повел он воеводу в оранжерею и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его.

— Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген?

— И в миру не легко... По крайности здесь одному богу послужу, а на миру больше мамоне¹ служат да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки.

¹ М а м о н а (церк.) — богатство, земные сокровища.

Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним.

— Ну, и умаял ты меня, владыка, — ворчал Полуект Степаныч. — Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию... Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то даве гляжу, моя Дарья Никитишна идет. Срам...

— Ты у меня поговори... Не хочешь на хлебе да на воде неделю высидеть? А то и похуже будет: наших монастырских шелепов отведаешь...

Не стерпел обиды Полуект Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю, а игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло-горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь:

— Будешь еще борзость свою показывать да лаять меня?

— Ох, владыка, прости ты меня, многогрешного! Не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком...

— Не заговаривай зубов: поумень тебя найдутся.

Тяжело достался первый день монастырского послушания усторожскому воеводе, а впереди еще целых шесть дней, — на неделю зарок положен игуменом. Всплакался Полуект Степаныч, а своя воля снята...

Другой день послушания как будто был полегче: в келарне пришлось с братией постные монастырские щи варить да кашу. Все же не на виду у всех и не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе, — тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженная. На четвертый день Полуект Степаныч звонил на колокольне, и это ему больше всего понравилось; никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он и рекой Яровой, и Служнею слободой, и Дивьею обителью и с тоской глядел на дорогу в свое Усторожье. Ох, убраться бы поскорее из монастыря домой... Будет, напринимался всего. Но не так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воеводе: поставил его вратарем. Тут уж не увернешься: у всех на виду, как глаз во лбу.

«Уж постой, игуменишко перетерплю я у тебя все, да и ты меня попомнишь! — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим в ворота богомольцам. — Дай только ослобониться».

«Лаять» игумена в глаза Полуект Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок Арефа.

Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие, да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянною чашкою на коленях лысый слепой старик, сидит и наговаривает:

— Попал сокол в воронье гнездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать по-воробьиному, а красной пташке убиваться по нем...

— Ты это што бормочешь-то? — удивился Полуект Степаныч, прислушиваясь.

— Я-то бормочу, а другой послушает... У слепого язык вместо глаз: старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят?

Этими словами слепой старик точно придавил вратаря. Полуект Степаныч узнал его: это был тот самый Брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга. А сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой... По каком ясном соколе убивается красная пташка?.. Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам...

— Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да и сижу-посижу, ничего не знаю...

В руке Брехуна звякнули два серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к Служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся Служняя слобода, Яровая, и лес за Яровой, и горы. И страшно ему и радостно... Проводив глазами слепца, Полуект Степаныч припомнил обещания дьячка Арефа относительно приворота. Вот оно когда сказалось! Захолонуло на душе у воеводы: погибал он окончательно. Теперь прощай и воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и несквѣрное воеводское житие. Красные круги заходили в глазах у Полуекта Степаныча.

К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала мона-

стырская братия, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу, сбегали в Служную слободу к попу Мирону. — воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену? Братия перекорялась, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один ставленник Герасим.

— Я пойду объявлюсь, братие, — говорил он со смирением.

— Захотел на конюшню, видно, попасть, брат Гермоген? Не знаешь ты игумена, каков он под сердитую руку...

— А уж што бог даст, — повторял Гермоген.

Братию вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всеошной из Дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случилось это с ним, когда он в Служней слободе у попа Мирона «ослабевал» дня на три, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступила его монашеская братия и немало дивилась случившейся оказии.

— Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?

— Не знаю, — хмуро отвечал келарь. — После вечерни зашел проведать игуменью Досифею, ну, и снял рясу и клобук: зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой, — нет моей ряски и клобука. Уж искали-искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли.

Благоуветливые иноки только качали головами и, в свою очередь, рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывайся игумену: разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братию да и обительских сестер тоже. Тужат монахи, а у святых ворот слепой Брехун ведет переговоры со служкой-вратарем.

— Вот, служба, нашел я находку, — говорил Брехун, подавая маносескую рясу и клобук. — Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братию, кабы натакался на нее мирской человек, — ну, а я-то, пожалуй, и помолчу...

— Да как ты нашел, когда ты и видеть не можешь?

— Видеть не вижу, а глаз все-таки есть, — посмеялся Брехун, показывая свой черемуховый посошок. — Я-то иду, а глаз впереди меня...

Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес находку в кельи, а там келарь Пафнутий о

своем клобуке чуть не плачет. Сразу узнал он свое одеяние. Кинулись монахи к воротам, а от Брехуна и след простыл.

— Наваждение! — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук. — Кому понадобилось?.. А горше всего, ежели игумен Моисей вызнает... Отрамился келарь на старости лет: скажут, в Дивьей обители клобук потерял!

Пока благоуветливые иноки судили да рядили, в Дивьей обители шла жестокая перебока. Этакого сраму не видно было, как поставлены обительские стены... Особенно растужилась игуменья Досифея и даже прослезилась: живьем теперь съест Дивью обитель игумен Моисей.

— Не без того это дело вышло, матушка, што нечистая сила объявилась в обители, — объясняла сестра-келарша Маремьяна. — Попущение божецкое на святую обитель...

Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, как своими глазами видела выходящего в обительские ворота келаря Пафнутия, — два раза он выходил и в первый раз ушел в рясе и клобуке.

— Дьявольское прещение бысть, — объясняла келарша. — Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игуменьи в опочивальне.

Когда первая суматоха прошла, хватились Охони, которой и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук черного попа Пафнутия: проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась монахом да и вышла из обители, благо темно было.

Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуект Степаныч и как ночью слепец Брехун принес монашеское одеяние черного попа Пафнутия.

— Девки-поганки дело, — решила и мать-игуменья. — Не иначе могло быть, как через нее. Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха... То-то, кыргызское отродье, посмеялась над святой обителью. Сорому не износить теперь...

А слепец Брехун ходил со своим «глазом» по Служней слободе как ни в чем не бывало. Утром он сидел у монастыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего.

— Где Охоня? — повторял Белоус, схватив Брехуна за горло. — Ты все знаешь. Сказывай!..

— Где ей быть, окромя Усторожья?.. Вместе с воеводой Полуектом Степанычем сбежала. Пали слухи, что Полуект-то Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала воеводша домой, выгнал воеводшу-то. Осатанел старик вконец.

Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый.

— Охоня, што ты меня не подождала? — выкрикигал Белоус и грозил кулаком в сторону Усторожья. — Эх, Охоня, Охоня!.. А с воеводой я еще переведаюсь. Будет поминить Белоуса... Да и Прокопьевским монастырем тряхнем!.. Эх, Охонюшка!

Слушал Брехун эти причитания и радовался: связала бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь беломестный казак — вольная птица. Пронесло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красы, а утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Охоней? Кто научил глупую девку, как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец Брехун!.. Сказал бы спасибо ему Белоус, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Охоню. Ну, семь бед — один ответ, а беломестный казак Белоус цел останется.

Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и возревновал, яко скимен. Досталось больше всех келарю Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из Усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду.

— Видеть меня не хочет Полуект Степаныч... Со свету сживает: обошла его вконец девка-поганка. Как чирей, теперь сидит и пухнет в моем дому... Ох, горюшко, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть.

— Прокляну я воеводу — вот тебе и весь мой сказ.

— Да ведь не своей волей грешит-то мой Полуект Степаныч, а напущено на него проклятым дьячком. Сам мне каялся, когда я везла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи, может, и отмолю моего сердечного друга. Связал его сатана по рукам и ногам.

Часть вторая

I

Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским «копаням» и плавил ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арендовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очутился громадный заводский участок на полном праве собственности: устроили это дело ему в Тобольске его дружки-приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье.

Подъезжая к заводу, Арефа испытывал неприятное чувство: все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменная заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко назади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы.

— Помяни, господи, игумена Моисея и воздай ему стоицей добром за зло! — вслух молился Арефа. — По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить.

Не доезжая верст десяти до завода, догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мушкетерски.

— Мир дорогой, добрый человек, — поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. — Куда бог несет?

— По одной дороге едем, так увидишь.

Лицо у вершника было обветренное, со следами зимнего озноба на щеках и на носу, темные волосы по-раскольничьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза: серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба.

— Откуда путь держишь? — полюбопытствовал вершник в свою очередь.

— А к двоеданам... Значит, к Гарусову на завод. Меня воевода Полуехт Степаныч послал из Усторожья, чтобы уштититься у Гарусова от игумена Моисея... Сам-то я из Служней слободы буду.

— Променял кукушку на ястреба! — засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку. — Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет...

— Пали и до нас слухи о Гарусове, это точно... Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего: едва ноги уплел из узилища...

— Хорош и ты... Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую-то пыль. У него это живой рукой...

Обрадовался Арефа живому человеку и разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютом характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сидении в Усторожье.

— А мне глянется игумен-то, — ответил вершник, — крепкий человек, хоша бы и не монахом быть... Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашеская честная братия тоже, а Моисей и взнуздал. Он правильно, Моисей-то...

— Тебя бы ему отдать в правило, так не то бы запел. От одних шелепов глаза бы повылезли.

— А Гарусов еще полютей будет... Народ в земляной работе заморил, а чуть неустойка — без милости казнит. И везде сам попевает и все видит... А работа заводская тяжелая: все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, што поехал к двоеданам.

— Двум смертям не бывать, одной — не миновать, — храбрился Арефа. — Не боюсь я твоего Гарусова, хоша он на мелкие части меня режь... В орде бывал и из полочу цел ушел, а от Гарусова и подавно.

— Не захваливайся, дьячок!

Показался засевший в горах Баламутский завод. Строе-ние было почти все новое. Издали блеснул заводской пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь: много свел Гарусов настоящего кондового леса на свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх, невеселое место: горы, лес, дым, и сама Яровая бурлит здесь по-сердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор.

— Молодец Гарусов! — похвалил вершник, любуясь заводом. — Вон какое обзаведение поставил: любо-дорого... Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит... Эвон, за горой-то, влево, медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда. Сподобишься и ты портить на Гарусова.

— Ах, штоб тебе пусто было вместе и с Гарусовым!.. Не боюсь я никого, окромя игумна Моисея...

У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова.

Арефа отыскал постоялый, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу: кто, откуда, зачем? У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам... Арефа, как глянул, так и обомлел: это был ехавший с ним вершник.

— Што, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов? — засмеялся сам и махнул рукой приставам. — Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, чтобы поменьше каркала.

Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли с господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Проконию: попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал... Заводские пристава были почище монастырских служек: руки, как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и притворили тяжелою железною дверью. Новое помещение было куда похуже усторожского воеводского училища.

— А как же дьячиха? — вопил Арефа, царапаясь в железную дверь. — Эй, вы, дьячиха-то моя как?

Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и «плакаша горько».

Когда он огляделся, то заметил в одной стене черневшее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука. Только издали доносился грохот работавшей фабрики, стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он заснул в слезах, как малый ребенок.

Ранним утром на другой день его разбудили.

— Эй ты, ворона, поднимайся... Айда в контору!

Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные рабочие и становились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефа встал в толпе других рабочих, оглядывавших его, как новичка. Народ заводский был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей.

— Тарас Григорьич, ослобони... — повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой. — Изнеможили мы у тебя на твоей заводской работе.

— А уговор забыл? — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу. — Задатки любите брать, а?.. Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?

— Последняя лошаденка пала, — не унимался мужик. — Какой я тебе теперь работный человек?.. На твоей работе последнего живота решился... А дома ребятишки мал мала меньше остались.

Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы и даже глаза налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то что свои заводские: вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для острастки в другой раз наказал бы, как теперь, да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце.

— Ну-ка, ты, кутья, иди сюда... На какую ты работу поступить хочешь? В монастыре-то вас сладко кормят, спите вволю, а у меня, поди, не поглянется. Што делать-то умеешь, чертова кукла?

— А все умею, — без запинки ответил Арефа. — И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек нарублю.

— Да ты повернись, монастырская ворона... Дай поглядеть на тебя с разных сторон. Нечего сказать, хорош гусь!

Дьячок повернулся при общем смехе и не понимал, для чего это нужно.

— Хлеб есть даром — вот и всей твоей работы, — решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику. — Сведи его на фабрику да поставь, где по-теплее. Пусть разомнется для первого раза...

Все переглянулись. Куда этакому цыпленку в огненную работу. На верную смерть посылал Гарусов ледящего дьячка.

— А насчет харчей как? — спрашивал Арефа. — Со вчерашнего дни маковой росинки не бывало во рту... Окромя того, у меня кобыла. Последний живот со двора...

— Ты у меня поговори!..

Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрешину, так что у бедняги в ушах зазвенело, Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Домна Степановна не раз даже колачивала его, и пребольно колачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она поделывает без него, милсердечный друг?

Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю.

— Вот какого орла зацапал, — объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника. — На подтопку годится.

Надзиратель, суровый старик с окладистой седою бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. Куда этакую птицу упоместить?.. Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить.

— Будет тепло, — решил надзиратель.

Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена Яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменные печи, в которых плавил железную руду. Средину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листокатальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводский караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей, в которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно.

— Вот тут будешь работать, — сказал надзиратель, передавая Арефу уставщику. — Смотри, не ленись.

Работа в кричной показалась Арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и Арефа был го-

раздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры, и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными запеченными лицами. Все были худые, точно они высохли на своей огненной работе.

— Ну, поворачивай, дьячок! — покрикивал на нового рабочего мастер.

Арефа старался, обливаясь потом. После второй «садки» у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.

«Ох смертынька моя приходит, — подумал Арефа с унынием. — Погинула напрасно православная душа...»

Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы. Уставщик тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу: чтоб ковали скоро и чтоб изъяну не было. Налетит сам, — всем достанется.

Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали, — всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какою-то одной мыслью, носившеюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа.

Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму. Но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу: это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и Служнюю слободу, и свой домишко, и всю дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливал слезами. Он тут бы и ночевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала

Арефа новая неприятность: рабочие уже поужинали и полегли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул.

— Ты где это пропадал? — накинулся на Арефу пристав. — Порядков не знаешь... Смотри у меня: всю душу вытрясу.

— А ты не больно аркайся! — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя. — Я свободской человек, иду, куда хочу... Над своими изневаживайтесь.

За такие поносные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было темно и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням, и тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой, крещеный народ. Только не было ни одной души из своей Служней слободы.

— Поснедать бы... — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте.

— Видно, уже завтра поешь, мил человек, — ответили из темноты.

Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. Что же, сам виноват, а будет день — будет и хлеб. От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. Умереть бы поскорее... Все равно один конец. Кругом было тихо. Все намаялись за день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота.

— Объявился наш батюшка... Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьим уметам на Яике царская воля прошла... Набегали башкиришки и сказывали.

— Давно об этом молва-то идет... Пора. Занищал народ вконец, хоть одинова надо отдохнуть, а батюшка на выручку хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маету и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку уже делали на Яик, да ни с чем выворотилась засылка: повременить казаки наказывали.

Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон:

— А как же, сказывают, батюшка-то двоеданским крестом молится? Што-нибудь да не так. Нам, хрестьянам, это, пожалуй, и не рука.

II

Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о «засылке» своих рабочих к казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту «засылку» свои же заводские рабочие, а не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими? Это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов, и, как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что надеялись — один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот Баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться, а поднимутся свои же работники и приколуют. Работа тяжелая, народ непривычный — только ждут случая.

Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задние комнаты, а Гарусов четыре остальные, то есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских писчика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смелдохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи баранов. Как говорила стоустая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое местечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход, благо в чугунах и железах везде была нужда, а тут руды сколько хочешь, лесу тоже, воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов мед-

ную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали «рассейские» выходцы, бежавшие с Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни, а во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотом-воеводой, с которым у Гарусова были свои дела.

Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады послушникам, которых казнил самым жестоким образом: батожья, кнут, застенки — все шло в ход.

Слухи о занимавшейся смуте на Янке подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха: народ дикий, рад случаю... Всю ночь он промучился и поднялся на ноги чем свет. Приказчик уже ждал в конторе.

— Ну, что нового? — спросил Гарусов.

— Нового, слава богу, ничего нет, Тарас Григорьич... Стороной я кое-что вызнал. А между прочим, пустяки болтают разные бродяги... Не надо им давать веры...

— Ну, это уж я знаю... А бродягам я покажу...

Приказчик сразу увидел, что Гарусов ступил левой ногой, и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся несколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужицкий лад: в одной рубахе и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтан, а зимой в простой полубубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довести даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея-заводчика и все-

таки попадались впросак, а Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и наводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может зараз в нескольких местах объявляться.

Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился сначала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним, — очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда завидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, — условленный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в тот момент, и сторож обомлел.

— В подвал! — коротко сказал Гарусов. — Там ему покажут, как надо палками-то размахивать!

Повторять приказание было не нужно, и сторож ментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. Ах, никому нельзя верить: все продадут ни за грош, продадут да еще ногой придавят. Черною тучей прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему: работа шла на отличку, точно назло. Завидев работающего у горна Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово:

— В медную гору...

Арефа даже побелел весь, когда услышал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины.

— Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просвиры, — проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дьячку.

Арефа что-то хотел сказать в свое оправдание, хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные «поручни» и «поножни» и заклепаны. Так отправляли всех в медную гору...

Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за «шпына», то есть за подосланного игуменом Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена — за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, несомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорились рабочими, его же двоеданами, и завинил дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце.

Повезли Арефу в медный рудник, нимало не медля, под строгим надзором, как разбойника. Старик сидел в телеге и громко молился «иже о Христе бродивому Прокопию», спасавшему его от стольких бед.

— Не от себя лютует Тарас Григорьевич, а по дьявольскому наущению, как и игумен Моисей, — выкрикивал Арефа. — Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление... Воздай им, господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный.

— Закаркала ворона, — ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники.

И здоровенные эти двоеданы, а руки — как железные. Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит-помолчит и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановят лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводский народ... Положат потом Арефу за-мертво на телегу и сами же начнут жаловаться.

— Замаялись мы с тобой, воронье пугало!.. Из сил выбились... Замолчи, окаянный!

— По слепоте вашей приемлю раны...

— Ты опять разговаривать, шпын?

Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок, — такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт-пластом и долго жаловались зрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накинул на себя черную немочь и только глазами моргает.

Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в «отбочине», на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел горную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в «орду». Рудничное строение облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег

Яровой был завален пустою породой, которую добывали из шахт — свежедобытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно: все в шахте. А наверху копошились одни откочки да отвальщики. И казармы здесь были устроены по тюремному — из толстых бревен, с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока «оклемается». Видал он таких представленных...

Опять Арефа очутился в узилище, — это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея, потом сидел в Усторожье у воеводы Полуекта Степаныча, потом на Баламутском заводе, а теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно... Любя господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно дорогой двоеданы проклятые колотили: места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет.

— Ты о чем, человече? — послышался голос из темноты.

Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть.

— Кто жив человек? — спросил он, обрадовавшись в следующий момент живому человеческому голосу.

— А ты кто?

— Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался.

В ответ грянула тяжелая железная цепь и послышался стон. Арефа понял все и ощупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ощупал больного и только покачал головой: в чем душа держится. Левая рука вывернута в плече, правая нога плеть-плетью, а спина, как решето.

— Из бегунов я, — тяжело шептал несчастный. — Три раза из рудника убегал, ну и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли...

— Плохо твое дело, милаш! — жалел дьячок, потряхивая своими железами. — Кабы сила-мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травки от убоя, от раны, ото всякой лихой болести... Да вот под руками ничего нет.

— Тошнехонько мне... под сердце подкатывает... При-

брал бы господь-батюшка поскорее, а то моченьки не стало... Я из слободских, из Черного Яру... женишка осталась, ребятенки... вся худоба... к ним урваться хотел, а меня в горах и пымали...

— Не из двоедан, значит? — обрадовался Арефа.

— Православный... От дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к Гарусову и попал. Все одно помирать: в медной горе или здесь на цепи... Живым и ты не уйдешь. В горе-то к тачке на цепь прикуют... Может, ты счастливее меня будешь... вырвешься как ни на есть отседава... так в Черном Яру повидай мою-то женишку... скажи ей поклончик... а ребятенки... ну, на миру сиротами вырастут: сирота растет — миру работник.

— Как тебя звать-то, милаш?

— Трофимом.. В Черном Яру скажут...

Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытием. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену... Арефа даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника, помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновение приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова:

— погоди, отольются медведю коровьи слезы!.. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда из степи подвалит, по камушку все заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам и заводчина пристанет и наши крестьяне... Огонь... дым...

Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стихал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств...

— Помяни, господи, новопреставленного раба твоего Трофима, — молился Арефа, стоя на коленях... — Прости ему вольные и невольные прегрешения, все яже содеял ведением и неведением, яже словом, яже помышлением.

Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника, в мире раба божьего Трофима, а потом громко наизусть принялся читать заупокойный канон о единоумершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что по-печатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона и от покойного игумена Поликарпа.

Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в медную гору, в наряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию: точно сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живою добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и взыграло дьячковское сердце: жив господь, и жив дьячок Арефа. По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вылезти.

— Трофим приказал долго жить, братцы, — сказал Арефа. — Под утро кончился, сердяга...

Рудниковые молча сняли шапки и молча перекрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка.

— Да ты откелева взялся-то, мил человек?

— А я из монастырской слободы, яже в Сибирстей стране, у Прокопьевского монастыря... По злобе игумна Моисея...

Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его... Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной листовничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при этом... С дьячка катился пот градом, когда он проработал первую смену.

III

Работа в медной горе считалась самой трудной, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, и здесь донимали большими уроками немилосердные пристава и уставщики, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно пребиваться.

— Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтеры. — Последнее наше дело. Живым отсюда не выпускают.

— Вы-то не уйдете, а я уйду.

— Не захваливайся.

— Из орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду... Главная причина кто сильнее: преподобный Прокопий али Гарусов? Вот то-то вы, глупые... Над кем изнеживается Гарусов-то?.. Над своими же двоеданами, потому как они омрачены... А преподобный Прокопий вызовет и от Гарусова.

Вообще дьячок говорил многое «неудобь-сказуемое», и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов вызнает про его поносные речи. А дьячок и в ус себе не дует: копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает.

— Я вольный человек, — говорил он рабочим, — а вас всех Гарусов озадачил... Кого одежей, кого скотиной, а я весь тут. Не по задатку пришел, а своей полной волей. А чуть што, сейчас пойду в судную избу и скажу: Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалят и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам: не бей смертным боем.

«Озадаченные» Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. Правильно говорил дьячок Арефа, хотя и не миновать ему гарусовских плетей. Со всех сторон тут были люди: и мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгородка, и слобожане, и пашенные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разная татарва. Гарусов не разбирал, кто откуда, а только копали бы руду. И всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица, монастырский дьячок составлял единственное исключение.

Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через две недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанный кудрявым почерком.

— Узнаешь, вольный человек? — глухо спросил приказчик и засмеялся.

Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю тобольской консистории, когда ему выдавали ставленническую грамоту. Долгу было двадцать рублей, и Арефа заплатил уже его два раза — один раз через своего монастырского казначея, а в другой

присылал деньги «с оказией». Дело было давнишнее, и он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных.

— Ну, что скажешь, вольный человек? — смеялся приказчик. — Похвалиться умеешь, а у самого хвост завяз... Так-то? Да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы... понимаешь?..

Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове и его «озадачил» Гарусов... А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел... Вот тебе и вольный человек! Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать...

— Искать буду с Гарусова, — смело заявил он. — Я письменный человек и дорогу найду... У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия воеводу Пулуехта Степаныча знаю... да.

— И везде тебе скажут, что ты дурак...

— Я дурак?.. Дурак да про себя, а на Гарусова я имею извет. Помнит он у меня единоумершего хрестьянина Трофима из Черного Яру, вот как помнит!..

На такие слова приказчик сейчас же «ощерился» и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запеть его в деревянные «смыги» накосо: левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левою рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим, и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное: ни встать, ни сесть, ни лежать. Два дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе.

— Тебе же хуже, — посмеялся приказчик. — Теперь тебе наши деревянные смыги не поглянулись, ну, переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погодим малое время...

Две недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в печи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль. А главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь: железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота

одолевает, а открыл глаза — голова с плеч катится. Стад совсем изнемогать Арефа, и стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а чернойарский мужик Трофим, и что он уже мертв, а мучится за грехи одна плоть.

Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по две ночи. Тут уж смилостивился и приказчик и велел расковать дьячка.

— К Трофиму еще успеем тебя отправить, коли соскучился, — пригрозил он ему.

В казарме вылежал Арефа две недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает: за свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. Нет, теперь, брат, шабаш: про себя лучше знать... Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места дикие, не скоро поймают... Эх, кабы еще кобылу добыть, так и того бы лучше. А там и своя Служняя слобода, и дьячиха Домна Степановна, и милая дочь Охонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище.

Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уже совсем решился на бегство, но ему помешал случай: с Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать. Всех рудниковых выстроили на дворе, и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плетью, а остальных нещадно били батожем. Это было похуже, чем расправа «с пристрастием» у самого воеводы Полуекта Степаныча. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму. Со страху Арефа не спал целую ночь, и ему все казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли совсем, он даже глаза закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя.

Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уже все готово: смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе.

— Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим, — объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан. — Гинуть, так всем зараз, а то еще продашь...

— Братцы, куда же я? — взмолился Арефа. — Игумен Моисей истязал меня шелепами, воевода Полуехт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул... А сколько я натерпелся от приставов?.. В чем душа... Вы-то убежите, а меня поймают...

Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка?.. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам... Слухи шли давно, еще во время монастырской «дубинщины», и Арефа плохо им верил. Так темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом Полуехт Степаныч их умирал воинскою силой, — ну, и теперь в этом же роде, надо полагать.

Это было на другой день после успения. Еще с вечера слобожанин Сверкий шепнул Арефе:

— Смотри, завтра у нас вода побежит... Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится: думает, испугал всех наказанием. Понял?..

Арефа молчал. Будь что будет, а чему быть, того не миновать... Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. От мира не уйдешь, а на людях и смерть красна.

По уговору двое рабочих перед вечернею сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело, набежали пристава, а в это время шахтари обрубали канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту, на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу.

Погоня схватилась позже, когда беглецы были уже далеко. Сначала подумали, что оборвался канат и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам.

В смене было двенадцать человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками по трое, чтобы запутать

следы. За ночь нужно пройти верст двадцать. Арефа пристал к слобожанам, — им была одна дорога вниз по Яровой.

— Меня бы только до монастыря господь донес, — мечтал Арефа. — А там укроюсь где ни на есть... Да што тут говорить: прямо к игумну Моисею приду... Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома... Игумен-то с Гарусовым на перекосях и меня не выдаст. Шелепов отведасть придется, это уж верно, — ну, да бог с ним.

Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода: их тут будут караулить... Да и дорога-то одна к Усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли главным образом по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные, тропы шли угорами да раменьем, того гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст в пятьдесят. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее.

— Пронес господь тучу мороком...

Один дьячок закручинился. Присел на пенек и сидит.

— Эй, дьячок, будет сидеть... Пойдем. А ль стосковался по Гарусове?

— А я ворочусь на завод, братцы, — ответил Арефа.

— Да ты в уме ли?

— А кобыла? Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело — как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком...

— Ах, дурья голова... Ведь кожу с тебя сымет Гарусов теперь, как попадешься к нему в лапы... А ему кобыла да-лась...

— А преподобный Прокопий на што?

Бродяги обругали полоумного дьячка и пошли своею дорогой. Отдохнул Арефа, помолился и побрел обратно к заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени нечего взять. Разве где саранку выкопаешь да медвежью дудку пососешь... Затошал дьячок вконец, чувствует, что из последних сил выбивается. Пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темноте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут под самый вечер, глядит

он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит: везут связанными его слобожан. Попались где-то сердяги... Перекрестился дьячок: ухранил преподобный Проколий. Скоро провезли слобожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится, — должно полагать, стреляный. А приставы везут и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дьячку.

Темною ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания: всякому было до себя.

— Орда валит!.. Казаки идут... — слышалось со всех сторон. — А наш-то орел схоронился...

— Догадлив, пес!

Работы были приостановлены, и народ бродил по улицам, как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскою рукой, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал, и это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас объявились. Открытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток.

— Пусть сам Гарусов строит! — галдела толпа. — Не бойсь удрал!

Более благоразумные люди говорили, что вся кутерьма только один подвох со стороны Гарусова, а потом он налетит и произведет жестокую расправу с послушниками и своевольцами. Старик любил выкидывать штуки... Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная, при освещении костров.

Арефа отлично воспользовался общею суматохой и прокрался на господскую конюшню, где и розыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился

по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы, и его остановили.

— Куда черт понес?

— А по своему делу...

— Братцы, да ведь это дьячок с рудника! Держи его, оборотня!

Поднялся гвалт, десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское словечко, и кобыла взвилась на дыбы. Она с удивительною легкостью перепрыгнула ров и понеслась стрелой по дороге в Усторожье.

— Держи дьячка!.. Братцы, держи!..

Вдогонку грянуло несколько выстрелов, но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади.

IV

Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Конечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия: он вызволил грешную дьячковскую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется, и даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе и что Гарусов бежал. В Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали и большею частью напрасно. Так, бегают, суетятся, галдят, друг дружку пугают, а беды дымом разносит.

— Нет, Гарусов-то какого стрелача задал! — говорил Арефа своей кобыле. — Жив смерти, видно, боится... Это его преподобный Прокопий устигнул: не лютуй, не пей чужую кровь, не озорничай. Нет, брат, мирская-то слеза велика...

Отъехав верст двадцать, Арефа свернул в лесок покормить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет, и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла около него ходит да травку пощипывает. «Хорошо бы огонек разложить, да страшно: как раз кто-нибудь наедет на дым и повернут раба божия обратно в Баламутский завод. Нет уж достаточно натерпелся за свою простоту».

Эх, перекусить бы малую толику! — вслух думал Арефа — Затошчал вконец... Ну, да потерплю, а там дьячка Домна Степановна откормит. Хорошо она заказные блины печет... Ну и редьки с квасом похлепать тоже отлично. Своя редька-то... А то рыбка найдется соленькая: карасики, максунинка... Да еще капустки пластовой приба-

вить, да кашки пшенной на молочке, да взварцу из черемухи, да вишенки...

От этих суетных мыслей у Арефы окончательно подвело живот. Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сучок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо спит, а другое слушает.

«Башкирятин кобылу скрасть хочет», — подумал Арефа и успокоился: не таковская кобыла, чтобы чужого человека подпустить.

И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро возьмешь... А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дьячка, спрятавшись за деревом.

— Ну, чего ты воззрился-то? — окликнул его Арефа. — Добрый человек, так милости просим на стан, а худой, так проходи мимо... У меня разговор короткий...

В сущности Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости: ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шляпенке.

— Вот што, мил человек, — заговорил он, подсаживаясь к Арефе, — едешь ты на кобыле один, а нам по пути...

— Н-нн-о?

— Верно тебе говорю... Я от Гарусова с заводу бежал. Погони боюсь.

Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется... Но главное внимание Арефы обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозванного бегуна, и дьячок даже понюхал воздух.

— Знаешь, сказку, мил человек, — заговорил Арефа, — поедешь налево — сам сыт, конь голоден, поедешь направо — конь сыт, сам голоден.

Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился: господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад.

— Какой ты добрый на чужое-то, — засмеялся мужик. — Тоже, видно, от Гарусова бежишь?

— Ну, мы с Гарусовым-то душа в душу жили, — отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки. — У нас все пополам было: моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, мои руки — его руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен вот как... И какой добрый: душу оставил.

Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают: от прежнего зверя один хвост остался. Гарусов, в свою очередь, тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до монастыря, а потом в благодарность и выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет.

— Утро вечера мудренее, мил человек, — говорил Арефа. — Ужо кобыла отдохнет, на брезгу и поедем.

Ночью, однако, никому не спалось. Они караулили друг друга, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа, наконец поднялся и поймал кобылу. Когда они сели верхом, дьячок проговорил:

— Бит небитого везет.

— А ты как знаешь?

— Рожа у тебя толстая... Закормил, видно, Гарусов-то с осени. Вишь, как нащечился!

— А тебя Гарусов-то, видно, мало еще бил: вон как язык болтается!

Так они и поехали вместе, как лучшие друзья, и только кряхтела одна кобыла. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умилении думал о том, как господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть сейчас, стоит захотеть, и Гарусов пойдет пешком... Дорогой от нечего делать они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услышал, что проявился в казаках не прост человек, прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра III. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам-то верить нельзя — эти продадут. Арефа только качал своею маленькою головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога

была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной.

Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу.

— Только бы до монастыря добраться, — повторял Арефа, укладываясь спать. — Игумен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалует. Он простоват, игумен-то...

— Ах ты, шиликун! — смеялся Гарусов. — Прост игумен?..

— С Гарусовым два сапога — пара... И любят друг дружку, водой не разольешь.

Друзья крепко спали, когда пришла неожиданная беда. Арефа проснулся первым, хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный «кляп», так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели: на нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд состоящих из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в орду.

«Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести.

Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. Ох, что-то будет?.. Всех конников было человек двадцать, и все везли в тороках награбленное по русским деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У орды уж такой обычай: мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут.

Так они ехали два дня и всего один раз пленникам дали напиться воды. Особенно страдал Гарусов. Лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко назад. За пленниками усиленно следили, чтоб они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на третий день к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу.

На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в орде и по казачьим станицам. Не было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к коновязям, обыскали и стали добывать языка: кто? откуда? и т. д. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общее подозрение.

— Повесить их! — кричали голоса. — Они нас подведут при случае!

Повесить успеем всегда, — спорил кто-то, — а надо из них правды добыть... На угольках поджарить али водой холодной полить: развяжут язык-то скорее.

К счастью Арефы, его опознал какой-то оборванец, бывший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за сто человек. Орда давно бы передушила их всех, да не давали в обиду казаки, которые часто вздорили с ордой. От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федорыче говорили везде, и все бежали к нему: сила у него несметная и всем жалует волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорыч очень уж мирволил двоеданам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки с испокон веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Яике. Одних беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорыч объявился в казаках... Как будто оно и не совсем похоже.

Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов — все вынес. И на огне его припекали, и студеною ключевою водой поливали, и конским арканом пытались душиить. Совсем зайдетесь, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумачи и издевательства.

— Ты заодно с ним, дьячок?.. Вместе на кобыле-то ехали...

— Неизвестный мне человек, — уверял Арефа. — Мало ли шляется по нонешним временам беспризорного народу. С заводов, григ, бежал.

— Смотри, дьячок, худо будет.

Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки хотя и считались по старой вере, а ели конину вместе с ордой, потому что привыкли в походах ко всему. Арефа хоть и морщился, а тоже ел, утешая себя тем, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст». Гарусов даже плюнул на него, когда увидел.

— Ужо вот я скажу игумну-то Моисею, — пригрозил он. — Он из тебя всю душу вытрясет.

— А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал, — ответил Арефа. — Ворочусь в монастырь и сам замолю свои грехи.

На стойбище простояли близко двух недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной ордой. Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и орда тоже снимается в поход. Сборы были короткие: заседлали коней, связали в торока разный скарб — и все тут. Пленных повели пешком, одною кучею, под прикрытием пяти джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая орда не знала пощады и заколачивала нагайками насмерть. Кормили тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной медицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой орды, слезно плакал и, наконец, добился своего.

— Ну, потом съедим твою кобылу, — в виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы.

— А как я без кобылы к апайке покажусь? — объяснял Арефа со своей наивностью. — Как к ней пешком-то ворочусь?

Две недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела «любая половина». А там пошла новая потеха: орда кинулась на русские деревни с особенным ожесточением, все жгла, зорила, а людей нещадно избивала, забирая в полон одних подростков-девушек. Кровь лилась рекой, а орда не разбирала, — только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую

сторону им бежать. А впереди везде по ночам кровавыми пятнами стояло зарево пожаров...

Пленных было так много, что орде наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. Орда разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздиравшие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипение. Орда выла от радости... Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее.

— Ах ты, шайтан! — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел. — Да как ты-то попал?

Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди.

— Вызволил преподобный Прокопий от неминуемой смерти, — слезливо объяснял Арефа. — Рядом попались мужики с толстыми шеями, — ну, меня и не задавило. А то бы у смерти конец...

Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще большие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам орда сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сента, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за

родную Башкирию, как ложится под косою зеленая степная трава.

Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыры пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью... У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни.

V

Пока дьячок Арефа томился в огненной работе, в медной горе, а потом в полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон надвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастырскими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала, зорила и жгла орда, а теперь бунтовали свои же казаки, и к ним везде приставали не только простые крестьяне, а и царские воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное — сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимавшейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смущали: то он идет с несметною силой, то его нет, то он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала орда, а потом потянули на их же сторону заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гулящие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от орды.

Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильною рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел сторожевые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было пять по углам окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по три пушки в двадцать пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая сто двадцать пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот, — это было самое опасное место, откуда нападала орда. На случай, если бы неприятель сбил ворота,

он был бы встречен двадцатифунтовым ядром. Особенно любовался этою большою пушкою новый инок Гермоген. Он по несколько раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафет и колеса, любовно гладил и еще более любовно говорил келарю Пафнутию:

— Это наша матушка игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги.

Вообще Гермоген ужасно интересовался всякою воинскою снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что и что к чему. Чугунных ядер и картечи в кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху не хватало — всего было двенадцать пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было три десятка старинных затинных пищалей и до ста ружей — фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Усторожья воевода Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей, которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому: сколько «принимала зелья» каждая пушка, как закладывается ядро, как наводить цель, как чистить после стрельбы и т. д. По совету Гермогена, одну трехфунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой.

А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитична, сильно неладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер сам лично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть ее. Не любил он это «воронье гнездо» и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своею тяжкою болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел

кругом стены и только покачал головой: все сгнило, обвалилось и кричало о запустении. Башен было всего две, да и те покосились и грозили падением ежечасно.

— Плохо место, — заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены. — Одна труха осталась... Пожалуй, и починить нечего.

— Пора совсем порушить это лукошко, — задумчиво ответил игумен. — Не подобает ему здесь быть... Пронесет господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь.

— А куда же сестры денутся?

— По другим монастырям разошлем... Да и разослал бы раньше, кабы не эта наша княжиха. Нет моей силы на нее... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня княжиха по рукам и ногам!

Все хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне, и в монастырских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игуменье.

На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитична. Сильно она похудела за последнее время, постарела и поседела: горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил!

— Ну, как поживаешь, матушка-воеводша?

— Ох, не спрашивай... Какое мое житье: ни баба, ни девка, ни вдова. Просилась у Полуехта Степаныча на пострижение в обитель, так он меня так обидел, так обидел... Истинно сказать, последнего ума решился.

— Мудреное ваше дело, воеводша. Гордыня обуяла воеводу, а своя-то слабость очень уж сладка кажется... Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон што придумал. Писал я ему, да только ответа не получал... Не сладкие игуменские письма.

Дарья Никитична только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею: не умел он утратить воеводу вовремя, а теперь лови ветер в поле. Осатанел воевода вконец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, а знает только свою поганку Охоньку. Для нее подсек и свою честную браду, и рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Охонькой, как медведь за козой, и радуется своей погибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало.

— У меня с игуменом будет еще свой разговор, — хвастался воевода. — Он еще у меня запоет матушку-репку...

Воевода не мог забыть монастырской епитимии, которой его постоянно корила Охоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько ему досталось монастырское послушание: не для бога поработал, а только посмешил добрых людей. То же самое и Охоня говорила...

— Все лежишь, Досифея? — спрашивал игумен Моисей.

— Бог за всех наказывает, — смиренно ответила больная игуменья. — Молитвы-то наши недоходны к богу, вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец...

— И то молюсь по своему смирению... Вот стенки пришел поглядеть: плохо ваше место, игуменья. Даже и починивать нечего... Одна дыра, а целого места и не покажешь.

— А чья вина? — заговорила со слезами Досифея. — Кто тебя просил поправить обитель? Вот и дождались: набежит орда, а нам и ущититься негде. Небойсь сам-то за каменную стеною будешь сидеть да из пушек палить...

— Еще неизвестно, што будет, а ты зря болтаешь...

— Чего зря-то: неминуемое дело. Не за себя хлопочу, а за сестер. Вон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов... Казачишки с «ордой» хрестьян зорят. Дойдут и до нас... Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу один ответ, а начальству другой... Вот и матушка-воеводша с нами страдать остается, и сестра Фоина в затворе.

— Будет, мать Досифея... Без тебя знаю, — сурово ответил игумен. — Тебя не прошу за себя ответ держать...

— Горденек стал, игумен, а господь и тебя найдет. С меня нечего взять: стара и немощна. А жалеючи трудниц, говорю тебе... Их некому ущитить будет в обители. Сиротские слезы велики... Ты вот зол, а, может, позлее тебя найдутся.

— Да што ты мне грозишь?! — крикнул игумен, стукнув костью. — Раскаркалась ворона к ненастью...

— А я скажу, все скажу, — не унималась Досифея. — Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь, за тебя же бога буду молить. Денно-нощно прошу смерти, да бог меня забыл... Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен, — тоже напрасно смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе... крепко молиться.

Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на старуху: даже ногами затопал. Пуще всех напугалась воеводша: она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали... В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот-вот игумен размахнется честным игуменским посохом, — скор он на руку, — а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду, — быть беде.

Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров свыше меры. Пафнутий едва поспевал за ним.

— Завтра поеду в Усторожье, — объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь, — у нас в монастыре все в порядке... Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет... Время не ждет.

Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайный смысл игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных мыслей, которые так и кружились над ним, как летний овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена... Славу пустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжело вздыхал и всю ночь проворочался с боку на бок. А подумать было о чем: ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается — опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой день, а игумен уж успел собраться: живую рукою склался. Тороплив не ко времени сделался.

— Я скоро вернусь, а вы на всякий случай сторожитесь, — советовал игумен, благословляя братию. — Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше: господь любя наказует...

Братия молча поклонилась игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми, а когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворот, неизвестный голос сказал:

— Однако и напугала его матушка Досифея!

Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестным. Келарь Пафнутий поник своею лысою головою: худая

вѣсть об игуменском малодушестве уже перелетела из Дивьей обители в монастырь.

Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча тучей. Все как-то не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая завороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея, а тут еще выжившая из ума Досифея каркает про напрасную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду.

В Усторожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно и неприбрано, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего. У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, увидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся.

— Што за человек? — сурово спросил игумен старца Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами. — Там, у ворот?..

— А там... неведомо кто, владыка. Пришел да и прижился. Близко недели, как на подворье... Из «орды», сказывает, едва ушел, из полону. Отдыхает теперь... Он будто верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывают, нещадно...

Оглядевшись, старец Спиридон прибавил уже шепотом:

— Одно неладно, владыка: лошадь-то я опознал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла...

Игумен велел позвать таинственного мужика и, когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате.

— Што, сладко ли в орде было? — спросил игумен, останавливаясь. — Все, видно, бросил, ничего с собою не взял... Монастырское-то добро впрок не пошло? Вижу твое рубище, а не вижу смирения...

— Не под силу нам, мирским людям, смирение, когда монахов гордость обуяла, — смело ответил мужик. — Я

свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четверне...

— Смейся, заблудящий пес... Скитаешься по орде, яко Каин, стяный и трясьйся, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя...

— А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня взвеличал, а в писании сказано, что «пес живой паче льва мертва...» Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А, промежду прочим, будет нам бобы разводить: оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет... Теперь и делить нам с тобой нечего. Видно, так...

Беда-то, видно, лбами нам вместе стукнула.

Смелый мужик положил шапку и протянул руку игумену.

— Здравствуй, Тарас Григорьевич... Сильно ты помят, пожалуй, и не признавать бы сразу.

— И то никто не узнает, а я и рад... Вот выправлюсь малым делом, отдохну, ну, тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба: надо лошадь переслать в Служную слободу. Дьячкова лошадь-то, а у нас уговор был: он мне помог бежать из орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихе. И хитрый дьячок: за ним-то следили, штобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели... Так и жив ушел.

Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили запершись, и игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся и сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в орде и в казаках и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки.

— А воевода Полуехт Степаныч сидит в Усторожье да радуется, — заключил Гарусов свой рассказ. — Свое стариковское лакомство одолело... Запрется, слышь, с дьячковскою дочерью и кантует.

— А вот мы доберемся до него.

Вечером игумен Моисей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода.

— Што вам нужно, полуношники? — громко спросила воеводская голова.

— А к тебе в гости пришли, Полуехт Степаныч... Аль не признал?.. Ну-ко, растворишь да принимаешь дорогих гостей честь-честью...

Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока запахнулись тяжелые ворота и дорогих гостей пустили на воеводский двор. Сам Полуехт Степаныч вышел на крыльцо.

— Благослови, владыка...

— Нет тебе благословения, блудник! — отрезал игумен Моисей, проходя в горницы. — Где девку спрятал? Подавай ее. Она моя, из нашей Служней слободы, а ты ее уволок тогда с послушания, как волк овцу. Подавай девку... Сейчас прокляну!..

Затрясся весь Полуехт Степаныч, из лица выступил и только прошептал:

— Ничего я не знаю, владыка... Бери сам, а я не знаю.

Игумен Моисей обошел воеводские покои и нашел Охоню в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Охоня молчала все время. Одетая она была как боярыня: в парчовом сарафане, в кокошнике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубяс. Она так же молча переделалась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом.

VI

Охоня высидела в бане целых три дня и все время почти не ела. Да и нечего было есть. Только старец Спиридон сжалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку.

— Эй, Охоня, што ты все молчишь? — спросил старик.

— Тошно... отстань...

— Эх, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя: пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе.

— А што мне было дожидать?.. Хоть час, да мой... Было бы в чем покаяться да под старость вспомнить.

— Девка, молчи!..

— И то молчу... А ты не спрашивай без пути. Говорят тебе: тошно.

— Грех-то какой ты на душу приняла, а? — брюзжал Спиридон. — Ты подумай только грех-то какой...

— У девки один грех, а ты осудил, — грех-то и вышел на тебе. Помру, ты же замаливать будешь.

— Ну и девка! — удивлялся Спиридон. — Ты как должна бы себя содержать: на голос реветь... А то молчит, как березовый пенёк.

— Может, плакать-то не о чем. Надоед... уйди.

Старец Спиридон только вздохнул. Ну и чадушко только зародилось у дьячка. Того гляди, еще что-нибудь делает над собой. А Охоня действительно сильно задумывалась: забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает-думает, закроет глаза, и кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше, а тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит, как сумасшедшая. Страх напал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивал: «А, ты вот где!» Хочет Охоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно! Всю-то свою девичью жизнь вспоминает Охоня, как она у бати жила в Служней слободе, ничего не знала, не ведала, как бату в Усторожье увезли, как ходила к нему в тюрьму... А там в окно глядели на нее два соколиных молодецких глаза, — глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянулось Охоне обительское послушание: убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуект Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичонка, а размякнет — не глядели бы глазыньки. Туда же — целоваться лезет, сторожит, заглядывает... Смешно даже было, когда Охоня, случалось, прогонит его, а воевода сядет и заплачет, как ребенок малый.

— Сняла ты с меня голову, Охоня, а теперь гонишь... Молодого тебе надо. Скучно со стариком...

В другой раз Охоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, и воевода повеселеет.

Да, было всего, а главное — стала привыкать Охоня к старому воеводе, который тешил ее да баловал. Вот только кончил скверно: увидел игумена Моисея и продал с первого слова, а еще сколько грозился против игумена. Обидно

Охоне больше всего, что воевода испугался и не **выстоял се**. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался.

А воевода тоже думал и передумывал об Охоне все эти три дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опочивальне. А когда ему принесли с подворья весь дареный Охонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчовому сарафану и зарыдал. Все прислала назад, ничего не оставила, кроме перстенька с яхонтом. Такое лютое горе схватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, писчика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока, — больно дерется игуменский посох... А через три дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в Дивью обитель за воеводшей. Повесил седую голову Полуект Степаныч, закручинился... Молодая-то радость вспорхнула, и нет ее, а воеводшу не скоро-то избудешь. Возвратится из обители, поселится и будет жить как бельмо на глазу. Эх, Охоня, Охоня!.. Эх, старость проклятая!.. Одного не знал воевода, что в колымаге отправлена была и Охоня, под крепким караулом. Ее прямо должны были привезти в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фоина.

Утешался Полуект Степаныч только травником, да и то приходилось пить одному, — ни игумен, ни Гарусов не принимали даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся.

— Ну, будет тебе дурить! — бранил его игумен. — На старости лет натворил того, што и подумать-то нелепо. С лукавою плотью нужно бороться и нещадно ее терзать.

— А ежели меня дьячок испортил? — оправдывался воевода. — Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло... Вот как испортил: не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил?.. Ох, горюшко душам нашим!

— Ну, это уж ты врешь! — спорил игумен, стучая посохом. — Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал... Я вот его на цепь прикую, как только выворотится из орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует.

— Теперь ты не удивись его ничем, — посмеивался Гарусов. — После моей науки нечему учить... Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего и нет.

— Ну, ты уж тово, как медведь, — ворчал воевода. — Зачем на смерть-то забивать крестьянишек?

— А ежели они не хотят задатков отрабатывать?

— Помалкивай, Тарас Григорьевич... Знаем, што знаем, а промежду прочим дело твое, ты и в ответе.

Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит и вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится?.. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уже теперь времени-то прошло... А ведь все там осталось, на Баламутском заводе да на руднике. Разорят вконец, ежели казакишки захватят все обзаведение. Поправлять поруку хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело... А начальство ничего не хочет помочь, да и силы нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтар и драгун из Тобольска, а о них ни слуху, ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства: схватятся, а дело уже сделано.

А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Гарусову: бродит он по Усторожью, как неприкаянный, и все смотрит в свою сторону. Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверко да сухой снег подметает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится: оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет, да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит.

— Хорошо, што вы вовремя помирились, — язвит Полуехт Степаныч. — А то делились, делились, никак разделиться не могли... Игумну своего жаль, а Гарусов чужое любит.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, Полуехт Степаныч. Вот што ты заговоришь, когда воеводша Дарья Никитишна из обители выворотится.

— А ежели на меня напущено было? Да ты, Тарас Григорьевич, зубов-то не заговаривай... Мой грех, мой и ответ, а промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват — и весь тут... Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов.

— Так, так, — повторял игумен. — Хороший ты человек, воевода, когда спишь. А днем-то мы тебя што-то не-

много видим. Вот и сидим у тебя да ждем погоды. Засилья нам не даешь, а то и мы бы выворотились к своим местам...

Ужо по заморозкам рейтары придут, — отвечал воевода. — Они теперь на винтер-квартирах... Мне и то маэор Мамеев засылку делал... Тоже приказу ждут. Неведомо еще, куда их пошлют. А вас и без рейтар ущитим... Тоже видали виды...

В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уже все было охвачено: и бывшая монастырская вотчина и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житьишко везде, народ разбежался куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на ектеньях поминают царя Петра Федорыча.

— Что же это будет-то? — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу. — Где же начальство-то? Чего оно смотрит?..

— А вы сами виноваты, — объяснял Полуект Степаныч. — Затеснили вконец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел. У всякого своя причина. Суди на волка, суди и по волку... А главная причина — темнота одолела. Вот я, — у меня все тихо, потому как никого я напрасно не обижал... У меня порядок.

Похвастался воевода, а тут как раз писчик Терешка сбежал к мятежникам да еще подбросил на воеводский двор «противное» письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю «поганую бороденку».

— Что же, не кормя, не поя, ворога не наживешь, — грустно заметил Полуект Степаныч.

Побег Терешки обозначал, во-первых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Полуект Степаныч сразу встряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в орду и сторожевую службу по линии. Городские жители

тоже готовились к предстоящему сидению, потому что и зима велика, а народу набегит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был — «именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и проч., и проч., и проч.», в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно, до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление, и за то будете жалованы крестом и бороною, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованьем и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью. И повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость; а ежели вы моему указу противиться будете, то вскорости восчувствовать на себя праведный мой гнев. Власти всевышнего создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто, — от сильных наша руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр Третий Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше.

Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу.

— Терешкина рука, — проговорил он со вздохом. — Ах, сквернавец!..

— А это дьячкова рука, — уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист. — Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьевич... Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало... А что же наша воеводша не едет?

— Пора бы ей быть дома, — смущенно заявлял воевода. — Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..

В сущности воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Ока-

Залось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитична вся обмерла со страху, ожидая неминуемой смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную тряпьядь.

— Терешка, побойся ты бога, — взмолилась воеводша.

— Это вы побойтесь теперь бога-то, а мы достаточно его боялись, — с холопскою наглостью ответил Терешка. — Поклончик воеводе... Скоро увидимся, и то я уж соскучился.

Из других вершников напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за начальника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:

— Оставь, Тимошка... Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуется, што старушка благополучно доехала.

По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак, который сидел за дубинщину в устроожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атаманит».

— Посмеялись они над нелюбимую женой, — жаловалась воеводша. — Ну, да бог их прости... Чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем дому.

Воеводша встретила с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.

— Похваляются Прокопьевский монастырь взять, — рассказывала воеводша, покачивая головой. — На мона-

стырскую казну зарятся... А потом, говорят, и Усторожьё **иссдобровать**.

— А про дьячка Арефу не слышать? — полюбопытствовал Гарусов.

— Как же, пали слухи и про него... Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибежала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась... Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили... Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамота и говорить-то... В первый же день хотела она **удавиться**, ну, из петли вынули, а потом стала голодом себя **морить**. Насильно теперь кормят... Оборотень какой-то, а не девка.

VII

В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилось масса народа, сбежавшегося сюда со всей Яровой и ордынской линии. Другие пока пристроились в Служней слободе, потому что монастырских помещений не хватало. А время было зимнее, холодное, и всем нужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебная и квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый народ, а сами благоуветливые старцы сбились в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожьё, в орду и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтоб идти на Прокопьевский монастырь.

— В Башкирии свой атаман объявился, — рассказывали беглецы. — Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...

Но Башкирь была не страшна, потому что хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, и за **ним** свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при

Белоусе главным советником состоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смиренный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.

— Не своею волей Арефа подметные письма пишет, — говорил он. — Застрашали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится.

— В животе и смерти один господь волен...

— Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, чтобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье, и у Гарусова.

— На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, негоже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.

О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо: на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели «встреча» случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить — весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст на тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.

Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служную слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служную слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито от-

правился к попу Миرونу, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.

— Плохая надежда на Служную слободу, отец келарь, — говорил он. — Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...

— А што он говорит?

— Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.

Большим местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать — сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Охоне знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген ничего не подозревал.

— Обитель захватят воры прежде всего, — говорил Гермоген, — рассматривая с башни позицию, — ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.

— Указу нет относительно затвора, ничего не поде лаешь, — повторял Пафнутий с сокрушением. — Связала нас княжиха по рукам и ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...

В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.

Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:

— Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорычу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!

Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными

письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.

«Какой у вас Петр Федорыч? — писал им отписку келарь Пафнутий. — Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время дванадесять лет... А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди...»

Монахи боялись за крещение, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещение прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещения. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам, у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черной лентой, точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.

— И без игумена управимся, — утешал его Гермоген. — Он нам из Усторожья подмогу приведет.

Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманами велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза, — не

во сне ли это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честь честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.

— Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей, — ваявил он. — По злобе ты засажена была сюда...

Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью;

— Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь.

Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атамановское сердце, и не поверил он своим глазам.

— Ты... ты кто такая будешь? — тихо спросил он.

— А все та же... была отецкая дочь...

Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, зашатался и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.

— Не время теперь девок разглядывать, — ворчал он. — Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.

Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.

Игуменья Досифея была найдена в своей келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своею смертью.

Тихое обительское житье сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в Служную слободу, а все

обительские здания были заняты людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правилась заново. Ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкарки из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли и сундук с обительскою казною, которой налицо оказалось очень немного: бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный.

За ним ходил дьячок Арефа и наговаривал:

— Пусти меня, атаман...

— Куда тебя пустить?

— А к дьячихе. До смерти стосковался по своем домишке.

— Ну, ступай, черт с тобой, да только не беги у меня, а то...

— Теперь уже мне некуда бежать. Будет... Мне бы только дьячиху повидать, а тут помирать, так в ту же пору.

Побежал Арефа к себе в Служную слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день короток, — не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороге дьячок остановился перевести дух. Служная слобода так и гудела, как шмелиное гнездо, в Дивьей обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно... Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может, и нет. Вон поп Мирон соблазнился... Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего не известно.

Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своею бабьею стряпней, благо было кому теперь продавать и калачи и квас. Почтище ярмарки дело выходило.

— Здравствуй, Домна Степановна.

— Здравствуй, Арефа Кузьмич... Каково тебя бог носит? Забыл ты нас совсем... Спасибо, што хоть кобылу прислал.

— А где Охоня?

Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил:

— Трудненько будет, Домна Степановна... В Дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек по монастырю палить будет.

— И в монастыре тоже пушки налажены... Только, сказывают, бонбы-то верхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегала к попу Мирону... У него Терешка-писчик из Усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, што ни взад, ни вперед...

— Ничего, не бойся: маленькие мы люди, с нас и ответ не велик.

Опять обошел все хозяйство Арефа и подивился: все в исправности у Домны Степановны и всего напасено вдоволь. Не покладаячи рук работала старуха. Целую ночь провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь, она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уже после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводу из Дивьей обители, как бежала Охоня и как ухватил ее нечестивый Ахав-воевода. Ездила дьячиха в Усторожье, только пристава ее не допустили к дочери. Напринималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Охоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь уж Арефа слушал и плакал.

— Забыл, видно, нас преподобный Прокопий, — повторил дьячок. — Ни в живых, ни в мертвых живем.

И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на своих полатах. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячею водой и варили паром. А утром видно было, как зашевелилась вся Дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гер-

моген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в Яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служняя слобода. Немного погодя грянула первая пушка из Дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилося в каменную монастырскую стену.

Это было началом, а потом пошла стрельба на целый день. Ввиду энергичной обороны скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко, а пускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же палили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в Дивью обитель, Брехун его прогнал.

— Ступай к своей дьячихе, а нам и без тебя хлопот достаточно...

К дьячихе так к дьячихе, Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек пять оказалось убитых, и в том числе чуть не пострадал и Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом.

VIII

Осада монастыря затянулась. Белоус, по-видимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить. — Конец мой... тошнехонько.

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный старик, подо-

брав полы монашеской рясы, жалкою трусцой семенял через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом месте убьют? — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал кряду несколько ночей и чувствовал себя очень добро. Только и отдыху было, что приклонится где-нибудь к стене, и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу. Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо, — заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию. — Ты — старик, а боишься.

Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

— Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходе и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убитых, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец, — кричал Белоус. — Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атамановского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братии, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея, — рассказывал он. — Затаил я это самое дело, чтобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это пис-

чик Терешка да слепец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня? — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе, — а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не осталось.

Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне, — смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-писчиком. — Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погорюет, а Охони все-таки не воротит... Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пускает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подосплет помощь из Усторожья. Всего два дня перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороной Урала.

— Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь, — советовал Брехун. — Лучше этого нет средства... К самым стенам подкатим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь, — по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служнюю слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дячок Арефа.

— Сдавайтесь! — кричал Мирон своим зычным голосом. — Может, батюшка Петр Федорыч и помирует!

— Вот ужо придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный, — отвечали со стены монахи. — Не от ума ты, поп, задурил... — Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие, — смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, а половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем зачиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел родного гнезда. Выискали охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но иннок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо, — грозился Брехун. — Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустил и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. Тѣ злѣба его охватит к Охоне, — своими руками задавил бы змею подколенную, — то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидеть боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему в глаза посмотрит?

Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заморозила горячее казачье сердце. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собою про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла... Целовалась и миловалась со старым да корявым, а про казачью голову позабыла. Мягко спала, сладко ела пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его Охоню. Вскочит он, как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Охони, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел гонец: идут к Усторожью рейтарские полки, а ден через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служную слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь-честью. Приготовлены были и пищажи, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит мона-

стырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит, теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служнюю слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал всех вперед, — это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впереди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел на всех пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служняя слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не унывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служнюю слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атаман, убирать подобру-поздорову пяты, —

советовал Терешка. — Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься...

— Да я так...

Неудачный приступ навел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьею сотнею. Белоус точно еще на что-то надеялся и все выжидал. Так прошло томительно-долгих три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец, прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут...

— Пусть!..

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус, наконец, поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда, — никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопища Пугачева прошли на Ка-

заны, а по всей Яровой шла деятельная «разборка». В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов, в Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и маэор Мамеев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуект Степаныч. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один «ровнячок», та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания — «брать десятого». Этого несчастного десятого били кнутом, драли плетью, дули батожем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени.

«Головка» бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и Брехун. Они ушли целы и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое: поп Мирон, дьячок Арефа и писчик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судною избою, где раньше уже сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуект Степаныч хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей «шатости» и не примкнуло к самозванцу.

— Э, пора костям и на покой, — устало говорил воевода. — Будет, послужил... Да и своих грехов достаточно. Пора о душе подумать...

Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабной энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служняя слобода давно повинилась, как один человек, «десятый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях.

Замирившийся край представил собой печальную картину. Половина селитбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и пугачевщины. Пашни оставались не-

пахаными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врозь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову.

Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и писчиком Терешкой собрались в Усторожье все: и воевода Пслукт Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и маэор Мамеев. Долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. Писчик Терешка не вынес этой пытки и «волею божиею помре», как сказано было в протоколе допроса. Попа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь.

— Слава богу, — проговорил Арефа, перекрестившись. — Давно бы так-то, так оно бы лучше. Конечно, жаль дьячихи Домны Степановны, только на што я ей теперь? Был конь, да уезжен.

Таким образом, все успокоилось.

Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра: во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся Дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасти из затвора княжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри и сгорела живая. По слухам, она давно уже была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инока Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Мирону, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефе, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающею кротостью.

Прошло несколько лет.

Одряхлел воевода Полуект Степаныч и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в других городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табачники. Полуект Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто лег-

че на душе... Любил старик покаять с опальными иноками о недавней заворохе, особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о невинно зарезанной Охоне и дьячихе Домне Степановне, переехавшей на житье в Усторожье, — она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду.

— Все мы грешные люди, — повторял с грустью Полуект Степаныч, качая своею седою головою. — А на каждом грехов, как на черемухе цвету...

Агафангел иногда начинал заговариваться, приходил в ярость, и его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь, и задумал он небывалое, именно, перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано — сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая работа закипела. Разбирали каменные монастырские стены и кирпич свозили на плотах по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки и только оставили до времени один собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которое не напоминало ему ни о дубинщине, ни о пугачевщине.

Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода. Монастырские крестьяне были переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянули и остальные. Но новый монастырь строился тихо. Своих крестьян оставалось мало, да и монастырская братия поредела, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь.

Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Усто-

рожье. Старый воевода вострепнулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуекта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуекта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой...

Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только по-прежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы «Охониными бровями».

НА КУМЫСЕ

(Из летних экскурсий)

I

— Ну, так как насчет травы-то, Егорыч, а?..

— Чего: как?.. Пушай коней, а потом рассчитаемся... Не стало ее, травы-то, што ли?

— Оно, конечно, травы у вас вьудоволь, а только все-таки... Ты уж напрямки скажи цену, штобы без сумленья.

— Да говорят тебе: пушай... Эко разговор нашел: трава. Все одно на корню простоит...

Разговор происходит где-то под окном. Я его слышу сквозь сон, но не могу проснуться, — так крепко спится. Один голос, без сомнения, принадлежит моему кучеру Андронычу, а другой — неизвестному лицу. Наступает пауза, и я снова засыпаю.

— Так уж ты делом, Егорыч, говори!

— Да я же тебе сказал. Эк привязался человек!

— В самом деле, штобы аккуратно... После сам судачить будешь. А травы у вас, прямо сказать, невпроворот. Все равно в дудку уйдет... По дороге-то видели тоже достаточно. Барин спрашивал: «зачем, говорит, сухия дудки?» А я рассказываю, што в казаках у вас не укусить этой самой травы, вот она стоит, стоит да в дудку вытянется... Известно, какия места: одно слово — ренбургская губерния, орда пошла.

— У нас какая трава: ковыль... крепкая, одно слово. Пусти-ко городскую лошадь с овса да прямо на свежую траву — измоет ее, а на нашей только жиру нагуляет.

— Знаем... Не в первой по степе-то ездись. Слава богу, тоже было поезжено... В третьем годе барыню под

Троицк на кумыз¹ возил, ноне вон барина предоставил. Ну, так как насчет травы?

— Пушай, сказано.

— Ну...

Пауза. Я открываю глаза. Маленькая конурка залита ярким июньским светом, который просто слепит. Единственное окно выходит во двор. Где это я? Ах, да, на кумызе... Последняя мысль заставляет меня быстро подняться с места и распахнуть окно. В комнату врывается струя холодного утреннего воздуха, пропитанного ароматом той степной травы, о которой сейчас идет разговор. Я быстро надеваю охотничьи сапоги, шведскую куртку и кричу в окно:

— Андроныч, попроси у хозяина коробка съездить в кошки...

Хозяин, оренбургский казак Егорыч, подходит к окну сам и, почесывая одною рукой спину, объясняет, что можно ехать и на его лошади, — сделайте милость, все равно так же стоит. Невысокая фигура Егорыча с его бабьими покатыми плечами решительно не имеет в себе ничего воинственного, а рябое подслеповатое лицо с белокурыми, скатавшимися волосами — того меньше. Может быть, есть своя казачья хитрость, но и только.

— Разе у нас своих коней не стало? — ворчит Андроныч. — Нам коробок только.

— А вон он стоит, у плетня.

Комната у меня такая маленькая, что, по поговорке, кошку за хвост негде повернуть. У двери четвертую часть помещения заняла битая из глины печь. Пол покосился. Пахнет свежешю известкой и застоявшеюся сыростью. Две лавки и крошечный стол составляют всю мебель. Чемодан и разные дорожные вещи свалены в углу. Квартира попалаь неказистая, но не из чего было выбирать.

Пока Андроныч закладывал свою лошадь, я выхожу на крылечко умыться. Рукомойником служит какой-то глиняный черепок, подвешенный к крылечку сбоку. Тут же и помойная яма, а в ней роется свинья с двумя поросятами. Вода такая холодная, и я с удовольствием вытираю себе ею шею, — на свежем воздухе так редко приходится умываться, а помойная яма со свиньей и поросятами в счет

¹ В степи говорят «кумыз», а не кумыс. (Прим. авт.).

нейдет. Егорыч продолжает стоять у окна и наблюдает церемонию умыванья. Видимо, он не умеет даже спросить: каково изволили почивать? — а просто зевает на нового человека, который свалился неожиданно-негаданно на его казачью голову в виде непредвиденной доходной статьи.

— А других квартир нет в деревне? — спрашиваю я, хотя отлично знаю, что квартир нет.

— Каки у нас в станице фатеры!

— А другие кумызники как живут?

— А те, значит, раньше приехали... с весны еще, значит.

— Я видел вчера несколько хороших домов.

— Каки у нас дома! Всего-навсего один. У суседа, значит, напротив сусед, так у ево адвокат из Мияса.

Нет, в моем хозяине решительно ничего незаметно казачьего, что даже обидно: станица Михайловка принадлежит к области Оренбургского казачьего войска, а Егорыч стоит вахлак вахлаком, как самый обыкновенный мужик. Обстановка его казачьего жилья тоже незавидная: избенка проваленная, крылечко покосилось, двор грязный, хозяйственные пристройки из березового плетня, крыши из соломы. Прибавьте к этому, что Егорыч один из самых зажиточных казаков, кроме, может быть, «суседа напротив».

— Так вы к Баймагану в кош? — спрашивает Егорыч, когда Андроныч с городским шиком «подает» к крылечку.

— К Баймагану... А разве есть еще у других киргизов кумыз?

— У Демариной стоит один, потом к Житарям, — ну, те, значит, победнее, а Баймаган побогаче будет. Тридцать жеребых кобыл содержит.

— А другие кумызники тоже у Баймагана берут кумыз?

— У кого же больше? Все у него.

Убедившись, что и «другие» пьют кумыс у Баймагана, я совершенно успокаиваюсь, — великая сила для русского человека в этом невинном слове «другие», или «как другие». Если эти «другие» делают, так, значит, это хорошо: они уж знают, эти «другие», как получше устроиться, а нам остается только воспользоваться их опытностью. Отлично, едем к Баймагану, о котором я слышал еще в Екатеринбурге.

— А бутыль-то у вас есть? — останавливает нас Егорыч. — Бутыль под кумыз...

— Эх, надо было из городу захватить! — как-то даже охнул Андроныч и почесал затылок. — Ведь вот сколько разов езжу с кумызниками, а поди ты...

— Может быть, у Баймагана найдется? — нерешительно делаю я предложение.

— Какие у его бутылки!..

Искомое оказывается под рукой: бутылка есть у Егорыча, и он только тянул время. Говорить о цене, конечно, смешно: давай сюда бутылку. Это была настоящая кабацкая «четверть» из пузыристого зеленого стекла и в достаточной степени грязная.

— О прошлом годе кумызники же подарили, — объясняет Егорыч, прячя бутылку в передок. — А вы, барин, когда будете рядиться с Баймаганом, насчет Аники опасайтесь...

— Какого Аники?

— А который кумыз от него по кумызникам развозит, этот самый Аника и есть... Он бутылкой десять везет зараз, как по стакану из каждой хлебнет, вот и пьян. Уж это верно... Тоже наняли козла капусту караулить.

— Ну, это уж мы сами знаем... — резко обрывает Андроныч кляузничавшего доброжелателя. — Слава богу, не впервой в степе-то жить.

В переводе это означало, что Андроныч и сам не прочь отбить работу у неизвестного Аники — все равно лошади даром будут стоять. Отчего, в самом деле, не нажить двугривенного, хотя Андроныч совсем не жадный, обстоятельный мужик.

— Он вот еще с вас за бутылку-то сбреет здорово... — совсем уж невежливо прибавляет Андроныч, пока Егорыч отворяет ворота. — В Кочкаре купим лучше. Эх, из городу бы захватить!

— Тридцать копеек давайте за бутылку: больше не надо, — кричит нам вдогонку Егорыч. — Все равно, так же лежит.

— Ладно, наговаривай, — ворчит Андроныч в ответ. — Тридцать копеек. Тоже и выговорит человек!..

II

Выезжая из ворот, я заметил того мясского адвоката, который занял в станице лучший дом. Он теперь сидел в раскрытого окна и равнодушно смотрел на широкую, грязную улицу, как человек, которому нечего было желать. Со-

знаю, у меня мелькнуло какое-то чувство зависти к этому человеку: есть же на свете люди, которые во всяком деле забирают первые места, и есть люди, которым достаются последние.

— Дорогу-то расспросил, Андроныч?

— На-вот... Слепой доедет.

Станица Михайловка состояла всего из одной широкой улицы, утонувшей в грязи даже в жаркие июньские дни. Два ряда бревенчатых избушек уныло смотрели друг на друга через эту грязь. Общий вид получался самый жалкий, но это убожество выкупалось отличным сосновым бором, который стеной подошел к самой станице, их разделяла гнилая степная речушка, сочившаяся ниточкой из степных «озеринок». Это с одной стороны, а с трех других открывалась панорама уже степного характера. Едва всхолмленная равнина зеленым ковром уходила из глаз, напоминающая «врачающий простор» южно-русских степей.

Наше появление вызвало на улице несколько собак, проводивших нас за околицу с свойственным деревенским собакам лающим любопытством. На завалинке одной избы я заметил два пиджака, в бору мелькало светлое летнее платье, в одном оконце показалось свежее женское лицо, — все это, без сомнения, были кумызники. Миновав последние избушки, наш коробок круто повернул к речке, а переправившись через нее, маленькою дорожкой покатился по зеленой опушке. Попались еще два кумызника, молодые люди с веревочными гамаками через плечо. Утро было отличное. В бору еще стояла ночная свежесть, но по степи уже наносило теплым ветерком, точно кто дохнет вам прямо в лицо. Вон и степной ковыль качается своими султанами, и пахнет полынью, и пестреют яркие степные цветочки.

— Нет, он шельма, Егорыч-то, — думал Андроныч вслух, распуская возжи. — Возьмите, слышь, его лошадь, а мы-то разе на костылях приехали? Слава богу, свои кони есть... Возьми бы у него лошадь, да и плати ему. Тоже вот бутыл... Вся-то ей цена пятиалтынный, а он: «тридцать копеек возьму». Этак ежели каждый год господа будут у ево покупать бутыл да ему же дарить, так этому и конца не будет... У денег, конечно, глаз нет, — ну, да и зря потачить казачишек этих не следует.

На Андроныча накатывалась иногда полоса безпричинной придиричивости, как было и сейчас. В поведении Его-

рыча пока ничего обидного для нас не было, но Андронич уже невзлюбил его и выискивал *causa belli*¹.

— Ну, а как вы с травой-то сделались? — перебил я его.

— Да с ним, с темною копейкой, разе сговоришь? Я ему русским языком говорю: сколько? а он свое зноздит: пушай коней. После-то расчитывайся как знаешь...

— Чего же ты ворчишь? После-то он, может быть, самую малость с тебя возьмет.

— Да мне деньги плевое дело, а так... несообразный человек... Вон она, трава-то ихняя, стоит: эвон сколько сухой дудки — некошеное место. А трава-то, трава-то.

Бор остался позади, а вместо него зелеными облаками поднимались березовые островки. Между ними лежали роскошные покосы. Поднимавшиеся сухие дудки прошлогодней травы подтверждали слова Андронича: место, действительно, оставалось некошеным.

— Экое место пустоет, а? — благочестиво негодовал мой возница, качая головой. — Бить их некому, казачишек-то. Ковыльная трава пошла, все одно што чай — вот какое место...

Между березовыми пролесками синею струйкой поднимался дымок. Вместо ожидаемых кошей оказался прииск. Человек пятнадцать башкир работали в каком-то болотце. Отсюда открывался далекий вид на целый ряд таких работ, но большая часть была давно заброшена и желтели только валы перемывок.

— Землю портят, подлецы, — ворчал Андронич.

До стойбища Баймагана оставалось всего с полверсты. На небольшой поляне, с трех сторон защищенной березняком, как шапки, стояли три коша. В тени берез спасался от овода косяк дойных кобылиц. Навстречу нам выскочила целая стая высоких и тощих киргизских собак. У крайнего коша курился небольшой огонек и жарким пятном вырезывалось кумачное платье маленькой девочки, глядевшей на нас большими, темными глазами. Когда мы подъехали, из середины коша вышла красивая девушка киргизка и что-то заметила красному платью, которое, позванивая серебряным монистом, как ящерица скрылось в коше. Киргизские девушки носят серые мерлушковые шап-

¹ *Causa belli* (лат.) — повод к войне

ки, а женщины повязывают голову длинным белым покрывалом.

— Хозяин дома? — с вежливостью городского человека обратился Андроныч к киргизской красавице.

Она молча указала рукой на крайний кош и чуть-чуть улыбнулась. Лицо у ней, действительно, было красивое, и матовая смуглость кожи эффектно оттенялась смолью черных волос, темными, большими глазами и писанною бровью; только скулы были немного приподняты, а то совсем красавица. Пестрый шелковый бешмет так шел к этой степной красоте.

На наши голоса показался, наконец, и сам хозяин, толстый киргиз Баймаган¹. Отогнув расшитую кошму, закрывавшую вход, он знаком руки пригласил нас войти. В своем длинном бешмете из черного ластика и фиолетовой бархатной тибетейке Баймаган походил на какую-то духовную особу; скуластое, узкоглазое лицо с узким лбом и жиденькою бородкой было настоящего киргизского типа, а смуглая кожа лоснилась, как хорошо выделанный опоек. Прищуренные глаза смотрели с тою смесью простодушия и хитрости, какая присуща всякому степняку.

— Милости просим, — говорил он, пропуская нас в кош.

— Кумыз приехали пить, — объяснил Андроныч, оглядывая обстановку коша.

Снаружи кош Баймагана имел вид громадной тибетейки, из новой серой кошмы, сажени три в диаметре и сажени две высоты. Верх составлял деревянный круг (чанарак) с отверстиями, в которые вставлены были плоские и выгнутые деревянные крестовины (ууки), образовавшие, как ребра, остов коша; нижняя часть этого деревянного скелета состояла из складной деревянной решетки (керега), к которой крестовины купола привязываются волосяными арканами. Снаружи все покрыто кошмами (войлок), а внутри крестовины переплетены узорчатыми тесьмами. Деревянная решетка внутри была задрапирована коврами, а вход в коше — расшитою кошмой (такимет). Как основной строительный материал, так и внутреннее убранство варьирует, смотря по богатству хозяина, но в общем кош составляет довольно ценную вещь и обходится рублей в 300 среднего достоинства. Самые лучшие коши делаются из белых

¹ Баймаган — сокращенное Бай-Магомет. Бай — господин. (Прим. автора).

кошем. Нужно заметить, что такой кош служит всего года 3—4, а потом кошмы изгорают, и нужно их заменять новыми. Внутреннее убранство коша Баймагана обличало полный достаток хозяина: тут были и зеленые тагильские сундуки, накрытые дешевыми бухарскими коврами, и скрытая под пологом кровать — направо от двери, и горы подушек под курпе (степные шелковые одеяла), и кошма на полу, и ружье на стенке и т. д. Сейчас направо между дверью и кроватью, на особой деревянной подставке с низенькою деревянною решеткой, что-то вроде крестьянской зыбки, помещалась «саба» — кожаный громадный мешок с кумызом: в каждой такой сабе устроен пискек — деревянная мутовка, которой постоянно взбалтывают кумыз. Как подставка сабы, так и верхний конец пискека были покрыты вычурною резьбой, костяными инкрустациями и раскрашены с азиатскою пестротой.

Около сундуков, на кошме спал совсем голый мальчик лет шести, которого Баймаган сейчас же прикрыл курпе. У сабы на корточках сидела старая киргизка¹ и в деревянную чашку переливала кумыз. Зачерпнув его деревянным ковшом с узорчатою ручкой, она поднимала руку и выливала кумыз в чашку тонкою, пенившеюся струей. По костюму можно было догадаться, что это жена Баймагана, а по лицу — что это мать встретившей нас девушки. Налево от двери стоял крашенный деревянный стол и два стула. Баймаган усадил нас к нему и подал два стакана кумыза.

— Нам покрепче, — тоном специалиста предупредил Андронич. — Люблю я этот кумыз, больно ядрено с него отрыгаются. Ну-ко, господи благослови.

Мне раньше случалось пробовать кумыз, но это прославленное питье не представляло ничего привлекательно-го: что-то такое в нем есть неприятно-острое и потом этот вкус прелой, квашеной кожи. Подождав, пока Андронич выпил свой стакан и аппетитно крякнул, я принялся за свою порцию.

— Ничего, ядреный кумыз, — хвалил Андронич, вытирая усы рукой. — Так шибануло в нос, как от кислых штей.

Первый стакан я выпил с большим трудом, хотя и не

¹ К и р г и з к а — казашка; под киргизами в произведениях Мамина-Сибиряка и других дореволюционных писателей разумеются казахи.

испытывал положительного отвращения — кумыз был «молодой» и сильно ударил в нос. Как с лекарством, с этим питьем положительно можно было помириться, хотя настоятельной необходимости надуваться им и не предвиделось, — сколько попьется.

— После сам попросишь, — заметил с самодовольною улыбкой Баймаган. — Не нужно много пить сразу, — отобьет.

Киргизка мотнула в подтверждение головой, машинально продолжая свою монотонную работу. Баймаган осведомился, откуда мы приехали, где остановились и долго ли проживем. Говорил он ломаным русским языком, но совершенно достаточно для киргиза, и держал себя настоящим степным джентльменом. Когда зашла речь о цене за кумыз, он ответил совсем стереотипною фразой:

— Как другие платят... Лишнего не возьмем.

Андроныч, чтобы не мешать этим переговорам, после двух стаканов вышел из коша, как и следовало сделать «практикованному» городскому человеку, умевшему держать себя с господами. Мне очень понравилось в коше Баймагана, где все было устроено с таким удобством; не даром еще Геродот завидовал подвижным домам кочевавших скифов. Спавший маленький степняк проснулся и с детским кокетством улыбался из-под своего курпе; переливавшая кумыз мать любовно поглядывала на будущего батыра и тоже улыбалась.

— Ты давно здесь живешь? — спрашивал я Баймагана с любопытством настоящего кумызника.

— А лет двадцать... У Поклевского служу...

— Как у Поклевского?

— А в Демариной у него винокуренный завод, так я у него и служу.

— А-а! — промычал я, чувствуя, как создавшаяся степная иллюзия разлетается в прах, а кош со всей его обстановкой превращается в театральную декорацию, в жалкую тень несуществующего порядка вещей.

Когда я вышел из коша, Андроныч мирно беседовал у огонька, курившегося под большим чугунным казаном (большой азиатский котел), с оборванным киргизом.

— Девка-то, которая даве навстречу выходила, дочь будет Баймагану, — объяснял Андроныч дорогой. — Да... А этот кыргыз, с которым я сидел, в сторожах у ево. Хай-бабулой звать... За табуном ходит.

После короткой паузы Андронич прибавил:

— И народец только...

— А что?

— Да так. Отецкая дочь, например, а живет в коше у жениха. Когда калым заплатит, тогда женой будет, а теперь так... невитое сено.

— У них такой обычай.

— Заплати сперва калым, тогда и девку уводи, а то... народец!.. Этак всякий по-ихнему-то обычаю начнет девок обманывать, разве это порядок?.. А вы Егорычу за бутыль денег не отдавайте... ей-богу... Што ей, бутылки-то, делается?..

III

Каждую весну тысячи больных мечтают о кумызе, и только ничтожный процент из этих страждущих тысяч имеет хотя приблизительные сведения о том, куда и как ехать. По нашей всероссийской халатности, до сих пор еще нет даже коротенького путеводителя для кумызников, и каждый принужден доискиваться через знакомых, где, что и как. Такие знакомые посылают обыкновенно к своим знакомым, а эти последние к своим, и так без конца. Получается настоящее хождение грешной души по мукам, пока жаждущий кумыза не натолкнется на бывалых кумызников. Но и тут беда: один хвалит одно место, другой — другое, третий — третье, и все обязательно именно то, где они сами лечились. Извольте тут выбирать. Всего курьезнее, когда больной обращается к врачам. Мы знаем несколько таких случаев, что с Среднего Урала врачи отправляли больных пить кумыз в Самару или Уфу, — недостает только, чтобы послали в Царское Село, где тоже есть кумыз. Вот уж, поистине, из своего леса в город за дровами ездить.

Самарский кумыз в достаточной степени известен грамотной публике и не раз служил предметом жестокой полемики между врачами: одни признают за ним всеисцеляющее значение, другие допускают условно, а третьи отвергают по всем пунктам. Мы не бывали в Самаре и не можем судить о тамошнем кумызе, но заметим здесь, что, по нашему мнению, раз возникает целый курорт — кумыза не может быть. Обращать это питье в средство для наживы известных предпринимателей решительно невозможно, потому что оно имеет смысл и значение не как продукт фа-

брикации на заказ, а только на месте своего исторического существования, органически связанное со всем бытом создавшего его степного населения. Есть выработанная многими годами степная культура, и кумыз является живым ее продуктом, — настолько живым, что ни одна лаборатория не приготовит его, несмотря на все чудеса европейской науки, техники и специально врачебного искусства. Чтобы такое заявление не показалось голословным, скажем только то, что ведь в лучшую лабораторию не перетащить целую степь с ее ковылем и солончаковыми травами, с ее горячим солнцем, степною породой скота и всем обиходом степного хозяйства и быта. Если вы желаете пить кумыз, поезжайте в степь... Этим мы не желаем сказать, что все врачи, отсылающие больных в Самару или в Уфу, непременно шарлатаны или дураки: вся беда в том, что они сами глубоко верят в этот самарский кумыз, тем более, что больные здесь проходят даже целый «курс лечения» под надзором специальных врачей-кумызников. Конечно, врач для больного необходим, но только не для кумызного курса. Если что может говорить за самарский кумыз, так это удобство подъездных путей к нему и некоторые курортные приспособления: больничные номера, больничная кухня, всегда готовый к услугам врач и т. д. Против этого трудно что-нибудь сказать.

Переходим теперь к кумызу в собственном смысле, — к тому кумызу, который неразрывно связан с кочевым образом жизни или, по крайней мере, с летними «кошевыми» (от слова «кош»). Где разлеглась необозримая степь, где стоят юрты кочевников, кибитки или коши, там и кумыз. Область кумыза захватывает громадное пространство, которое начинается у подножья Урала и заканчивается китайскою границей. Мы будем говорить здесь о приуральском кумызе, как более нам известном и более доступном для публики.

Кумызники весной приезжают обыкновенно в Екатеринбург и здесь уже окончательно выбирают место лечения. Прежде всего является вопрос, какой пить кумыз: башкирский или киргизский? Башкирия под рукой: 100—150 верст от Екатеринбурга к югу и вы найдете кумыз в любой башкирской деревне. Собственно, есть приуральская Башкирия (знаменитая хищениями Уфимская губерния) и зауральская (южная часть Екатеринбургского уезда и восточный склон Южного Урала). Вам укажут на татарскую

Караболку и еще несколько подобных мест, куда ездят больные, а, главным образом, в тот угол, который образуется течением реки Синары и Течи. Здесь, действительно, сохранился почти нетронутый клочок сплошного башкирского населения. Есть еще так называемые горные башкиры, которые засели разрозненными гнездами по склонам Южного Урала. Но дело в том, что вымирающее башкирское племя ужасно бедно, башкирский скот хуже тех тощих коров, каких видел во сне египетский фараон, а вследствие этого качества башкирского кумыза крайне сомнительны. Прибавьте к этому неопрятность, неряшливость и просто лень настоящего башкира. Вот те причины, почему башкирский кумыз жидок, имеет синеватый цвет и совсем потерял букет настоящего степного кумыза. Хорошие породы башкирских лошадей давно вывелись, привольные пастбища стеснены со всех сторон, а, главное, мертвая лень вымирающего степняка, — с этим ничего не поделаешь. Правда, башкирский кумыз под рукой и все лечение обходится очень дешево, а поэтому его будут пить все те, кому нельзя уезжать подальше почему-нибудь, — говоря проще, у кого недостает средств.

Другое дело кумыз киргизский — белый, крепкий, душистый, со специальным букетом степной травы. Лучший кумыз, как рассказывают, в Кокчетаве. Если ехать из Екатеринбурга, то маршрут такой: от Екатеринбурга до Тюмени — по железной дороге, от Тюмени до степного городка Петропавловска 400 верст на лошадях и от Петропавловска до Кокчетавы еще 200 верст тоже на лошадях. В общей сложности получается маршрут около 1000 верст, сокращаемый только железною дорогой. Кокчетав славится, как степная Швейцария: горы, озера, леса и т. д. Кумыз, конечно, превосходный, но ездить туда, к сожалению, имеют возможность только люди со средствами, которые в состоянии пролечить 200—300 рублей. Побывавшие в Кокчетаве отзываются о нем с восторгом, а насколько это верно — судить не берусь. Впрочем, репутация Кокчетавы, кажется, не нуждается в новых доказательствах: глас народа — глас божий. Следующий за Кокчетавом номер представляет «троицкий мумыз», т. е. кумыз около города Троицка, Оренбургской губернии. От Екатеринбурга до Троицка около 400 верст, — расстояние сравнительно небольшое и в хорошую погоду его можно проехать даже с удовольствием, особенно по Башкирии, где тянется ряд прекрасных

озер. Ездят на кумыз прямо «под Троицк», но опытные люди не советуют забираться туда, потому что безлесная степь в жаркое лето сама по себе стоит хорошей болезнью. В Троицком уезде есть много других уголков, где кумызники, кроме кумыза, находят какую-нибудь рожицу, озерко воды или степную речку. Много значит быть по близости от какого-нибудь рынка, где можно иметь кусок говядины, почтовую контору и, главное, близость врача. Станица Михайловка, о которой говорилось в предыдущих главах, совмещает в себе все упомянутые требования, почему с каждым годом в нее набирается больных все больше и больше, особенно из Екатеринбурга, для которого она начинает служить лечебной станцией.

Из Екатеринбурга дорога в Михайловку идет на город Челябину, а оттуда на отряд Кочкарь — всего 300 верст ровно. От Кочкаря до Михайловки 12 верст. О сосновом боре в Михайловке мы уже говорили, а в Кочкаре вы найдете почтовое отделение и большой рынок. Врач живет на золотых промыслах в г. Подвинцева; от Михайловки это около 20 верст — расстояние сравнительно ничтожное. Все это, взятое вместе, делает Михайловку и окрестные деревушки самым подходящим местом для кумызного лечения. Публика сама открыла его, а это тоже говорит достаточно за себя. Слово «станция» неразрывно связано с вольными казачьими землями, и территория Михайловки составляет ничтожную часть целой области Оренбургского казачьего войска. Простой народ по старой памяти зовет эти вольные земли просто «ордой», как и Башкирию. Но киргизов-кочевников давно уже оттеснили в глубь Барабинской степи, а на местах прежних киргизских стойбищ выросли казачьи станицы с такими удивительными названиями, как станица Париж, станица Берлин, станица Кульм, станица Кацбах и т. д. Впрочем, такие громкие имена нисколько не мешают процветать более скромным станицам, как наша Михайловка.

Нужно заметить, что эта оставшаяся за штатом «орда», а теперь казачья вольная земля, за последние пятьдесят лет примкнула к тем заветным уголкам, где сосредоточилась золотопромышленность, и золотые промыслы Кочкарской системы стяжали себе на этом поприще громкую популярность. Как увидим ниже, золотая лихорадка не миновала и такого гнилого угла, как наша станица Михайловка.

В Михайловке набралось кумызников человек десять и как на всяких других курортах, они сбились в одну кучку. Исключением являлся все тот же мьясский адвокат, который, видимо, не желал «якшитъ» ни с кем и одиноко сидел у своего окна или уходил в бор с женой.

— Этот самый адвокат, который напротив, на водку по двугривенному казачишкам дает за каждую малость, — негодует мой возница. — Мне, говорит, все равно... Известно, у денег-то глаз нет.

Адвокат со своими двугривенными производил вообще сенсацию, и казаки начинали смотреть на других кумызников свысока. Появление барина производило уже свое разлагающее влияние: являлось скромное желание получить именно такой легкий двугривенный, и цена своих домашних пятакон понизилась.

Остальные кумызники состояли из трудящегося люда: двое заводских служащих, два купеческих приказчика, небольшой банковский чиновник, сельский учитель, секретарь какой-то городской думы. Дам было немного: жена врача, потом средних лет дама из Златоуста или Мьясского завода и, кажется, еще была третья. Все это общество вело дачный образ жизни: утром кумыз, потом прогулка в бору, опять кумыз, опять прогулка или лежанье в гамаках, обед и еще кумыз. По вечерам группа кумызников собиралась где-нибудь на завалинке и скромно убивала время в тихой беседе. Трудных больных не было, и кумызники ходили скорее на дачников, какие околачиваются по забвенным деревушкам около столицы.

Больнее других, кажется, был, сельский учитель, белокурый молодой человек с круглым, румяным лицом. Когда он кашлял, так и казалось, что у него в груди что-то раскололось.

— А вы давно кашляете, Егор Григорьевич? — спрашивал я его.

— Да уж порядочно... Еще когда приказником в Троицке служил. Как весна, так я в школу без бутылки кумыза не хожу: занимаюсь с ребятами, а сам кумыз сосу.

Он служил в Троицком уезде, верстах в пятидесяти от Михайловки, и каждое лето поддерживал свое здоровье только кумызом. Как бывалый человек, Егор Григорьевич много рассказывал о меновом дворе в Троицке, о быте

кочевавших в степи киргизов, о своей приказчицей службе у какого-то купца. Выбиться в учителя ему стоило большого труда, и, может быть, в этом заключалась причина болезни. Знакомство с киргизским языком Егора Григорьевича для меня лично было особенно дорого, — он мог служить прекрасным переводчиком. Поводом к сближению для нас послужила охота: учитель «немножко» охотился, как и я.

В Михайловку вместе со мной приехала одна знакомая, М., которая заняла такую же комнатку, какая была у меня. Бывшая московская курсистка нуждалась, прежде всего, в отдыхе: нервы развинтились, не было аппетита, не было сна, — одним словом, настоящий интеллигентный человек. На кумыз она привезла с собой целый чемодан университетских записок, книг и разных тетрадок.

Ближайшим кумызным пунктом к Михайловке являлась деревня Демарина, до которой было рукой подать, — всего версты три. Демаринские кумызники приезжали или приходили навестить михайловских, а эти последние отплачивали визиты. В Демариной оказался знакомый по Екатеринбургу купец Иван Васильевич, приехавший на кумыз для своего племянника, студента московского технического училища. Это открытие произвело взаимное удовольствие.

— У нас квартиры в Демариной лучше, — хвастался Иван Васильевич из демаринского патриотизма.

— А у нас бор...

— И у нас бор.

— Зачем же вы тогда в наш бор ходите гулять?

В Демариной проходили кумызный курс две учительницы, фельдшер, два гимназиста и еще человека три неизвестных. Иван Васильевич являлся душой общества и старался устраивать импровизированные развлечения: бег деревенских мальчишек на призы в 5, 3 и 1 к., деревенские песни, кавалькады на крестьянских лошадях и т. д.

— В воскресенье как-то устроили бег пьяных мужиков... — смеялся Иван Васильевич, довольный своею выдумкой. — А заненастит, мы книжку читаем...

Проживавшие в Демариной гимназисты стреляли неизвестную дичь, а мы с Егором Григорьевичем обсуждали серьезный вопрос, где лучше открыть нам охотничий сезон.

В общем, кумызники изображали собой, как на всех русских курортах, скучающую публику и жадно хватались за каждый предлог к развлечению. Впрочем, своеобразная

обстановка казачьей станицы доставляла своеобразный материал на каждом шагу. Андронич по-прежнему каждое утро начинал бесконечной беседой с Егорычем о траве, и меня интересовало, чем разрешится вся эта история. Конец оказался ближе, чем можно было предполагать.

— Он грозит застрелить моих коней... — заявил в одно прекрасное утро Андронич, обращаясь ко мне, как к нейтральному лицу...

— Кто он?.. Егорыч?..

— Нет, зачем Егорыч... А у Егорыча есть брат, тоже казак, так вот этот самый брат и грозит: только говорит, выпусти коней на траву — сейчас застрелю. У них вместе надел-то... Ну, и нарродец! Хуже кыргызов в тыщу раз... Не сговоришь с ними...

Угрозы таинственного брата повели к тому, что стали привозить кошеную траву на дом, а лошади стояли в конюшне. В этот неразрешимый вопрос о траве запутан был даже каким-то образом Баймаган, хотя, в конце концов, все дело свелось на тридцать копеек за пару лошадей — цена десятины травы. Можно только удивляться терпению сторон, тянувших друг из друга душу по поводу такой ничтожной суммы, но тут сказался настоящий русский человек.

Вопрос о питании в Михайловке являлся своего рода голодным призраком. Положим, необходимую провизию легко было достать в Кочкаре, но приготовить ее — это было другою стороною медали. Приготовление нашего первого обеда обставлено было такими подробностями, о которых стоит сказать несколько слов. Начать следует с того, что в Михайловке дров не полагалось, а их заменял березовый хворост. Великолепный сосновый бор торчал под носом, но он являлся заповедным местом, зорко оберегаемым лесниками.

— Ничего, можно и хворостом истопить печку, — решил Андронич, принимавший в приготовлении обеда самое деятельное участие; он когда-то «бегал поваренком» на каком-то камском пароходе и поэтому имел полное право говорить обо всем, что касалось еды, с известным авторитетом. — И биштексу можно приготовить, и пельмени.

Главным действующим лицом первого обеда явилась русская печь из битой глины. Когда ее затопили хворостом, весь дым, вместо того, чтобы идти по назначению в трубу,

хлынул в комнату. Для необходимых разъяснений была вызвана хозяйка квартиры, молодая казачка.

— А от ветру выметывает, — объяснила она довольно равнодушно. — Надо окошко затворить.

— Да в окошке-то двух стекол нет.

— Ну, на ставень затвори.

На мою долю выпала обязанность закрывать окно, причем я убедился, что ветра почти не было.

— Ну, что, идет дым? — спрашивал я сквозь притворенный ставень.

— Так валом и валит... о, чтоб им! — ругался Андронич, задыхаясь от дыма. — Тоже называется печь... тьфу!..

Таким образом, приготовление первого бифштекса обошлось очень дорого и это немало огорчило всех действующих лиц. Подвернувшийся под руку Егорыч выслушал от Андронича целый ряд горьких истин.

— Простой русской печи скласть не умеют, а еще название: казаки... Чиновничью фуражку носят туда же. Как вы по зимам-то живете с такими печами?

— А хто ево знат, — отвечал Егорыч, почесываясь. — Ежели бы кирпич, а то из глины печи налаживаем.

— Да не все ли равно?.. Ах, вы, чиновники, чиновники! Да у нас в городе в последней лачуге лучше живут, потому первое дело печь.

— А хто его знат... Такое уж заведение у нас.

Нужно заметить, что эта отчаянно дымившая печь отравляла не раз наше существование в Михайловке, и дело, в конце концов, свелось на то, что ее оставили совсем в покое. Утешением, как и всегда в таких случаях, послужило то, что и другим кумызникам, вероятно, приходилось не лучше: на людях и смерть красна. До конца ворчал один Андронич, лично обиженный дымившею печью.

V

Мой кумызный день приблизительно проходил в таком порядке. Утром приходилось вставать часов в шесть, чтобы сейчас же ехать к Баймагану, — ранний утренний кумыз самый лучший. Да и само по себе летнее утро «в орде» так хорошо, что просыпать его было просто бессовестно. Пока едешь до кошей, дремота успеет пройти. Андронич в коротких словах сообщает последние новости, т. е. кого-нибудь браинт, а в данном случае казаков, возмущающих его мужичье сердце своим безобразием.

Баймаган в этот час всегда дома, а его жена всегда за своею чашкой с кумызом. Мы в коше держим себя уже своими людьми и в приятной беседе выпиваем утреннюю порцию — два больших стакана кумыза. Через три дня уже я начал его пить с удовольствием, особенно утром, и каждый раз испытывал такой прилив бодрости, как в сказках, когда богатыри молодели от живой воды. Так хорошо и легко делалось на душе. Меньше всего можно сравнить такое состояние с опьянением, как это принято, говоря о кумызе. Может быть, в очень большом количестве он так и действует, но мне лично не приходилось ни разу испытать ничего подобного: чувствуешь себя хорошо, легко, бодро — и только.

— Много у тебя кумызников, Баймаган?

— А есть человек пятнадцать... Каждый год все больше приезжает кумызник. Из города едет... В городе — больной, в степи — здоровый.

У Баймагана в обращении есть что-то джентльменское. Мне нравится в нем эта смесь простоты и достоинства. С кумызниками он, видимо, боится быть назойливым и редко завернет к кому-нибудь из знакомых.

К чаю возвращаемся назад. Андроныч везет несколько бутылей с кумызом: он-таки отбил у вороватого Аники это право. Кумыз крепкий, и все пробки сделаны с отверстиями, чтобы не разорвало бутылки. М. уже встала и ждет нас за самоваром. Она начала пить кумыз с двух стаканов в день и увеличивает порцию новым стаканом. Если начать пить кумыз сразу большою порцией, то может совсем отбить всякую охоту к нему, как и бывает. Самые усердные кумызники доходят до полуведра в день, но я не думаю, чтобы излишество было полезно: нужно пить столько, сколько хочется. Я забыл сказать, что кумыз готовится не одинаковой крепости: слабый, для начинающих, сильно разбавленный свежим кобыльим молоком, средний и крепкий. Баймаган знает, кому какого кумыза нужно, и предупреждает вперед, как следует вести дело.

— Куда мы сегодня отправляемся? — спрашиваю я за чаем, хотя идти, кроме бора, решительно некуда.

— Конечно, в бор. Там так хорошо.

Сейчас после чаю Андроныч подает дорожный экипаж, в него складываются необходимые припасы, книги, бутылка с кумызом и отвозятся на место назначения. Бор в двух шагах так и манит своею смолистою прохладой, вечным ше-

потом и ароматом степных цветов, каких совсем нет в среднем Урале. У дороги растет полынь, синие колокольчики качаются от малейшего ветерка, как живые, пахнет кашкой, в зеленой сочной траве зреет крупная земляника. Над камышами, какими заросли степные озеринки, реют ястреба-утятники, а над степью с жалобным криком вьются неугомонные авдотки и кроншнепы.

Андроныч устанавливает экипаж в бору, в двух шагах от лесной опушки, и отправляется домой отдыхать. Он обладает способностью спать когда угодно и сколько угодно. В бору мы остаемся до самого вечера: пьем кумыз, гуляем, читаем. С нашего пригорка видно было всю Михайловку, ближайшую озеринку, разлив гнилой речонки, в которой полощутся гуси. Между деревьями мелькают гуляющие кумызники. Учитель Егор Григорьевич соорудил себе из веревок подобие гамака и, когда несет его, перекинув через плечо, делается ужасно похожим на тех итальянских рыбаков, каких рисуют на дешевеньких олеографиях. Картина самая мирная.

Мы начинаем читать. Каждая прочитанная глава запирается кумызом, а за кумызом следует легкая прогулка. В жаркие дни комары решительно не дают покоя: лезут в рот, в нос, жужжат и вообще безобразничают, точно пьные от этого чудного летнего дня.

Иногда беру двустоволку и начинаю подкарауливать требов. Бор служит для них прекрасным гнездом. Случалось не один раз «промазать», но один хищник попался таки: он так хорошо выплыл над синим окном между вершинами сосен и комом свалился к моим ногам.

— Ястребка порешили, — проговорил за мной старческий голос.

— Да...

— Много их здесь, варнаков. И сколько они этих утят изводят — страсть. Цыплят тоже воруют наполовину.

— Что же их не стреляете?

— Кому их стрелять-то?.. Мы-то не здешние, значит будем, троицкие мещане, а казаки самый проваленный народ. Прямо нужно сказать...

Передо мной стоял ветхий, сгорбленный старичок; синяя пестрядиная курточка была перехвачена ремешком, разношенная войлочная шляпа лезла на лоб, а из-под нее пытливо глядели слезившиеся серые глаза. Разная охотничья снасть болталась на поясе, а дрянное тульское ружье

служило вывеской грозного лесного сторожа. Старичок присел на пенек, понюхал табаку из берестяной тавлинки, чихнул и, щурясь от солнца, заговорил:

— Маета одна — вот какая наша жисть... Бор-то, выходит, казачий, а стережем его мы, троицкие, потому казакам нельзя ничего доверять: до последнего сучка все упят на промысла. Лесу-то в степи нету, ну, им любопытно... Сперва-то сами караулили, да плохой толк: караульные же и воровали лес. А как начальство узнало, сейчас нас поставили... Такая битва была, ну, а теперь ничего. Застрелить грозилась...

Этот лесник проходил мимо нас каждый день и каждый день жаловался на казаков, как и казаки в свою очередь жаловались на лесников.

— А дома-то вам не у чего жить, дедушка? — спрашивала М.

— Какое наше житье? Известно — мещанское положение... Ни тебе земли, ни какого угодья, а пропитал добывай, как знаешь. Разве можно нас сравнить с казачишками? Им, подлецам, по 15 десятин на душу от казны идет, да еще сколько несчитанной наберется. Уйма земли, одно слово. А они што делают? С голоду помирают на угодье-то своем. Да... Взять хоша Егорыча, — вы у Егорыча на горе стоите?.. Ну, так этот Егорыч по весне ноне хвалялся: «Я, грить, земли на шесть солковых продал!» Это по три гривны за десятину в ренду, значит, сдал демаринским. Всего-то причитается двадцать десятин... У него, значит, своих 15 десятин, да на сынишку записали ему тоже 15 — вот он и торгует. Четверть водки выставил старичным старикам, — ну, они сейчас ему душу лишнюю и дали. А остальные 10 десятин про себя оставляет: под пашней десятины три, в пару три, а четыре косит. Это уж самый богатый у них... Да на этакой земле стон бы стоял, он своих шесть солковых считает. Так, зря землю содержат...

— Бедно живут?

— Страсть бедно! Во всей-то станице наберется дома ри, в которых от хлеба до хлеба дотянут. А все от лености от ихней, от казачьей... Лежат по станицам, как жернова.

В Михайловку мы возвращались на закате. Кумыз располагает к простуде, поэтому нужно вовремя уходить от вечерней сырости.

— В субботу в Кочкаре базар... — по обыкновению, нерешительно заявляет Андронич. — Овса коням надо купить, тоже вот насчет провизии, а в Кочкаре все есть.

— Что же, едем.

Ранним утром в субботу мы ехали вдвоем в Кочкарь. Сначала дорога шла ровным местом. В стороне паслись стада коров и табун киргизских лошадей. Киргизка-девушка ловко гарцовала в мужском седле, сбигая в кучу разбежавшихся лошадей длинным тонким шестиком с арканом. Эта амазонка тряслась в седле по целым дням.

— Эвон ихние коши! — указал Андронич на зады Михайловки, где точно присели в земле два коша. — Это пастухи живут. Бедные-разбедные кыргызы. Наши-то чиновники не могут сами скотину пасти, так вот и нанимают кыргызов, а то вон девку морят... Помотайся-ка день-то деньской в седле, милая: это и мужику в пору. Нарродец!

В версте от Михайловки, на берегу той же безыменной гнилой степной речонки, точно вросла в землю бедная деревушка Секлетарка; в трех верстах рассыпала свои домики Демарина, сравнительно большая деревня, дворов двести, если не больше. Обе эти деревни были «господские», то есть помещичьи, и теперь среди окружавшего их казачьего приволья испивали горькую чашу безземельного существования, потому что с даровым наделом не далеко ускачешь. В глазах казаков демаринцы и секлетарцы были просто «мужьки», которым и бог велел бедовать. Впрочем, поддержкой для Демариной служил винокуренный завод нашего уральского магната А. К. Поклевского-Козелл. Наша степная речка-гнилушка соединилась в Демариной с другою такою же гнилушкой и образовала довольно красивый прудок. Пониже пруда красовалась на берегу «винная фабрика», а напротив вырос целый порядок хороших барских домов с громадными службами, пристройками и разною хозяйственною городьбой. Видимо, служащим г. Поклевского живется недурно. Тут же открывалось целое «заведение» для производства кизяка, каким отапливалась винная фабрика. Ничего грустнее, кажется, представить себе нельзя, как эту выделку кизяка. Везде навалены кучи навоза, а потом особый навозный ток, по которому гоняют лошадей. Когда этим путем обыкновенный навоз превращается в отвратительную навозную жижу, ей дают немно-

го «захрястнуть», т. е. сгуститься, и потом уже лепят правильной формы навозные кирпичи. Когда эти кирпичи просохнут, кизяк получается в своей окончательной форме. Вот конечный результат безжалостного истребления лесов, и мы убеждены, что наши уральские заводчики в недалеком будущем доведут и себя, и трехмиллионное уральское население вот до такого же кизяка...

От Михайловки до Демариной идет сплошь наш сосновый бор, а за Демариной тянется смешанный лес, принадлежащий уже г. Поклевскому. Там и здесь, наученные горькою нуждой, хозяева берегут каждое дерево, как зеницу ока. Около Демариной в двух местах торчали такие же бедные коши, как и у Михайловки: последние представители захудавшей «орды» влачили здесь самое жалкое существование. Впрочем, у одного из демаринских киргизов, как говорили, был хороший кумыз, что впоследствии вызвало целое возмущение против Баймагана. Кто-то из кумызников распустил слух, что Баймаган разбавляет свой кумыз простым коровьим молоком или даже водой, а поэтому часть кумызников перешла к демаринскому киргизу, а другая к дальним кошам, которые виднелись из Михайловки на самом горизонте. Мы до конца сезона оставались верно-подданными Баймагана и, сравнивая его кумыз с кумызом других киргизов, не находили ничего подозрительного. Во главе этого движения против Баймагана, если не ошибаюсь, стоял неугомонный Иван Васильевич, который, в качестве испытанного кумызника, считал себя специалистом в этом деле.

От Демариной дорога идет сначала в сосняке, а потом в гору прекрасною березовою рощей. С этого пригорка открывается широкая степная панорама, которая уходит из глаз слегка волнистою линией.

— Эвон промысла-то вправо, — заметил Андронич, указывая кнутовищем на облачко дыма, прятавшееся за широким холмом, — а прямо Кочкарь... Вон в ложине спряталась деревушка: это и есть Кочкарь. Народу-то сколько со всех сторон прет на базар...

С нашей возвышенности, действительно, было отлично видно, как по незаметным для глаза проселкам катились в Кочкарь телеги, ехали вершники и медленно тащились пешеходы. Можно было только удивляться такому сильному движению, тем более, что сам Кочкарь издали казался каким-то вороньим гнездом, и только каменная церковь

белела под утренним солнцем, как свеча. Мы начали обгонять телегу за телегой, присковые таратайки и «лопоставших» пешком баб с узелками.

— Эй, умница, садись, довезем, — шутил Андроныч, обгоняя какую-то долговязую казачку.

— И то подсадили бы.

— Говорят: садись... верхом.

— О, чтоб тебе гужом подавиться!

Андроныч доволен своею извозчицьею шуткой и повторяет ее несколько раз, получая в обмен отборные ругательства. Мы быстро подкатились по мягкому черноземному проселку к месту нашего следования. Под самым селом в ложке копошились старатели, перебивавшие старые отвалы; у въезда стояло несколько кошей. Село оказалось небольшое, но оно точно было залито народом. Мы хотели по главной улице проехать прямо на почту, но путь был загорожен телегами с овсом, мукой и разным другим товаром. Толпа в несколько тысяч человек буквально запрудила все и, чтобы попасть на почту, нам пришлось объехать село.

— Одначе, здорово народу понаперло... — вслух рассуждал Андроныч, успевший поругаться с встречными телегами. — Как в котле кипит народ. Вот тебе и Кочкарь... ловко!

Нужно сказать, что, действительно, картина получалась совершенно неожиданная, несмотря на то, что Кочкарь не сходил с языка за последнюю неделю: «В Кочкаре все добудем», «только до Кочкаря доехать», «это ведь не в Кочкаре» и т. д. Я ожидал встретить бойкий стопной торжок, но действительность далеко превосходила все, виденное до сих пор: крошечное сельцо просто было затоплено народом. Главный контингент базарной публики составляли рабочие с промыслов, которые явились сюда для закупок и, главное, чтобы погулять. Каждый промысловый грош пел здесь петухом... До почты мы кое-как добрались. Она помещалась в двухэтажном деревянном доме. В конторе набралось несколько человек того особенного склада, которых создает бойкая промысловая жизнь: ни к настоящему заправскому купцу его не применишь, ни к чему другому, а так — сам по себе человек, который занимается собственными делами. Один получал деньги, другой отправлял заказное письмо, третий сидел в уголке и с деловым видом просматривал какую-то «ведомость», как на-

зывают здесь газеты. Молодой, белокурый почтовый чиновник держал себя с большим гонором, и, ответив на все запросы и требования, обратился к какому-то оборванцу, переминавшемуся у печки:

— Ну, так как, Ефим?

— Дай гривенничек... ох, смерть моя! — бормотал оборванец, отмахиваясь руками.

Почтмейстер медленно раскурил папиросу, покрутил усы и заговорил каким-то проповедническим тоном:

— Ефим, а что в Писании-то сказано об образе и подобии божьем, а?.. Где у тебя образ-то божий? Посмотри ты на себя, на рожу на свою, а ты: «дайте гривенничек».

— Заслужу, ей-богу... а-ах, ббоже ммой!..

Этот назидательный разговор неожиданно закончился тем, что Ефим вдруг из смиренного тона перешел в азарт и принялся ругаться.

— Я тебе покажу подобие... я...

Это был типичный представитель промысловой золотой роты, которая по субботам осаждала в Кочкаре все кабаки. Очутившись на базаре, мы могли наблюдать целую толпу таких приисковых Ефимов — пьяных, оборванных, ругавшихся. Один шел буквально с голою спиной: от рубахи оставались одни рукава, ворот и перед, а остальное все изгорело или было вырвано. Андронич только разводил руками и повторял: «Ловко... а-ах ловко!»

О Кочкаре (полная форма — Кочкарский отряд, т. е. средоточие какой-то казачьей власти) можно сказать без преувеличения, что он целиком представляет один сплошной базар и, нужно отдать справедливость, прекрасный базар. Сотни деревянных лавчонок сбились в несколько отдельных кучек, и центр стали занимать уже настоящие магазины. Вырос целый каменный корпус из таких магазинов с железными дверями, массивными железными решетками в окнах и каменными крылечками; в них полный выбор всего, чего душа просит, начиная от красного товара, чаев, разной галантереи и кончая сапогами, скобяным товаром и винами. Мы нашли даже керосиновую кухню. Такие уездные города, как Златоуст, могут справедливо завидовать бойкой кочкарской торговле. Был даже особый мясной ряд, где торг вели и в лавках, и в дощатых балаганах, и прямо с возов.

— Андроныч, хочешь в кузницу? — предлагал я, — мы называли кузницей кабак.

— Подковать безногого щенка? — ухмыльнулся Андроныч и на всякий случай почесал в затылке. — Чего-то ровно не манит... Целую неделю не принимал: как стал кумыз пить, от водки сразу отшибло.

Поломавшись для приличия, Андроныч подвернул к кабаку, и я остался один. Мне хотелось потолкаться именно в этой толпе и прислушаться к ее говору. Остановиться так, зря — было неловко и вызвало бы в публике известное недоразумение, и теперь решительно никто не обращал на меня внимания. Кого тут не было: казаки в своих студенческих фуражках с синим околышем, приисковые рабочие, крестьяне, киргизы, цыгане и т. д. Улица была заставлена сплошь телегами. Могли проезжать только цыгане, галдевшие больше других. У стенки кабака золотая рота играла в орлянку; в двух местах шла азартная мена лошадьми, в третьем две цыганки наговаривали подгулявшему старику-крестьянину.

— И все ты врешь, все врешь!.. — заплетавшимся языком повторял старик, пошатываясь.

— А есть у тебя на сердце думка... — цыганским речитативом певуче наговаривала черноволосяя гадалка.

— Веррно!.. Есть думка...

— А еще есть у тебя человек, который в глаза тебе смотрит... А бойся ты этого человека, — свой ворог хуже чужого. Стоишь ты у кабака, а думка у тебя не в кабаке — далеко твоя думка...

— Веррно!

Переменив тон, цыганка жалобным голосом закончила свой обычный цыганский припев:

— Позолоти рученьку... пожалей цыганеночка черномазенького... Для души для своей постарайся!..

— Опять врешь! — опомнился разомлевший было старик.

— Сердца ты своего не знаешь: золотое твое сердце... Крут ты сердцем, а отходчив. Рученьку позолоти... от своего счастья не отпирайся...

— Наводнение народу... — почтительно проговорил какой-то неизвестный господин, подходя к моему экипажу. — Вы с промыслов?

— Нет, кумызник.

— А! — нерешительно протянул незнакомец. — Так-с... А я так и подумал, что с промыслов. Издалека будете?

Бесцеремонность такого разговора объяснялась тем, что незнакомец не поверил в мое кумызничество и по городскому костюму, вероятно, заподозрил во мне скупщика краденого золота, — этих последних в Кочкаре достаточно.

— Удивительно вам смотреть на наш Кочкарь? — умильно продолжал незнакомец, подробно сообщивший на всякий случай и собственный адрес. — Как на пожар сбегается народ сюда по субботам, а все золото подымает... Был у нас тут дьякон, так он какие деньги нажил на золоте: счастье человеку привалило. Да-с... Пять лет назад что такое Кочкарь был? Деревня и больше ничего, а теперь в том роде, как американские Соединенные Штаты... Помилуйте-с, тоже и мы почитываем разные ведомости. Вот в Австралии золотишко тоже открыли... А позвольте узнать, чем вы занимаетесь? Обязанность какая у вас, например, в городе?..

Вернувшийся из кабака Андроныч вовремя прервал это интересное знакомство с любопытным кочкарским обывателем. Обратно мы поехали тоже объездом, кругом села, потому что улица по-прежнему была загорожена сплошными рядами телег.

— Вот так Кочкарь... ну, ловко! — повторил Андроныч, запрятывая бутылку с водкой за пазуху. — Как в Пасху народ развернулся... Ловко!.. Розговенье...

На обратном пути мы начали обгонять телеги, катившиеся уже домой. Пьяные мужики лежали на дне, как телята, а лошадьми правили бабы. Это обыкновенная картина патриархального возвращения с праздника... Было часов около десяти утра, и в воздухе начинал чувствоваться летний зной.

— До жары поспеем домой, — говорил Андроныч, погоняя лошадь. — Вот так Кочкарь!.. ловко!..

Какая-то забубенная приiskовая голова, мотающаяся в телеге, хрипло напевала:

Отчего машина ходит?
Машинист ее заводит...

А кругом было так чудно хорошо. Над головой висело такое глубокое небо, так весело звенели в воздухе невидимые жаворонки, из степи наносило таким теплым ароматом точно курившейся благовониями земли...

ХII

Наша жизнь «на кумызе» шла своим порядком — день за днем, неделя за неделей. Лето выдалось серенькое. Постоянно перепадали дожди, и особенного, настоящего степного жара мы совсем не чувствовали. Те же поездки по утрам к Баймагану, потом прогулка в бору, кумыз и т. д. Собственно говоря, время катилось незаметно, и если в чем чувствовалось некоторое лишение, так это в свежей газете, — сказывалась городская привычка к последним новостям и печатной бумаге. Но в отсутствии газет была и своя хорошая сторона, именно: время от времени полезно отрешиться от всякой текущей злобы русского дня, от тех искусственных интересов, которые так настойчиво навязывает столичная пресса скромному провинциальному читателю, — вообще, отдохнуть и развязаться с тем строем мелких ежедневных привычек, которыми незаметно опутывается каждое существование.

Не хочу я знать ничего ни о Болгарии, ни о последнем концерте Софии Ментер, ни о «зверском преступлении», которое непременно совершается в разных весях и градах, ни о падении русского рубля, ни о видах на урожай, которые к осени всегда оказываются неверными, ни о закатающихся и восходящих светилах всероссийского хищения, ни даже о самом Льве Толстом, который кладет печь своими руками какой-то убогой старушке, — ничего не хочу знать... Наваливается по временам чисто кумызная лень, и мысль сосредоточивается на том, что видят глаза. Это почти растительное существование, когда обычная напряженность нервной деятельности сменяется тупым покоем: я просто ничего не хочу знать... Вон растет же степная трава, и я желаю существовать так же, погружаясь в дремоту сладкой степной лени. Кстати, два слова о траве... Какая она здесь отличная, эта трава: так и прет из благодатного чернозема. Это настоящее зеленое травяное царство, с которым вместе выросла и сложилась неумирающая культура. Если есть цивилизация хлебных злаков, как рис, пшеница, рожь, ячмень, то есть и цивилизация травы, — самая древняя цивилизация, окутанная поэтической дымкой. Если с каждым ржаным колосом растет известная «власть земли», то здесь еще большая «власть земли» растет прямо с травой: там нужен известный уход, хозяйственный обиход, а здесь все делается само собой. Будет

трава, будет и скот, а со скотом жив будет и человек. Там нужны усилия, труд, хозяйственные соображения, сложная организация и всевозможные приспособления, а здесь — аллах велик: если не родится трава и с голоду передохнет скот, все-таки аллах велик. Пусть вся Европа судорожно трясется со всеми чудесами своей цивилизации, пусть дымят кирпичные и железные трубы, пусть гремят машины, пусть вертятся миллионы колес, валов и шестерней, — здесь мирно пасутся на зеленом просторе табуны степных лошадей, стада курдючных овец, и жизнь катится так же тихо, как сонная вода степных речонков. Ведь дороже всего покой, — то состояние, когда человек чувствует себя самим собой и не болеет каждым наступающим днем, не выбивается из сил и не сходит с ума от собственных успехов. Из этого степного покоя и лени вырастали страшные исторические катаклизмы, как пожар вот этой самой степной травы, — лилась реками кровь, горели селения, разрушались целые царства, а потом опять покой, поэтическая лень и полусонные грезы.

Какая другая цивилизация изобрела что-нибудь хотя приблизительно похожее на кумыз, этот символ равновесия телесных и душевных сил? Ни одна! Есть вино, пиво, водка, опиум, но все это еще только сильнее расстраивает и без того поднятого на дыбы человека. Божественный напиток — этот кумыз и, может быть, ничто так не успокаивает нашу цивилизованную нервность, суету мысли и вечные судороги чувства... Невольно переношусь к тем тысячам страдальцев, которые «не находят места» и добивают себя окончательно каким-нибудь «одобренным медицинским департаментом» самым верным средством. Даже совестно делается, когда встают перед глазами все эти труженики и жертвы великой цивилизации. Чем платить докторам за визиты, чем переплачивать удешевленные аптечные таксы, чем шататься по модным курортам и сомнительным «водам», не лучше ли «взять лето» где-нибудь в степи и действительно отдохнуть душой и телом?.. Я говорю о том, когда можно и следует предупредить болезни, а не о том, когда доктора, чтобы отвязаться от умирающего пациента, посылают его умирать куда-нибудь подальше, в самый патентованный уголок, снабженный всякими дипломами и аттестатами. Мы именно не ценим своих богатств, которые вот тут, сейчас под носом. И чего стоит то же лечение кумызом? — расколотый грош. За месяц (пей, сколько можешь) Баймаган берет от 10 до 12 рублей, а дальше в степи,

вероятно, еще дешевле. Остается, следовательно, один проезд, стоимость которого при железных дорогах тоже очень невелика: есть оренбургская железная дорога, строится самаро-уфимская, которая, пройдя на Златоуст, поведет в настоящую степь... В степи так много приволья, — всякому найдется уголок. Мысленно я уже вижу тысячи больных, которые из России перекочевывают на лето «в орду», на склоны Южного Урала, в Барабинскую степь; но вопрос, когда это будет?..

Я заново дословно те мысли и чувства, какие занимали меня, и, перечитывая их на бумаге, вижу недоверчивую улыбку читателя... Все это мечты, осуществление которых придется ждать, вероятно, еще долго-долго.

Перехожу к действительности, которая через две недели кумызничества в Михайловке была как на ладони. Ничего неясного или сомнительного, хотя кругом новый оригинальный быт специально-казачьего существования. Егорыч, наш хозяин, всегда дома, всегда ничего не делает и всегда ругается: увидит свинью — свинью обругает, подвернется сынишка, корова, жена — их обругает, а то просто бродит по двору и ругается в пространство. Андроныч сидит на крылечке, вертит из серой бумаги свои цыгарки, курит, сплевывает и презрительно улыбается.

— Ну, так как насчет травы, Егорыч? — лениво тянет он свою бесконечную канитель. — Брательник-то твой грозится... Раньше коней обещал пристрелить, а теперь самого, говорит, изувечу...

— Брат?.. Да я... Мне плевать на брата — вот и весь сказ, — ругается Егорыч с обычным азартом. — После отца мы с ним разделились... На, говорит, тебе дом, только до смерти корми мать. Разве я виноват, што она через шесть недель померла? Конечно, брату обидно, потому, все-таки, значит, дом...

Иногда завертывал какой-то таинственный «сосед», тоже казак. Он приходил в полушубке и валенках, усаживался на крылечко с трубочкой, долго молчал и, выждав момент, говорил:

— Егорыч, а Егорыч...

— Ну тебя к чорту!

— Нет, ты послушай: ежели ударить ширп под Темировым — царство... Богатимое золото, сказывают. А то вот теперь маемся, жидель моем... Егорыч, а?..

— Уйди, грех!

— Царство, говорю. Айда поширпуюем... Вон у брата, сказывают, хорошо робят.

— Сказывай!.. Много выробливаете, да только домой не нсите.

— А ты как думаешь? Вечор был двугривенный, думал с ним украдаться, так нет, вырвало... Подъехали миасские старатели, — ну, и в кабак.

Все эти подходы под богатство Егорыча вызывали в Андроныче какое-то уязвительное настроение. Выслушав разговоры о золоте под Темировым, он вступился в беседу сам:

— Живете вы чиновниками, а вот церкви не можете выстроить, — разве это порядок? Какая-то часовня, да и ту вам Поклевский выстроил. Так я говорю?

— Это ты верно... Дай-ко в сам деле цыгарку подержать?

— Ну, ничего у вас нет и лезете вы своим рылом прямо золото искать, а земля пустует.

— Неурожай у нас, народ больно подшибся, — третий год земля не родит.

— С чего она вам будет родить, коли на два вершка глубины пашете? Разе так пашут? Эх вы!.. Вот живем две недели, а еще вашей работы не замечали. Дай-ко экую-то землю да настоящему крестьянину... На готово вы тут все осатанели. Поглядели бы, как по другим протчим местам народ у настоящей неродимой земли бьется, а у вас золото на ум. Бить вас некому, вот в чем главная причина...

— А ты бы в казаках послужил, тогда бы не то запел.

— Какая ваша служба? В пять лет на три месяца съездите — вот и вся служба.

— А муниципия! Вон новая форма на шашку вышла в Оренбурге, дыру начальство велело просверлить в рукоятке, — ну, я к слесарю, а слесарь: полтора солковых... И отдал. Это как по-твоему?

В подтверждение своих слов Егорыч вытаскивает из чулана всю казачью аммуницию и тычет Андронычу прямо в нос продырявленную шашкой. «Сусед» поддерживает его и к случаю опять начинает тянуть душу: «Эх, ударить бы ширп под Темировым — царство!»

В Андроныче сказывался бывалый человек, который успел произойти все: бегал поваренком на пароходе, работал огненную работу на каком-то заводе, наконец, пахал, пока окончательно не пристроился в городе извозчиком.

В нем, несмотря на все эти формации, оставалась крепкая вера в землю, в пашню, а все остальное шло так себе, — мало ли народу околачивается около господ, на фабриках, на пароходах, на железной дороге? Настоящее, крепкое все-таки оставалось там, в деревне. С этой точки зрения он и смотрел на измотавшихся казаков, которые голодали среди своего нетронутого земельного богатства. Так же смотрел на них лесник, троицкий мещанин, как и все эти бедовавшие обитатели Демариной, Секлетарки и Житарей. Действительно, обстановка казачьего существования была самая возмутительная: или они ничего не делали, как наш Егорыч, или от своей земли бежали «ширповать» на промысла, как его «сусед».

Всего интереснее, как проявлялась энергия этих заматавшихся «чиновников» перед праздником, когда сам собой возникал вопрос о выпивке. Денег нет, и негде их взять, а выпить нужно, потому что праздник. С вечера начинались таинственные совещания где-нибудь на завалинке, у кабака, на задворках. Но результат был один — сдать землю под гурт: из степи прогоняли на Урал гурты курдючных баранов и после длинного перехода гуртовщики нагуливали жир на дешевых казачьих землях. Парламентером являлся Баймаган или его зять, и начиналась та же дипломатическая путаница, как с травой Андронича. Спорили, торговались, запрашивали и по первому задатку пропивали землю за грош. Но к поспевавшему сенокосу явился другой источник такой праздничной выпивки.

— Ловить житарей будем... — таинственно сообщал Егорыч накануне одного праздника. — Они господские, земли у их по три осьмины на душу, — ну, они к нам траву и ездят косить. А мы будто не видим: коси себе на здоровье. Косят-косят, а под праздник мы их и накроем: коней отыдем, косы тоже, — выкупай!.. Вот мы и с праздником.

Все: это не было выдумкой, и мы скоро имели удовольствие присутствовать на таком казачьем празднике. Во дворе набралось человек десять казаков, пьяных баб, и поднялся такой ураган непечатной ругани, что даже Андронич был сконфужен. Пьяные казаки, угощавшиеся за счет пойманных «житарей», пели свои казацкие песни или искаженные номера рыночных песенников.

Поспевшие ягоды вызвали на сцену маленьких эксплуататоров, которые старались выжать из кумызников свою

долю. Казачья детвора осаждала с утра. Возникла беспощадная конкуренция, а спрос был совершенно ничтожен: кумызникам есть ягоды и зелень вообще не полагается. Исключение представляли только я и М.: несмотря на запрещение, мы исправно ели спелую прекрасную землянику и ничего дурного не испытывали. С ребятами конкурировали две сироты-казачки, у которых просто совестно было не купить.

— Обратите внимание на детей, — говорила М., выпоражнивая чайные блюдечки с ягодами, — ни одного красивого или типичного личика... Да и во всей станице его не найдете: это какое-то общее вырождение, особенно по сравнению с заводами или самыми простыми крестьянскими деревнями.

Полная бесцветность оренбургского казачьего типа, действительно, бросалась в глаза, и долговязый Аника, возивший кумыз, мог считаться красавцем. Особенно низко стоит женский тип: на целую станицу ни одной красивой женщины.

VIII

В июле мы в виде пикника устроили поездку на промысла «Кочкарской системы». Инициатором этой прогулки был все тот же Иван Васильевич. Мы отправились в двух экипажах. Двадцать верст пути по мягкому черноземному проселку промелькнули незаметно. Дорога шла через Демарину. Оставив поворотку на Кочкарь влево, наши экипажи быстро подвигались по холмистой степной равнине, оперенной тощими зарослями по низинам и болотинам. Переехали вброд какую-то безыменную степную речку и, поднявшись на пригорок, увидели вдали знаменитые золотые промысла. Воображение уже было подготовлено встретить что-то необыкновенное, но действительность превзошла всякие ожидания. Представьте себе широкую, уходившую из глаз долину, которая сплошь была занята присками. Издали можно было заметить только изрытую по всем направлениям землю, характерные присковые постройки, дымившиеся высокие трубы и копошившихся, как муравьи, рабочих. Работа шла сплошь, потому что вся почва была насыщена драгоценным металлом. По своей грандиозности эти промысла являются в своем роде единственную картиной.

Взрытая весенними ручьями дорога подвела нас к пер-

вому прииску. На первом плане стоял громадный деревянный дом, построенный на широкую ногу, как строились в доброе старое время одни помещики. Большими окнами этот дом так весело глядел на промысла и расстилавшуюся за ними степную даль. На террасе показалось белое платье приисковой дамы.

— Надо полагать, Симонова дом... — соображал Андронич, лихо подтягивая свою пару, — а может, и Новикова.

Для меня так и остался этот дом неизвестным, потому что Иван Васильевич с племянником-студентом ехал в переднем экипаже.

Кто в первый раз видит даже большие золотые промысла, тот неизбежно испытывает некоторое разочарование. Особенно это относится к нашим уральским приискам, разбросанным по логам и течению мелких горных речушек. С мыслью о золотопромышленности неразрывно соединяется представление чего-то грандиозного, а на деле новичок видит грязные канавки, ямы, кучи свежей земли и на живую руку кое-как сгороженные приисковые постройки. Вообще, все так мизерно и так первобытно, особенно где работают старатели, а старательских работ 99 процентов. Промысла Кочкарской системы, наоборот, могут поразить: это целый город, который тянется на десятки верст. Горячая работа кипит на каждом клочке. Тут идет и добыча жильного золота, обставленная довольно сложной техникой, и разработка рассыпного с промывкой на старательских «машертах», и новые разведки. Наши экипажи быстро катились мимо оставленных старых работ, где торчали одни пеньки и мутная вода стояла в ямах, да кое-где черным квадратом открывалась пасть брошенной шахты. Но тут же ставились и новые работы, и выработанное место давало опять золото.

Мы остановились у деревянного сарая. Снаружи устроен был деревянный барабан с конным приводом; одна лошадь кружилась у этого ворота, наматывая длинную снасть на барабан, точно вытягивала жилы из деревянного корпуса, куда ползли два каната. Поднимавшаяся с крыши железная труба говорила о присутствии паровой машины.

— А вон и Костя... — крикнул Иван Васильевич, когда из толпы рабочих выделался молодой человек в охотничьих сапогах и шведской куртке, — он был весь в ярко-желтой приисковой глине. — Из шахты сейчас, Костя?

— Из шахты, — весело отвечал Костя, блестя своими темными большими глазами. — Хотите спуститься?

— Спасибо... Мы лучше проедем к Гавриле Ермолаичу.

Костя, второй племянник Ивана Васильевича, студент Казанского университета, в качестве естественника довершал здесь свое образование практикантом. Он показал нам внутренность корпуса, где тяжело молили золотиносный кварц чугунные бегуны.

— А где шахта? — спрашивал я, оглядываясь кругом.

— Да вот...

Рабочий открыл маленькую западню, немного больше квадратного аршина, и посоветовал заглянуть. Разглядеть там что-нибудь после яркого дневного света было решительно невозможно, кроме первых ступенек грязной лесенки-стремянки. Из шахты, как из погреба, пахло тяжелым, сырým, холодным воздухом, а там, в неведомой глубине земных недр, что-то такое громадное сосало и хрипело. Наружный вид шахты во всяком случае не имел ничего внушительного, как западня любого подполья или погреба. Паровая машина откачивала из шахты воду, а при помощи деревянного барабана «выхаживали» на поверхность бады с пустою породой и жилой, т. е. золотиносным кварцем. В особом отделении две бабы сортировали добытую породу. Золотиносный кварц, плотный или разрушистый, сильно окрашенный железными окисями или с примесями колчедана, тоже не имел в себе ничего внушительного: кварц как кварц, а золота совсем не видно. Кстати, рабочие на всех золотых промыслах говорят: «скварец», или «скварц», а вместо колчедан — «колчеган». Признанный золотиносным, кварц поступает на бегуны. Представьте себе громадную чугунную сковороду сажень двух в диаметре. По ней грузно катятся два чугунных колеса и размалывают кварц в порошок. Вода сносит образующуюся муть на длинный шлюз, дно которого покрыто амальгамированными медными листами. Невидимое золото, таким образом, улавливается ртутью, а потом ртуть выпаривается и «драгой бисер» получается в его настоящем виде — яркий, блестящий, как желток пасхального яйца. Работа с амальгамацией медных листов и очищение амальгамы с уловленным золотом крайне вредны для рабочих, но не легка работа и там, на глубине 20—40 сажень.

— Так в шахту не хотите? — еще раз осведомился наш

путеводитель. — Напрасно... Впрочем, впереди еще несколько шахт, выбирайте любую.

— Я непременно буду спускаться в шахту, — энергично заявляла М. — Помилуйте, быть на промыслах и не спуститься в шахту.

— Да ведь у вас одышка? Наконец, костюм...

— Все-таки спущусь, иначе незачем было ехать.

По пути мы осмотрели еще землянки старателей, прикнувшиеся к старому отвалу, как гнезда стрижей. Рабочих заставляет закапываться в землю недостаток леса, который здесь особенно чувствуется. Одна землянка, впрочем, имела вестибюль из обыкновенных квартирных дров, а другая была устроена уже совсем роскошно — с русской печью, настоящей дверью, крошечным оконцем и даже была раскрашена внутри. Ее строил какой-то фотограф, работавший теперь на промыслах простым старателем.

— А что, несчастий у вас не бывает? — спрашивал я штейгера, который показывал разное «жительство».

— Как не бывает! — бойко отвечал разбитной приисковый человек. — Севодни утром лошадь свалилась в старую шахту. Едва вытащили, хвост оторвала, ногу переломила.

— Для чего же тогда тащили?

— А татарам продали на мясо. Потом, на той там неделе один рабочий тоже в шахту сверзился, с тринадцатого аршина сорвался. Счастье его, что вода внизу была... Ну, ничего, сам вылез. «Больно холодная, говорит, вода».

— Значит, остался жив?

— Ничего, слава богу. Только на другой день жаловался, што пятки болят. Тоже вот по весне один ребенок свалился в дудку¹, да нашли вовремя — живехонек.

В нескольких саженьях от шахты стояла громадная казарма для рабочих «кондратных», «ходивших у машины», мелких служащих и разной другой приисковой челяди.

Мы двинулись дальше и по пути осмотрели еще одну шахту, только недавно заложенную, т. е. осмотрели то, что было наверху. По сторонам без конца тянулись давно брошенные и новые выработки, ворота над шахтами, старательские «машерты», канавы, прудки, кучки свежей земли и живописные группы приисковых рабочих, пестривших картину. Много здесь околачивалось приискового люда, именно тех золоторотцев, которые по субботам в Кочкаре

¹ Дудками называют круглые шахты, которые делают иногда чимой. (Прим. авт.)

ставили ребром свои последние гроши. Золотые прииска создают подвижную рабочую массу, которая навсегда отрывается от своего дома и кочует по промыслам из года в год. Главный контингент промысловых рабочих дают уральские горные заводы, где население осталось без земельного надела, такое же безземельное городское мещанство, казаки, «господские» деревни и разная орда. Замечательно, что на промыслах Кочкарской системы лучшими рабочими считаются казанские татары, которые бредут в Оренбургскую губернию из Ланшевского уезда, — прежде всего, это трезвый народ, а это одно уже выдвигает их из пьяной золотой роты.

Верстах в пяти от главного центра промыслов из-за мелкой березовой заросли выглянули шатровые крыши какого-то строения. Ближе это оказалось сплошным рядом всевозможных построек, слившихся в одно; недоставало только общей крыши. Мы въехали сначала на какой-то задний двор, на котором, как где-нибудь на большой почтовой станции, рядами стояли дорожные экипажи, роспуски, телеги и просто присковые таратайки; громадная людская и целый ряд конюшен говорили о большом хозяйстве. За первым следовал второй двор, уже чистый, и наши экипажи остановились у подъезда большого дома, устроенного с довольством настоящего барства.

— Гаврило Ермолаич дома?

— Дома-с.

Сам хозяин появился на крыльце и начал приглашать нас к себе. Это был средних лет красивый господин, плотный и свежий; умное типичное лицо, обрамленное темною окладистой бородой, поражало чистотой великорусского типа. Собственно нам нужно было только добыть позволение спуститься в шахту, но пришлось войти в дом, который я опишу подробнее, чтобы познакомить читателя с обстановкой больших золотопромышленников. Такие хорошие барские дома встречаются только в Москве, где-нибудь на Поварской, — низкий, широкий, с антресолями и позднейшими пристройками. Я люблю старинные дома, которые удержались еще в раскольничьей старине, — от них так и веет стародавним, вековым укладом и семейным довольством. Из передней мы прошли через столовую прямо на садовую террасу, защищенную маркизой. После дорожной пыли и летнего зноя отдохнуть здесь было совсем не дурно. М. и Иван Васильевич были старыми знакомыми хозяина,

и между ними завязался оживленный разговор. Перед террасой сплошным цветником развertyвался небольшой сад. На центральной куртине бил фонтан, приводимый в действие стоявшим недалеко эклипсом. Направо оранжереи, в глубине неизбежная земляная горка. Мы осмотрели и сад, и оранжереи, где хозяин угощал нас вишнями прямо с дерева.

— Я вас без завтрака не пушу, — говорил он, когда мы опять возвращались на террасу.

Пришел приисковый доктор П-в, тоже оказавшийся общим знакомым. После завтрака Гаврила Ермолаич показал нам коллекцию золотых шуфов и несколько орудий каменного века, найденных г. Шешковским в Оренбургской губернии; в числе последних были прекрасные экземпляры каменных топоров и долот из зеленоватой яшмы. В столовой, между прочим, я обратил внимание на старую картину доморощенного художника.

— Это что такое изображено, Гаврила Ермолаич?

— Святая родина.

— Невьянский завод?

— Да.

В зале стоял прекрасный бильярд, на столиках лежали детские учебники и последний номер Новостей. Вообще, все устроено было полною чашей, без ненужной роскоши, а по средствам хозяев даже очень скромно. Впечатление производило, главным образом, то, что мы были все-таки в степной глуши, далеко от настоящего города, каким является на Урале один Екатеринбург.

До ближайшей шахты было версты две. Равнина, едва опушенная мелким березником, во многих местах была изрезана глубокими рвами: это так называемые «разрезы». В одном месте работала небольшая механическая мастерская. Из трех шахт мы выбрали самую последнюю, стоящую на обрыве заброшенного глубокого разреза. Надземная часть ничего особенного не представляла, за исключением разве того, что не были еще поставлены бегуны, потому что нечего еще было молоть, — шла разведка. В небольшом деревянном корпусе работала паровая машина, откачивавшая воду и поднимавшая из шахты землю.

— Вот мы где спустимся, — решила М., несмотря на протесты всей компании и особенно доктора.

Иван Васильевич и доктор не пожелали нам сопутствовать. М. поверх платья надела сермяжку, вместо шляпы —

фуражку, но подходящих сапог не нашлось. По совету машиниста ботинки обернуты были просто холстом, чтобы нога не катилась по мокрым ступенькам стремянки. Студенту-технику, мне и М. молодой штейгер дал по стеариновой зажженной свече, и мы отправились к западне, которая вела в шахту. Нужно было спуститься на глубину 25 сажен. Со свечами в руках мы имели совсем похоронный вид. Вот пахнуло погребною сыростью, и те же сдавленные хрипы рванулись из черневшей под ногами глубины. Главное неудобство спуска заключалось в том, что одною рукой приходилось держать зажженную свечу, значит, свободною оставалась только другая, и ею нужно было крепко держаться за мокрую ступеньку.

Когда штейгер и студент исчезли в шахте и пропали даже огоньки их свеч, по очереди начал спускаться я. Стремянка устроена самым простым образом, как всякая лестница, какую приставляют к домовым крышам. Неудобство заключалось только в том, что она поставлена почти вертикально, кругом темно, и ступеньки покрыты грязью. Приходится нащупывать ногой каждую следующую ступеньку и только тогда делать шаг в глубину. Ступеней через пятнадцать, двадцать следовала досчатая площадка — погреб погребом, и решительно ничего страшного. За стремянкой помещается следующее отверстие со следующей стремянкой и т. д. Ширина шахты с порядочную комнату. Стены выложены крепким деревянным срубом. По одной половине идет стремянка, а в другой «ходит машина», т. е. работает водокачка и поднимаются бадьи с породой. Хрипенье шахты объясняется движением воды по трубам и трением штанговой машины.

— Спускайтесь! — кричу я М. со дна первого отделения стремянки. — Опасности никакой нет.

Храбрая путешественница очень удачно сделала первое «колено» стремянки, и я успокоился за дальнейший спуск, — на любой площадке можно было отдохнуть. Всех таких колен, как мне помнится, было около 14, и для более наглядного представления спуска в шахту могу привести такое сравнение: представьте 14 погребов, поставленных друг на друга: вот вам спуск в шахту. Опасности нет, потому что вы имеете дело только с одним коленом стремянки, а темная глубь шахты закрыта площадкой. В случае, если бы вы и свалились, то весь ужас закончился бы только хорошим ударом о доски, — отверстие к следующему ко-

лену обыкновенно помещается за стремянкой. Конечно, можно свалиться, при некоторой ловкости, и в него, а также и в ту сторону, где с хрипением работает штанговая машина и поднимаются на накатах бадьи, но при нормальном состоянии безопасность полная. Что касается воздуха в шахте, то и тут я лично ничего особенного не испытывал: сыро, холодно, как в любом подвале, и только. М. хотя и жаловалась на недостаток воздуха, но спускалась все ниже и ниже молодцом.

В середине спуска мы осмотрели заброшенную боковую шахту, которая червем уползала куда-то в бок. Под ногами шлепала застоявшаяся вода, по бокам, при колебавшемся свете стеариновых свеч, точно ребра, торчали вертикальные стойки, а под головами бревенчатый потолок. В некоторых местах приходилось нагибаться, но это маленькое неудобство с лихвой выкупалось мыслью, что вы ходите под землей на глубине десяти сажен. В одном месте наш проводник показал нам выходную шахту, которая вела на дно разреза; вверху, в суживавшейся трубе, как глаз, брезжился Селый дневной свет.

Через 15—20 минут мы были на самом дне главной шахты. На канате висела пустая бадья, под ней кучка какого-то серовато-желтого щебня, приготовленного к путешествию наверх. Тут же валялась тачка, две лопаты и кайло.

— А где же рабочие?

— Пойдемте в забой, — говорил штейгер, исчезая со своею свечей в боковой шахте.

По дощечкам, наложенным для откатки добытой породы, мы пошли опять вбок. Где-то глухо раздались мерные тупые удары, вроде тех, какие вы слышите при выстукивании больного. Работа оказалась ближе, чем можно было предполагать по этим ударам. Те же прямые стойки, тот же бревенчатый потолок и та же сочившаяся под ногами вода привели, наконец, к самому месту действия. Шахта сделала крутой поворот, и мы, при слабом освещении рудниковой лампочки, увидели двух рабочих, долбивших отвесную стену забоя. Весь эффект этой подземной работы как-то сразу исчез: вверху и паровая машина, и ворот, и штанга, а здесь, внизу, два самых обыкновенных мужика, как дятлы, долбят каменную стену — и только. Один держал стальное сверло, приставив его к камню, а другой колотил по нему железною балдой. Таким образом выдалбливалась дыра, в дыру за-

кладывался динамитный патрон, рабочие поджигали фитиль и убегали за поворот шахты, следовал взрыв, а в результате получались кучки щебня. Каждый вершок вперед покупался поистине египетскою работой.

— Отчего у вас не работают и здесь машиной? — спрашивал я штейгера. — Ведь есть какие-то сверлильные станки, которые работают сжатым воздухом.

— Было пробовано-с, только для нас это дело не подходящее... Неспособно даже весьма.

Мы внимательно осмотрели самый забой. Сплошной камень выпирал грудью, точно защищая скрытые в земле соколовища. В одном месте слезой точилась подземная вода, хозяйничавшая в неведомых глубинах. Приготовленные стойки (чурки) лежали на полу. Работавшие в забое мужики имели самый обыкновенный вид и, как мне показалось, одного я видел в Кочкаре.

— Сколько же в день надолбите камня? — спрашивала М.

— Разно бывает, барыня... Вершков с четырнадцать проходим, ино и помене.

— Почему же вы думаете, что жила должна быть именно за этим камнем? — спрашивал я штейгера. — Вот и шахта поворот сделала...

— Да уж скоро будет жила... Знаки есть.

— А если камень сажень на десять в толщину пойдет?

— Нет, скоро кончится.

Ничего путного я так и не мог добиться; штейгер повторял все одно и то же: «знаки есть», «скоро должна жила выйти» и т. д. На трудность своей работы мужики не жаловались: «наше привышное дело», «к духу привыкли», «по зимам в глубокой шахте теплее».

Возвращение было легче, чем спуск. М. сделала небольшую передышку в половине шахты и наверх вышла молодцом. После часовой полумглы яркий дневной свет просто слепил глаза, а благодатный степной воздух мог опьянить.

— Две недели назад я не могла подняться на небольшую гору, — говорила М., сняв с себя сермяжку, — право... а сейчас не чувствую даже усталости.

— Нужно подождать до завтра, — заметил доктор.

— И завтра ничего не будет... Я ожила с кумыза.

Довольные своим подвигом, мы отправились пить чай к доктору, квартира которого помещалась в одном из фли-

гелей дома Гаврилы Ермолаича. Нужно заметить, что у него, кроме доктора и больнички, была и школа для приисковых детей.

Когда мы возвращались с промыслов, доктор обогнал нас: он ехал к какой-то шахте, где «человека сорвало». Старик рабочий заложил в забое динамитный патрон, но фитиль не действовал; в это время кончилась смена, и он отправился наверх, позабыв предупредить следующих забойщиков. Новая смена спустилась в шахту, и когда один заложил сверло в готовую скважину, а другой ударил по сверлу балдой, последовал взрыв. Один из рабочих сильно пострадал: все лицо слилось «под один пузырь», как объясняли нам дальше.

О промыслах Кочкарской системы можно сказать очень немного. Их начало в глубь времен отодвигается очень недалеко, всего лет на 40. Первыми зачателами явились здесь екатеринбургские промышленники, Рязанов или Харитонов, — не помню, который из них. За ними явились все последующие. Сначала было снято верховое, рассыпное золото и наступило затишье. Но когда открыли жильное, промысла оживились с небывалою силой, и сейчас на Урале по своей производительности являются первыми. Один Гаврила Ермолаич доставляет ежегодно больше 30 пудов, а за ним уже идут другие: Симонов, Новиков, Прибылев и т. д. В недалеком будущем этим промыслам предстоит новая роль: здесь уже начали применять в первый раз химический способ обработки эфелей. Как оказалось, миллиарды пудов уже промытых песков содержат в себе большое количество химически связанного золота, и может быть, этого золота окажется даже больше, чем его было добыто до сих пор.

Кстати, наше путешествие в шахту не имело никаких дурных последствий. М. чувствовала себя прекрасно, а у меня дня два в ногах была только усталость, как после езды верхом с непривычки.

IX

Наш кумызный сезон был на исходе. Несколько человек кумызников уже уехали. Оставались только те, кто приехал поздно или кому хотелось остаться на кумызе до последней возможности. Нужно заметить, что лучший кумыз получается только в то время, когда трава еще в соку, а как она начнет присыхать — и кумыз хуже. Таким образом,

сенокос служит для кумызников приглашением отправляться домой. Мы решили не оставаться дольше Ильина дня.

Проснувшись однажды утром, чтобы ехать к Баймагану, я услышал усиленную ругань на дворе: ругался Егорыч, а потом неизвестный мне голос. Андроныч сидел с цыгаркой в зубах на крылечке в качестве публики.

— У нас страда зачалась... — встретил он меня, показывая головой на Егорыча и другого казака, стоявших с косами в руках. — О, будь они прокляты, анафемы!..

— Что такое случилось?

— Да вы только поглядите на них... Право, чиновники!..

Егорыч был взволнован. Он вертел в руках свою косу и ругался: косовище за зиму подсохло и коса в пятке болталась, как параличная.

— Александр, а у тебя как? — спрашивал домовладыка.

— А, штоб ей...

— Куда вы торопитесь? — поддразнивал Андроныч. — Дайте траве-то порости... Всего семой час на дворе!..

Казак начал ругаться усиленно. В самом деле, нужно ехать в поле, а косы не действуют.

— Это страшного Егорыч нанял, — объяснял Андроныч, указывая на нового казака. — Вон какой работник: отдай все... А косы по-башкирски налажены, хуже бабьего. Эй, Егорыч, ты веревочкой подвяжи пятку-то, в том роде и выйдет, как зубы болят!

Мы уехали в коши, не дождавшись конца сборов, а вернувшись, нашли Егорыча в сенях: он спал сном праведника.

— Вот это прямое дело, — похвалил Андроныч, — значит, жену услаб за ягодами, а сам отдыхать... То-то Александр этот настрадает им: тоже, поди, дрыхнет где-нибудь под кустом. Черти, да разе так страдают? Ты на брезгу уж второй ряд проходишь с косой-то, а на солновсходе работа горит...

Эта попытка страдовать ограничилась одним добрым намерением. После двух дней работы Александр был прогнан, как не оправдавший возлагаемых на него надежд. Каждое утро Егорыч отправлял жену в бор за ягодами или за грибами, а сам оставался «домовничать», т. е. спал где-нибудь на холодке. А погода стояла отличная, и каждый час был дорог. Настоящие косари теперь работали по двадцати часов, а наши михайловцы все еще собирались.

Это было просто возмутительно, тем более, что вся станица голодала уже третий год. Заматерелая казачья лень сказывалась во всей красе.

Вопрос о страде разрешился тем, что Егорыч нанял «башкыра». Это был сгорбленный семидесятилетний старик, походивший на нищего, — босой, оборванный, голодный. Он так жалко моргал своими слезившимися глазами и беззвучно жевал беззубым ртом.

— Свою-то землю, небось, в аренд сдал? — допрашивал его Андроныч с тем презрением, с каким относится русское население вообще к башкирам.

— Кунчал земля... — шамкал старик. — Пятнадцать десятин кунчал, бачка.

— А теперь пошел из-за своей-то земли в люди робить?

— Ашать мало-мало надо, бачка.

Этот старик подрядился косить десятину за полтинник, на хозяйских харчах. Для меня являлось неразрешимым, как он будет работать, такой старый и беспомощный, а, между тем, он уверял, что выкашивает по половине десятины в сутки.

— Мне всего три десятины подвалить, — объяснял Егорыч. — Полтора солковых отдам башкыру, вот тыщу пудов сена и наберу... У нас по тридцати копен с десятины, — больше трехсот пудов.

Вечером на другой день Егорыч помирал со смеху, припав животом к перилам крылечка.

— О, будь он проклят... ха-ха!

— Над чем ты хохочешь?

— А башкыр-то... ах, собака старая... ха-ха!.. Ведь, выкосил полдесятины... А теперь по станице идти не может: пройдет сажень десять, да и сядет отдохнуть... Так его и шатает, как пьяного.

Действительно, вернувшийся с работы старик шатался на ногах от усталости. Он не мог даже говорить.

— Кунчал полдесятины, Ахметка? — заливался Егорыч

Башкир каким-то остановившимся, мутным взглядом посмотрел на окружавшую его толпу хохотавших казаков и только бессильно махнул рукой. Сильнее других хохотал Егорыч, схватившись за живот.

— Вот те Христос, шатается, собака...

Я велел Андронычу принести бутылку с кумызом и предложил старику пить, сколько он хочет. Нужно было видеть,

с какою жадностью он припал к чашке с целебным напитком.

— Ай, куроша, бачка... кумыз куроша, — вздохнул он наконец, закрывая глаза от наслаждения.

Выпив целый самовар, старик свалился с ног и проспал до утра, как зарезанный.

Такая сцена с небольшими вариациями повторялась каждый вечер в течение шести дней и собирала свою публику. Лежебоки-казаки нарочно приходили с другого конца станицы, чтобы посмотреть на шатавшегося от рабочей истомы «башкыра». Сидят на завалинке, посасывают свои трубочки и ржут от восторга. К Егорычу присоединились соседи, долговязый Аника, пробовавший страдовать Александр и целая орава ребятишек-казачат. Мой Андронич возмущался каждый раз, хотя к башкирам и ко всякой другой орде у него было органическое отвращение. Конечно, собака, потому что свою землю сдадут в аренду по полтине за десятину, да сами же и нанимаются ее обрабатывать, а то в люди уйдут чужую работу робить...

— И не разберешь, который которого лучше, — ворчал он, сравнивая казаков с ордой. — Всех их на одно мочало да в воду.

Когда кошенина поспела, Егорыч прихватил сестру-вдову и всем семейством отправился ворочать подсыхавшее сено. В результате вся эта хозяйственная операция, давшая около 900 пудов сена, обошлась ему «на большой конец» рубля в три. Значит, опять можно было лежать, благо скотина обеспечена сеном до следующей страды. Приблизительно в таком же виде шла страда и у других казаков. Исключение во всей станице представлял лесник-сторож, который страдовал своими руками, выкашивая лужайки и лесные прогалины. Он вполне разделял мнение Андронича о казаках и орде. Да и трудно было с ними не согласиться, вопиющая правда резала глаз. Можно себе представить, как они вели остальное хозяйство, и постоянный неурожай являлся прямым результатом их закоснелой лени. Башкиры, по крайней мере, имели за себя некоторое объяснение, как степняки, которым всякое правильное хозяйство и вообще систематичный труд просто не по душе, а казаки в свое оправдание не могли привести даже и этого, — они были хуже башкир. А рядом «господские» деревни, кормившие дешевую казачью землю и тоже рабо-

тавшие на оренбургское казачье войско. Вообще картина получалась замечательная.

По утрам мы с Егором Григорьевичем раза два ездили на охоту. Пospели утиные выводки, и Андронич с длинным шестом в руках вылавливал убитых уток. Впрочем, мы его не обременяли такую опасною работою, как плохие охотники. А дичи было много, и прекрасной дичи, как кроншнепы, просто наводившие тоску своими жалобными криками.

— Ну, вы как себя чувствуете, Егор Григорьевич? — спрашивал я учителя, когда мы грелись где-нибудь на свалке.

— По вечерам лихорадка одолевает... Если к осени не пройдет, не протянуть зимы. Вообще, скверно. А вы скоро уезжаете?

— Да... Накануне Ильина дня думал тронуться в обратный путь.

Мне этот Егор Григорьевич очень нравился. Он не бывал даже за Уралом и с любопытством степняка расспрашивал о России, о том, как живут в столицах, о людях, которые сочиняют целые книги, печатают газеты и т. д. Неведомая жизнь и неведомые люди рисовались в его воображении самым радужным образом, что и понятно, для человека, который не видал города больше Троицка.

— Хоть бы одним глазом взглянуть, — задумчиво говорил он, опуская белокурую голову. — Все, знаете, думается, что где-то там, далеко, лучше и что люди уж там настоящие...

А лихорадочный чахоточный румянец так и разливался по его лицу: кумыз мог только поддержать до известной степени, а не вырастить новые легкие.

Х

Мы расстались с Михайловкой в назначенный срок. Прощание с Баймаганом было самое трогательное. Старик приглашал на следующее лето, и когда я пожаловался на худые квартиры, заметил:

— Кош ставим... Живи кош — хорошо будет.

— А сколько это будет стоить?

— Пятнадцать рублей платишь — в коше живешь. Первое лето мало принимал кумыз, а потом много будешь принимать...

За месяц я заплатил Баймагану 10 рублей, и он остал-

ся доволен. Когда мы в последний раз уезжали из кошей, Андронич, почесывая в затылке, говорил:

— А все-таки поганая эта орда... Как же можно, например, чтобы девку до калыму отдавать жениху? Ведь это все одно, што по нашему до свадьбы... Детей, слышь, не бывает, — ну, а наш, русский, не стерпел бы.

Подводя итоги своей поездки на кумыз, я ничего, кроме хорошего, не могу сказать, за вычетом тех неудобств, о каких говорено было выше. На меня и на всех остальных кумыз подействовал прекрасно, а М. вернулась домой совершенно здоровою. Дорогой я опять думал о том, как бы хорошо было устроить так, чтобы лечение кумызом в степи сделалось доступным всем, — собственно стоит только один проезд. Решающее значение в этом случае будет иметь строящаяся дорога Самара — Уфа — Златоуст.

По дороге нам то и дело попадались переселенцы, пробиравшиеся христовым именем неизвестно куда. Целые семьи помещались на одной подводе и имели самый жалкий вид: полуголые дети, запеченные на солнце лица, вообще страшная бедность, глядевшая во все глаза из каждой прорехи. Мы останавливались и подолгу разговаривали с жожаками. История переселения везде одна и та же: утеснение в земле, не у чего жить, кулаки жилы вытянули, а там прослышались про вольную сибирскую землю. Томская губерния, Алтай и Амур в географии переселенцев составляли почти одно и то же. При виде этой нищеты, созданной крепостным правом, невольно напрашивалось сравнение башкирской и казачьей бедности.

— Как же вы доберетесь экую даль? — расспрашивал Андронич с соболезнаванием. — Тыщи три верст будет.

— А бог-то?.. Места-то вон какие пошли... Вот будем найматься в сенокос, а то, сказывают, на промыслах вот тоже работа есть и для чужестранного народа.

Кого тут не было: вологжане, пензяки, вятичи, воронежцы, нижегородцы — вся Русь проходила тут. И все такие славные были лица: шел коренной пахарь.

— Вот бы кому следовало отдать орду, — резонировал Андронич, потряхивая головой. — Стоном бы стон пошел от работы, а не то што теперь вот эти самые чиновники, али там промысла... Землю только переводят напрасно.

Лошади отлично отдохнули и бежали дружно. Андронич посвистывал на своем облучке, а мимо бесконечного панорамой расстилалась все та же орда. Какие хлеба стоя-

ли в стороне, особенно пшеница — настоящее золотое море, лоснившееся под солнцем жирными, разбегавшимися пятнами. Жилья было мало: кое-где мелькнет деревушка — и опять простор без конца. Подъезжая к первой станции, Андронич особенно выразительно тряхнул головой, еще выразительнее почесал в затылке и, обернувшись, проговорил:

— А большую мы ошибку сделали, барин.

— Что такое?

— А надо было кумызу у Баймагана захватить... Все равно, понапрасну только бутыль Егорычу стравили. Уж так бы хорошо, так хорошо... От водки меня, почитай, совсем отшибло: думать-то о ней муторно.

Действительно, чего-то недоставало: вышла ошибочка.

На следующей станции (Туктубаевская станица, уже на Челябинском тракте) мы имели случай поправить свою оплошность. Не доезжая с версту до станции, мы увидели деятельную перекочевку башкирских кошей. Наш проселок огибал небольшое озерко. В стороне, где рос смешанный лес из берез и сосен, весело дымили огоньки, ржали лошади и красиво пестрели красные платья башкирских красавиц. Коши только успели поставить на новом месте, где трава стояла по пояс. Это было настоящее стойбище, кошей в десять. Мы сделали остановку и отправились прямо в кош к мулле.

— Есть кумыз?

— Есть кюмыза... ай, куруша кюмыза... — нахваливал какой-то кривой башкир, проводя нас к мулле в крайний кош.

С киргизами здесь не могло быть и сравнения. Коши меньше, кошмы прогорелые и дырявые, обстановка бедная, а сами башкиры, как везде, порядочные оборванцы. Мулла, еще молодой человек, сам налил нам кумыза, но мы едва могли одолеть по небольшой деревянной чашке: синий, жидкий, кислый — вообще, никакого сравнения с тем кумызом, какой мы пили у Баймагана. Воображаю, каким кумызом угощают публику где-нибудь в Самаре...

— Одна мучка, да не одне ручки! — заметил Андронич, вытирая усы полой кафтана.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Горвая ночь. Печатается по полн. собр. соч. (приложение к журналу «Нива»), т. 11, Пгр., 1917, стр. 426—430. Перепечатано оттуда во втором томе сборника «Башкирия в русской литературе» (составитель М. Г. Рахимкулов). Уфа, 1964, стр. 298—305. В собр. соч., изданные в советское время, и в другие книги очерк (эскиз) не вошел. Написан очерк в 1898 г.

Байгуш. Печатается по кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Байгуш. Из путешествий по Южному Уралу. М., 1914, 24 стр. Перепечатано оттуда во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 306—317. Ни в одно из собраний сочинений и в другие книги очерк не вошел.

Орда. Печатается по газ. «Русские ведомости», М., 1888, № 169 (гл. III—II) и № 177 (гл. III—V) — подпись «Д. Сибиряк». Ни в одну из книг этот очерк не вошел.

Озорник. Печатается по собр. соч. в десяти томах. т. IV. М., 1958, стр. 357—384. Первая публикация в жур. «Русская мысль», 1896, № 2. Рассказ вошел во многие издания «Уральских рассказов» и во все собрания сочинений Мамина-Сибиряка. Отрывки во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 294—298.

Мертвое озеро. Печатается по журн. «Мир божий», СПб, 1892, № 3 (март), стр. 44—64. В книги Мамина-Сибиряка очерк не вошел.

«Все мы хлеб едим...» Печатается по собр. соч. в десяти томах, т. I, М., 1958, стр. 245—285. Первая публикация в жур. «Дело», СПб., 1882, № 5 (май). Рассказ вошел во многие издания и во все собрания сочинений Мамина-Сибиряка. Отрывки во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 256—262.

Кара-Ханым. Печатается по кн.: Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы для детей. Второй сборник. М., — Пгр., 1923, стр. 99—121. Оттуда же перепечатаны во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 317—330. Первое отдельное издание — 1918 г. (24 стр.). В собрания сочинений рассказ не вошел.

Охотный брови. Печатается по собр. соч. в десяти томах, т. 7, М., 1959, стр. 354—445. Первая публикация в жур. «Русская мысль», 1892, № 8 (август) и № 9 (сентябрь). Издавалась эта повесть многократно и вошла во все собрания сочинений. Отрывки во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 282—287.

На кумысе. Печатается по жур. «Русская мысль», М., 1888, № 9 (сентябрь), стр. 160—173 и № 10 (октябрь), стр. 92—127. Отрывок во втором томе сб. «Башкирия в русской литературе», стр. 272—274. В книги Мамина очерк не вошел.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Барг. Башкирия в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка	5
Горная ночь (эскиз)	19
Озорник (рассказ)	27
Байгуш (Из путешествий по Южному Уралу)	57
Орда	69
Мертвое озеро (Из летних экскурсий)	86
«Все мы хлеб единый...» (Из жизни на Урале)	105
Кара-ханым (рассказ)	151
Охонины брови (повесть)	166
На кумысе (Из летних экскурсий)	270
Библиографические примечания	317

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Повесть и рассказы

Оформление серии Г. Прокшина

Редактор *М. Чванов*
Художественный редактор *А. Астраханцев*
Технический редактор *Н. Файзуллина*
Корректоры *Л. Семенова, Н. Кудрявцева*

ИБ № 803

Сдано в набор 14/VII—1978 г. Подписано к печати 5/X—
1978 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3.
Условн. печ. л. 16,80 Учет.-издат. л. 17,56
Тираж 150 000. П02454. Заказ № 243. Цена 1 руб. 50 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25
ул. Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам
издательств полиграфии и книжной торговли Совета
Министров БАССР.

Уфа-1 проспект Октября. - 2.

Scan Kreyder - 09.05.2019 - STERLITAMAK

Цена 1 руб. 50 коп.